

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ — АПРЕЛЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1979

## СОДЕРЖАНИЕ

Корлятяну Н. Г. (Кишинев). В. И. Ленин и развитие национальных языков . . . . .	3
Будагов Р. А. (Москва). К теории грамматики и языковых контактов . . . . .	11

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Шарадзенидзе Т. С. (Тбилиси). Лингвистическая теория И. А. Бодуэна де Куртене и ее место в языкознании XIX—XX веков . . . . .	29
Герценберг Л. Г. (Ленинград). Предыстория индоевропейских языков в работах А. Эрхарта . . . . .	41
Кумахов М. А. (Москва). К проблеме языка эпической поэзии . . . . .	48
Михайловская Н. Г. (Москва). О проблемах художественно-литературного двуязычия . . . . .	61
Кожин А. Н. (Москва). О роли слова в тексте . . . . .	73
Тенишев Э. Р. (Москва). Языки древне- и среднетюркских письменных памятников в функциональном аспекте . . . . .	80
Киселевский А. И. (Минск). Об определениях в энциклопедиях и толковых словарях . . . . .	91

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Мурьянов М. Ф. (Москва). К семантическим закономерностям в лексике старославянского языка . . . . .	101
Безбородько Н. И. (Винница). Морфосинтаксические особенности латинской терминологии . . . . .	115
Чхаидзе М. П. (Тбилиси). О двух аспектах исследования грамматики . . . . .	122

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

Татар Б. (Будапешт). А. А. Зализняк. Грамматический словарь русского языка . . . . .	135
Стеблин-Каменский И. М. (Ленинград). И. М. Оранский. Фольклор и язык гиссарских парья (Средняя Азия) . . . . .	139
Попова З. Д. (Воронеж). «Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги» . . . . .	143
Лопатин В. В. (Москва). А. В. Бондарко. Теория морфологических категорий . . . . .	145
Манучарян Р. С. (Ереван). И. С. Улуханов. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания . . . . .	150

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . .	155
--------------------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции),  
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. М. Солнцев (зам. главного редактора),  
О. Н. Трубочев, Ф. П. Филип (главный редактор), В. Н. Ярцева

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией И. В. Соболева

КОРЛЭТЯНУ Н. Г.

**В. И. ЛЕНИН И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ**

В. И. Ленин учил ценить культуру каждого народа, большого или малого, относиться с самым глубоким уважением к национальной форме выражения культуры, т. е. к народному языку. Именно поэтому не только народы нашей страны и стран социалистического содружества, но и все прогрессивное человечество старается перевести бессмертные ленинские труды на свои национальные языки.

В данной статье на примере одного из национальных языков СССР (молдавского) делается попытка показать значение ленинских трудов для обогащения и дальнейшего совершенствования как языков советских народов, так и языков всего мира.

По данным Книжной палаты МССР на 1 января 1978 г. произведения В. И. Ленина переводились на молдавский язык и издавались 240 раз общим тиражом 1 917 500 экземпляров. Еще в 1925 г. была опубликована ленинская брошюра «О кооперации», а в следующем году работа «О земле и крестьянине», затем в Молдавии в разное время публиковались различные ленинские труды. В послевоенное время был осуществлен молдавский перевод 40 томов «Сочинений» В. И. Ленина (Опере, 1—40, Кишинэу, 1953—1963), а за последние 10 лет завершено издание «Полного собрания сочинений» В. И. Ленина (Опере комплекте, 1—55, Кишинэу, 1968—1978).

Это, безусловно, — важнейшее событие в культурной и политической жизни молдавского народа. Духовное богатство первостепенного значения было открыто и для молдаван. Необходимость передачи на национальном языке глубочайших ленинских мыслей явилась важнейшим стимулом для развития и дальнейшего совершенствования выразительных средств современного молдавского языка. Благодаря переводу на молдавский язык ленинских произведений, открылись широкие возможности реализации целого ряда экспрессивных возможностей языка. Укрепились связи молдавского народа с русским и другими народами при активном усвоении интернациональных языковых средств и особенно общественно-политической и научно-технической терминологии.

Отношение великого Ленина к родному ему русскому слову, его вдохновенная любовь к русскому языку, сыновняя забота о нем — все это является достойным примером того, как надо беречь и совершенствовать духовные достояния каждого народа, как следует относиться к родному языку. Ведь общеизвестно, что одним из могучих средств развития человека является хорошее знание родного языка.

Чтобы лучше понять и оценить значение перевода ленинских произведений для обогащения современного молдавского языка, необходимо сказать несколько слов о его состоянии в дооктябрьский период. Молдавский — один из старописьменных языков Советского Союза. Его книжно-письменные традиции уходят в глубь веков. При этом одна из его самых характерных черт состоит в том, что, будучи по этногенезису и структуре романским языком, молдавский язык в его истории был тесно связан со славянским языковым миром. Да и письменность молдаван на

протяжении всей истории была славянской. Классик молдавской литературы, Алеку Руссо, писал, что письменная форма молдавского языка «началась с кирилловских букв»<sup>1</sup>. Это тот самый алфавит, который так восторженно охарактеризовал известный французский языковед Ж. Вандриес: «...славянский алфавит Кирилла и Мефодия — настоящий шедевр»<sup>2</sup>. В настоящее время около 60 языков мира пользуются названным алфавитом<sup>3</sup>. Молдавские летописи и народные романы, произведения писателей, классиков и современных, писались и пишутся славяно-русским алфавитом. Эта традиция многовековая, прочная, надежная. Она сближает молдавскую культуру, как и культуры других советских народов, с богатейшей русской культурой.

Общая картина развития молдавского языка в дооктябрьский период характеризуется тем, что в то время молдавский литературный язык не был полифункциональным, так как не только была ограничена сфера распространения его письменно-литературной формы в стилистическом плане, но и количество людей, пользующихся этой формой языка, было невелико. В советский период сфера применения национальных языков в СССР, в том числе молдавского языка, намного расширилась в связи с введением всеобщего обучения, с преподаванием в средней и высшей школе на национальных языках, с появлением разнообразной периодической печати, радио и телевидения, с широким развитием общественно-политической и научно-технической популярной литературы, с увеличением книжной продукции на молдавском языке вообще, с повышением культурного уровня всех слоев населения. Полифункциональность стала одной из самых характерных черт развития национальных языков в советский период.

В этих сложных процессах развития и усовершенствования современного молдавского языка, равно как и других национальных языков, перевод произведений классиков марксизма-ленинизма играет огромную роль. Шестьдесят с лишним лет советской власти — сравнительно небольшой исторический период, «но за это время наша страна прошла путь, равный столетиям»<sup>4</sup>. Это весьма активная полоса сближения культур различных народов посредством перевода с русского на национальные языки и наоборот. Русский язык, как цемент, надежно сплачивает все многочисленные народы нашей необъятной Родины в единую, свободную, могучую, несокрушимую семью братских народов. Поэтому переводческое дело вообще и переводы ленинских произведений, в частности, имеют весьма важное государственное, политическое и общественно-культурное значение. Перевод трудов В. И. Ленина содействует широкому распространению идей научного коммунизма, пропагандированию политики партии по всем вопросам экономической и культурной жизни Страны Советов, осуществлению ленинской национальной политики, четко проводимой КПСС.

Большое внимание уделял В. И. Ленин культурной революции в нашей стране. «Помощь нациям отсталым и слабым необходимо усилить содействием самостоятельной организации и просвещению рабочих и крестьян каждой нации в борьбе с средневековым и с буржуазным гнетом, равно содействием развитию языка и литературы угнетенных доселе или бывших неравноправными наций»<sup>5</sup>.

В сравнении с задачей, выраженной четко и ясно в ленинской форму-

<sup>1</sup> Алеку Руссо, *Опере алесе*, Кишинэу, 1955, стр. 291.

<sup>2</sup> Ж. Вандриес, *Язык*, М., 1937, стр. 296.

<sup>3</sup> К. М. Мусаев, *Алфавиты языков народов СССР*, М., 1965.

<sup>4</sup> «Материалы XXV съезда КПСС», М., 1976, стр. 87.

<sup>5</sup> В. И. Ленин, *Полн. собр. соч.*, т. 38, стр. 95 (далее ссылки даются в тексте).

лировке, каким диссонансом звучали слова царского борзописца Б. Богдановича, который одну из своих статей о молдаванах (она опубликована 25 октября 1901 г. в журнале «Бессарабские губернские ведомости», № 234, стр. 2—3) озаглавил «Без языка» с подзаголовком «Одна из темных сторон бессарабской жизни». Вот с каким патетическим вопросом обращался сей горе-журналист: «Что же, спрашивается, ожидать от безъязычных молдаван — бессарабцев — этих представителей нации, застывшей в умственном отношении на уровне народов, живших в первые века христианской веры?». Где же ему знать, этому прихвостню царизма, Б. Богдановичу, о молдавских летописцах, об ученом с европейским именем Д. Кантемире (XVIII в.), о классиках молдавской литературы (XIX в.), о дружбе А. С. Пушкина с молдавскими писателями К. Стамати и К. Негруци! После упоминания о «жалком вымирающем племени якутов» и «некогда могучей и имевшей вполне определенную национальную окраску малороссийской народности», этот культурный держиморда в заключении своей глубоконадежной для царизма статейки вещал: «Очевидно, что ни о каких уступках в пользу молдавского языка не может быть и речи. Он отжил свое время, как отжила и разрушается культура создавшего его народа. Настало время, когда необходимы радикальные меры для того, чтобы заменить его языком общегосударственным».

На фоне этой царской архиреакционности с каким благоговением должны все народы нашей страны благодарить великого Ленина за его борьбу в защиту «угнетенных доселе или бывших неравноправными наций». Еще в конце XIX — начале XX в. В. И. Ленин глубоко изучил языковое положение не только России, но и Австро-Венгрии, Швейцарии, Бельгии и других европейских стран, в которых «негосударственные» языки жестоко угнетались. Ленин считал, что справедливое решение национального вопроса — как части общего «рабочего вопроса», в том числе и языковой его стороны — возможно только в социалистическом обществе. Борьба за социальные и национальные права связывалась Лениным с борьбой народов за развитие своих национальных языков. Так, борьбу украинского народа против царизма В. И. Ленин определял как движение «к свободе и к родному языку» (т. 30, стр. 190). В. И. Ленин призывал: «Ни одной привилегии ни для одной нации, ни для одного языка! Ни малейшего притеснения, ни малейшей несправедливости к национальному меньшинству!» (т. 23, стр. 150). Поэтому В. И. Ленин категорически возражал против обязательного государственного языка: «...социал-демократия отвергает „государственный язык“» (т. 23, стр. 317), потому что «государственный язык сопряжен с принуждением, вколачиванием» (т. 24, стр. 295). Он обосновал требование отсутствия «...обязательного государственного языка, при обеспечении населению школ с преподаванием на всех местных языках» (там же).

Одновременно В. И. Ленин разработал вопрос о языке межнационального общения: «...потребности экономического оборота всегда заставят живущие в одном государстве национальности (пока они захотят жить вместе) изучать язык большинства» (т. 23, стр. 423). Ленин боролся за ликвидацию препятствий, затрудняющих «великому и могучему русскому языку доступ в другие национальные группы» (т. 24, стр. 295), за создание наилучших условий для усвоения русского языка жителями России.

КПСС свято хранит и полностью осуществляет эти указания В. И. Ленина. За 60 с лишним лет национальные языки великой Страны Советов развиваются и процветают в тесном взаимодействии с русским языком, языком бессмертного Ленина.

Перевод на молдавский, как на любой другой национальный язык, ленинской духовной сокровищницы ставит ряд важнейших проблем

научно-практического порядка. Речь идет о поисках в лексико-фразеологическом и стилистическом фонде, в морфологических формах и синтаксических конструкциях национального языка соответствующих эквивалентов для точного, яркого, простого и экспрессивного выражения ленинских идей.

Каждое ленинское слово, выражение, предложение — это своеобразный микромир, и переводчик на национальный язык должен уловить особенности смыслового значения этого микромира и передать их на языке перевода точными, адекватными языковыми средствами. Ведь настоящий перевод должен быть фактом национальной словесности, т. е. словесного творчества, большого языкового мастерства. Перевод должен воссоздать национальными языковыми средствами лексико-стилевую систему ленинского оригинала. Другими словами, надо стремиться приблизиться к такой идеальной языковой передаче (а это — дело весьма трудное), чтобы, читая перевод ленинских произведений, возникло впечатление, что сам В. И. Ленин написал свои произведения на каждом из современных национальных языков.

Для перевода на молдавский язык особого затруднения не представляют общелитературные, общеобиходные слова, которые и в произведениях В. И. Ленина, и в общем употреблении русского литературного языка имеют однозначный или многозначный смысл, совпадающий в основном со значениями соответствующего слова в молдавском языке; ср., например, такие слова, как русск. *вечер* — молд. *сарэ*; русск. *дрова* — молд. *лежне*; русск. *хороший* — молд. *бун*; русск. *смотреть* — молд. *а приви, а се уйта*; русск. *близко* — молд. *апроапе*; русск. *он* — молд. *ел*; русск. *пять* — молд. *чинч* и т. п.

Большие трудности стояли перед молдавскими лексикографами и переводчиками, когда шла речь о философских, экономических и других терминах в русском языковом звучании (*бытие, мышление, закономерность* и т. п.). Для передачи философского понятия *бытие* (т. 18, стр. 98) в молдавских лексикографических работах использовались вначале такие эквиваленты: *фиинцаре* (О., т. 14, стр. 302)<sup>6</sup>, *трай обитеск*, которые, однако, соответствуют русскому слову *существование*. Поэтому переводчики и лексикографы предпочли (и правильно) интернационализм *екзистенцэ*. Например: «...движение есть форма бытия материи» (т. 18, стр. 265) — молд. «Мишкаря е форма де екзистенцэ а материей» (т. 18, стр. 293).

Термин *мышление* (т. 18, стр. 98) (производное от глагола *мыслить*) передается в молдавском через слово *гындице* (т. 18, стр. 106; О., т. 14, стр. 95) (от глагола *а гынди*). При этом следует отметить, что в молдавском нет отдельных слов для передачи терминов *мысль* и *мышление*, и они оба передаются словом *гындице*.

Значительные трудности возникли в поисках эквивалента к русскому термину *закономерность* (т. 18, стр. 277), *закономерный*. В «Русско-молдавском словаре» 1954 г. дается соответствие *регуларитате, регулат, потривит ку анумите лежэ*, что, конечно, не могло удержаться в языке, поскольку это эквиваленты к русским *регулярность, регулярный*, которые не являются синонимами философских терминов *закономерность, закономерный*.

Ленинские произведения, переведенные на молдавский язык, явились толчком к появлению адекватного термина *лежытате* (т. 18, стр. 306), получившего сейчас всеобщее распространение<sup>7</sup>. В IV издании было

<sup>6</sup> Ссылки на молдавский перевод произведений В. И. Ленина даются на IV издание (Опере — О.) и V издание.

<sup>7</sup> См., например, в газ. «Молдова Сочилистэ» 15 III 1978 г. статью «Лежытэце але дезволтэрий партидулуй».

использовано слово *лейже* (О., т. 14, стр. 275, 159, 173), что, конечно, не могло удовлетворить, поскольку это соответствие к слову *закон*, а *закон* и *закономерность* не одно и то же.

Стремление быть на уровне современного развития философии, экономики, культуры заставило переводчиков ленинских произведений на все языки народов СССР, в том числе и на молдавский, найти языковые средства для выражения различных понятий. Перевод ленинских работ явился фактором развития языковых возможностей народов СССР, источником обогащения их новыми выразительными средствами. Необходимо было передать на национальном языке, в том числе на молдавском, такие характерные для ленинских трудов понятия, как *всеобщность* (т. 29, стр. 75), *материальность* (т. 18, стр. 117), *неизменность* (т. 18, стр. 277), *необходимость* (там же) и т. п. В молдавском переводе были использованы соответственно: *универсалитате* (т. 29, стр. 50), *материалитате* (т. 18, стр. 128), *инвариабилитате* (т. 18, стр. 306), *нечеситате* (там же) и так далее.

Надо подчеркнуть, что под влиянием русского языка, и особенно переводов классиков марксизма-ленинизма, образуются или активизируются в молдавском языке слова, выражающие новые понятия, особенно с абстрактным философским значением. Эти лексические единицы создаются посредством молдавских (или, шире, романских) морфологических ресурсов по аналогии с другими словами, бытовавшими или бытующими в молдавском языке. Русский язык дает только толчок, импульс к их созданию или активизации. Таким путем появился ряд терминов или слов с отвлеченным значением. Особенно это относится к переводу русских существительных с суффиксом *-ость*, образованных от качественных прилагательных (*многосторонность*, *сложность*, *объективность* и т. п.), которые в молдавском языке оформляются суффиксом *-тате* (*мультилатералитате*, *комплекситате*, *объективитате*) и т. п. По этому же образцу в последнее время созданы и многие другие подобные термины из различных отраслей науки, техники, культуры: *атомичитате* — *атомность*, *импондерабилитате* — *невесомость*, *инвентивитате* — *изобретательность*; *интегритате* — *целостность*; *интенционалитате* — *намеренность*; *историчитате* — *историчность*; *линиаритате* — *линейность*, *нормативитате* — *нормативность*, *планитате* — *планомерность*; *радиовизибилитате* — *радиовидимость*; *ритмичитате* — *ритмичность*; *контемпоранейтате* — *современность*, *типичитате* — *типичность* и т. п.

Надо отметить, что если суффикс *-ость* передает определенный общественный признак солидарности или товарищества, как в слове *коллективность* (т. 12, стр. 102), то молдавский эквивалент оформляется суффиксом *-изм*: *коллективизм* (т. 12, стр. 111). Абстрактный признак, свойственный словам *буржуазия*, *буржуазность* (т. 12, стр. 104), передается тем же суффиксом: *бургеизм* (т. 12, стр. 113).

Имеются и случаи, когда в молдавском нет возможности передать одним словом русское понятие; например: *предвзятость*, *пристрастность* и др. В молдавском языке используются словосочетания: *карактар прекопчепут*, *карактар пэртинитор* (т. 18, стр. 375).

Удачно использовано в V издании и прилагательное *лейжик* (т. 18, стр. 191) как эквивалент русского *закономерный*. Описательный перевод (*ын путера унор лейже обьективе*) русского *закономерный* из IV издания (О., т. 14, стр. 173) явно не мог удовлетворить.

В произведениях В. И. Ленина весьма тонко использованы языковые средства сатиры против недругов трудового народа и партии. А сатира — это «усмехающееся лицо философии» (Радой Ралин). В. И. Ленин использует, например, перифрастические построения, основанные на словах, которые обладают образно-характерологическим осмыслением. Слово

*лакей* подчеркивает значение раболепства: «Упрек нелепый, достойный именно лакеев денежного мешка» (т. 36, стр. 177). В молдавском переводе это слово хорошо согласуется с контекстом: «Ынвинуире абсурдэ, демнэ ануме де лакеий сакулуй ку бань» (т. 36, стр. 200).

Еще более остро высказывается Ленин в отношении клерикализма, поповщины, попов вообще, которых он также характеризует посредством перифразы. Это, по выражению В. И. Ленина, *чиновники в рясах, жандармы во Христе, темные инквизиторы* (т. 20, стр. 22), *поповщина* (т. 18, стр. 6). В молдавском переводе употреблены такие выражения: *бюрократъ ын сутанэ, жандармъ ынтру Христос, инквизиторь обскурантишть* (т. 20, стр. 24), *обскурантизм попеск* (т. 18, стр. 6).

Стремясь быть предельно ясным и понятным широким слоям населения, В. И. Ленин использовал русские диалектные, народные обороты, просторечные выражения. Они и представляют значительные трудности в передаче соответствующего смысла на другие языки, в частности на молдавский. В то же время они заставляют переводчика искать в народной сокровищнице молдавского языка соответствующий эквивалент. Так, просторечное русское слово *прихвостень* как нельзя лучше характеризует тех, кто уверяет, что царизм и правительства капиталистических стран являются надклассовыми, одинаково заботясь и о фабрикантах, и о рабочих (т. 4, стр. 294—295). В молдавском переводе использовано также слово народно-разговорного языка: *слугой* (т. 4, стр. 335).

В. И. Ленин особенно часто советовал использовать образные средства языка: крылатые слова и выражения, пословицы, поговорки. И это потому, что «бывают такие крылатые слова, которые с удивительной меткостью выражают сущность довольно сложных явлений» (т. 25, стр. 138). Поэтому при переводе надо подбирать и соответствующие языковые средства.

Многие крылатые выражения В. И. Ленин заимствует у И. А. Крылова, А. С. Грибоедова, А. П. Чехова и др., приспособлявая их для характеристики общественно-политических явлений. Так, Лениным использовано выражение: «ай моська, знать она сильна, коль лает на слона!» (т. 1, стр. 158), в молдавском тексте: «се веде кэ-й путерник цынкул, дакэ латрэ ла елефант» (т. 1, стр. 177).

Произведения В. И. Ленина явились источником пополнения русского, а затем молдавского и других языков новыми научными и общественно-политическими терминами и словосочетаниями. Семантический неологизм *партийность* (т. 12, стр. 99) принадлежит В. И. Ленину. В молдавском этот термин передавался вначале через *партидитате* (О., т. 10, стр. 30), а сейчас *партинитате* (т. 12, стр. 108; т. 18, стр. 375; 412, 419) на основе прилагательного *партиник*, *партийник* «партийный».

В. И. Ленин пропагандировал не только организацию советов, но и соответствующее слово: «...езде в мире слово „Совет“ стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся» (т. 38, стр. 238). И действительно, слово *совет* вошло сейчас во многие языки не только нашей страны, но и в другие языки мира (французский, немецкий, английский, испанский и др.).

Выдающиеся западноевропейские языковеды признают проникновение русских слов в их языки. «Превращение русского языка в великий литературный язык и мировое политическое значение России поставили его в новое положение: русские слова также стали проникать в западные языки, увеличивая словарь этих языков»<sup>8</sup>. «Звучат во всех концах плане-

<sup>8</sup> А. Мейе, *Общеславянский язык*, М., 1951, стр. 412.

ты, || Без перевода, как Москва, || Большевики, Октябрь, Советы, || Мир, спутник — русские слова» (А. Твардовский).

Ленинские труды активизировали в русском и в других языках ряд общеупотребительных слов и выражений, которые получили определенную социально-политическую терминологическую значимость: *богатый крестьянин* (т. 7, стр. 154), *богатый мужик* (т. 7, стр. 145) — на молдавском языке передаются одним оборотом: *цэран богат* (т. 7, стр. 174, 163); *кулак* (т. 7, стр. 158) — на молдавском неологизм *кулак* (т. 7, стр. 178); *среднее крестьянство, средний крестьянин* (т. 7, стр. 157) — молд. *цэрэнимя мижлокашэ, цэран мижлокаш* (т. 7, стр. 178).

Ряд научных философских терминов распространился в русском, молдавском и других языках благодаря ленинским работам: *гилокинетика* (т. 18, стр. 302), *фидеизм* (т. 18, стр. 271) и др.

Надо подчеркнуть, что ленинские произведения в русской языковой форме содействовали переосмыслению многих слов и выражений (*совет, товарищ* и др.), что потом передалось посредством перевода и другим языкам, в том числе молдавскому. В ленинских работах слово *товарищ* получило особое переосмысление, ленинскую трактовку: обращение к трудящимся массам — к рабочим, крестьянам, солдатам, трудовой интеллигенции, т. е. ко всем единомышленникам. В заключении своей статьи 1905 г. «Партийная организация и партийная литература» В. И. Ленин писал: «За работу же, товарищи! Перед нами трудная и новая, но великая и благодарная задача...» (т. 12, стр. 104). В молдавском переводе: «Ла мункэ дар, товарэш!» (т. 12, стр. 114). В молдавском языке слово *товарэши* бытует очень давно с различными значениями — «участник», «приближенный», *товарши де еяцэ* «жена», *тосаргши де друм* «попутчик» и др.

В советский период молдавское слово *товарэши* получило и ленинское новое значение — обращение к единомышленникам. Именно это новое значение было образно представлено Ем. Буковым, который посвятил этому слову стихотворение «Товариш»: «Товарищ! — в этом братском, || Сердечном обращении || Живет твое дыханье, || Истории земли. || С тех пор, как это слово || Сказал великий Ленин, || Чтобы семь букв — товарищ — || В столетия вошли. || Смотрю на мир, который || В боях завоевали, || И вижу это слово, || Как ясный блеск луча: || Когда ты сердцем слышишь || Священный зов — товарищ — || В тебе не гаснет искра || Родного Ильича» (перевод Бр. Кежун).

Процесс обогащения и совершенствования национальных языков, в том числе молдавского, происходит в советский период в особо благоприятных условиях. Большие сдвиги в этом плане наблюдаются, в частности, в послевоенный период, когда язык в еще большем масштабе должен отражать огромные преобразования в области экономики, политики и культуры в условиях научно-технической революции. Именно поэтому ставятся вопросы культуры речи, устной и письменной, в тесной связи с литературной нормой, стилистико-функциональной значимостью слов, форм, выражений, конструкций в самых разнообразных условиях и ситуациях современного общения. Переживая качественные изменения, обогащая свои выразительные возможности, национальные языки, в частности молдавский, приобретают новые функционально-стилистические особенности. И все это при содействии русского языка, одного из самых развитых мировых языков. Ленинские труды в их русской языковой форме оказывают национальным языкам, в том числе молдавскому, неоценимую помощь и поддержку.

Русский язык через ленинские труды дает современному молдавскому языку большой импульс к обогащению его лексико-фразеологических и стилистико-синтаксических средств. Творческое наследие В. И. Ленина

поднимает литературные языки всех советских народов до высокого уровня современной культуры, связанной как с историческими традициями, так и с истоками живого словоупотребления нашей сегодняшней действительности.

На национальном языке идейное ленинское содержание должно найти конкретное, самое адекватное выражение. Не отступать от идейности ленинского труда, передать это содержание соответствующими национально-экспрессивными средствами — вот основная проблема.

Задача, конечно, не легкая, но переводчик, вникая в самую суть содержания ленинской мысли, должен передать эту мысль точно, просто и абсолютно верно на национальном языке, т. е. отобрать именно самые понятные, самые доступные широким массам слова, выражения — одним словом, соответствующие приемы изложения.

Черпая из ленинской языковой сокровищницы, современный молдавский язык (как и другие языки советских народов) достиг такого уровня развития, которого он не знал никогда раньше. В своем стремлении передать всю глубину мыслей и чувств великого вождя современный молдавский язык значительно обогатил свои лексико-фразеологические возможности, сформировал общественно-политическую и научно-техническую терминологию, изменил семантическое значение целого ряда слов, пополнил лексико-фразеологические запасы — особенно за счет богатого русского языка. Таким образом, молдавский язык, став в один ряд с языками других народов Советского Союза, является сейчас действительно национальной формой молдавской социалистической культуры.

БУДАГОВ Р. А.

К ТЕОРИИ ГРАММАТИКИ И ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ \*

1

Всем хорошо известно, что разные языки и похожи, и непохожи друг на друга. Это становится особенно очевидно, когда мы сравниваем родственные языки. Здесь сходство как бы перевешивает несходство, тогда как при беглом сопоставлении неродственных языков несходство начинает превалировать над сходством. Между тем, что все это означает? Как понимать сходство и несходство между языками? При ближайшем рассмотрении оказывается, что, казалось бы, очевидные явления не столь уже очевидны. Несмотря на множество самых различных исследований по сравнительно-исторической грамматике родственных языков, несмотря на разнообразные разыскания по типологии неродственных языков, простые понятия о сходстве и несходстве между языками остаются все еще мало разъясненными.

Положение осложняется, если учесть, что в наше время перечисленные вопросы обычно освещаются с совершенно различных теоретических позиций. Между тем, ответы на возникающие вопросы определяются прежде всего методологической позицией того или иного исследователя.

Эту мысль поясню на одном примере. Определенная часть современных лингвистов считает, что почти все старые грамматические термины и понятия, выработанные на протяжении многих веков, безнадежно устарели и нуждаются в полной замене новыми терминами и понятиями, предложенными прежде всего сторонниками так называемой трансформационной грамматики. Между тем, чтобы разобраться, кто здесь прав и кто неправ, необходимо проанализировать, с каких теоретических позиций предлагается то или иное нововведение в науке о языке и, в частности, в грамматике. Если ученый принимает старое представление о *частях речи* и *членах предложения*, то он обычно исходит из принципа объективного существования частей речи в языке, из принципа их своеобразного преломления в структуре предложения (члены предложения). Для того же, чтобы отвергнуть или отодвинуть на задний план подобные термины и понятия, нужно предварительно доказать их неадекватность, их несоответствие самому принципу существования объективных свойств языка, принципу объективного функционирования живых, естественных языков человечества.

\* В статье сделана попытка дальше развить некоторые из положений, обосновать которые я стремился в книге «Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени» (М., 1978). Три примера, ранее уже приведенные в книге, здесь рассматриваются под другим углом зрения. К сожалению, отдельные лица, считающие себя учеными, позволяют себе высмеивать филологов, придерживающихся последовательно материалистического взгляда на природу и функции языка. Так поступает, в частности, постоянный рецензент журнала «Вопросы языкознания» Р. Лермит во Франции. Об ученых, разделяющих взгляды Лермита, см. книгу: Б. Н. Бессонов, Антимарксизм под флагом «неомарксизма», М., 1978.

Часто приходится слышать: «Ну, позвольте, понятие частей речи уже было известно Аристотелю и другим античным мыслителям; как же можно в современной науке пользоваться такими старыми терминами?» Но «возражения» подобного рода сразу же обнаруживают кругозор вопрошающего. В самых разнообразных науках мы на каждом шагу пользуемся понятиями и соответствующими им терминами, установленными весьма давно. И если эти понятия и теперь согласуются с действительностью, тогда их возраст никак не может повлиять на степень их достоверности и современности. Таковыми, в частности, оказываются и части речи.

Вместе с тем, старое старому рознь. До сих пор почти все лингвисты употребляют такие термины в грамматике, как *знаменательные* и *незнаменательные части речи*. И хотя эти термины освящены очень давней традицией, они основаны на ошибочной методологической концепции. Как могут существовать *незнаменательные* части речи? Разве предлоги и союзы европейских языков не выполняют важнейших грамматических функций? Ведь, кроме лексической знаменательности, существует и *грамматическая знаменательность*. Без этого последнего понятия грамматика сейчас же превращается в пустую формальность, а ее категории — в совершенно условные категории.

Понятие «знаменательные части речи», неизбежно постулируя противоположное понятие о «незнаменательных частях речи», тем самым основывается на формалистической концепции, лишает грамматику ее важнейшей функции — способности обобщать в своих категориях объективные свойства языка в его взаимодействии с мышлением. Следует поэтому строго различать два совершенно различных понятия в грамматике — понятие *формального* и понятие *формалистического*. Без первого, без форм в широком смысле, не может существовать ни одна грамматика ни одного развитого языка человечества. Что же касается второго понятия (понятия формалистического), то оно вносится в теорию грамматики теми учеными, которые отказываются от рассмотрения важнейшей проблемы языка — проблемы взаимодействия языка и мышления, грамматики и семантики.

Принятие или непринятие тех или иных терминов и понятий определяется в конце концов методологическими принципами разных исследователей. Что же касается нашего случая, то всегда следует помнить о двух значениях самого термина *грамматика*: 1) это и грамматический строй языка и 2) наука, специально изучающая подобный строй (важнейшая часть лингвистики). Для этого второго значения особенно существенны теоретические принципы ученого, исследующего грамматический строй языка<sup>1</sup>.

Таким образом, если старый термин «части речи» несколько не искажает объективной природы языка, то другие старые термины, в частности, «знаменательные части речи» в противопоставлении к «незнаменательным частям речи» искажают природу языка и создают впечатление о грамматике как о пустой формальности, оперирующей незнаменательными категориями<sup>2</sup>. В этом случае знаменательность относят только к лексике, а не к грамматике. В действительности в грамматике части речи различаются не по признаку «знаменательные — незнаменательные», а по признаку большей или меньшей их самостоятельности, по их функциям. Имена существи-

<sup>1</sup> Здесь я не говорю о безмерном и ничем неоправданном расширении термина *грамматика*, которое в последнее время наблюдается в сфере так называемой «лингвистики текста». См. об этом в моей статье: «В какой мере „лингвистика текста“ является лингвистикой?» (ФН, 1979, 2).

<sup>2</sup> Даже такой ученый, как Э. Сепир, в свое время писал: «Когда дело доходит до языковых форм, Платон равен македонскому свинопасу...» (E. Sa p i r, Language, New York, 1921, стр. 234). В русском переводе неточно: «...Платон шествует с македонским свинопасом» (Э. С е п и р, Язык. Введение в изучение речи, М.— Л., 1934, стр. 172).

тельные и глаголы, разумеется, более самостоятельны в европейских языках, чем предлоги, приставки или союзы. Но грамматические функции этих последних в ряде случаев оказываются более «нагруженными», более напряженными, чем чисто грамматические функции существительных или глаголов.

Приведу простой пример. В одной из народных сказок Л. Н. Толстого читаем: «Погостили они у нас, все поели, попили, поломали, но ничего не сожгли». Для того чтобы перевести это предложение на любой западноевропейский язык, приставку *по-* надо передать самыми различными, вполне самостоятельными словами. В одних случаях *по-* выражает «краткость протекания действия» (*погостили*), в других — «завершенность действия» (*поели, попили*). Противопоставление *жгли* и *сожгли* семантически не менее важно, чем *пили* и *попили* и т. д. Как же после этого приставки можно называть незначительными средствами языка или «пустыми приставками»? То же следует сказать о предлогах, союзах, местоимениях<sup>3</sup>.

Следовательно, речь должна идти не о противопоставлении знаменательных и незначительных средств в грамматике, а о разграничении *р а з л и ч н ы х т и п о в з н а м е н а т е л ь н о с т и*, из которых одна знаменательность может быть преимущественно лексического типа, а другая — преимущественно или даже исключительно грамматического типа. При этом, разумеется, имена существительные или глаголы в европейских языках лексически более самостоятельны, чем приставки, предлоги или союзы. Поэтому разграничение *самостоятельных и служебных слов* в грамматике вполне обосновано материалом самих языков, а разграничение «знаменательных и незначительных частей речи» совсем не обосновано<sup>4</sup>.

В другой связи известный английский философ Б. Рассел приводил такой пример, стремясь подчеркнуть различие между лексически самостоятельными и лексически несамостоятельными словами: «Когда вы хотите объяснить слово *лев*, вы можете повести вашего ребенка в зоопарк и сказать ему: смотри, вот *лев*! Но не существует такого зоопарка, где вы могли бы показать ему *если* или *этот*»<sup>5</sup>. К этой последней группе можно присоединить и предлоги типа *в, на, у, при* и многие другие служебные слова. Рассел не интересовался грамматическим различием между ними. Но его пример прекрасно иллюстрирует подобное различие. Существительное *лев* осмысливается прежде всего лексически (лексическое значение), а союз *если* или предлог *в* — прежде всего в своей грамматической функции (граммати-

<sup>3</sup> См., например, понятие о «пустых приставках» в книге, в целом интересной и тщательно составленной: Р. В о у е г, N. S r é g a n s k i, Manuel pour l'étude de la langue russe, Paris, 2 éd, 1972 («Le préverbes russes»). В этом же плане ясность царит и в нашей современной вузовской лингвистической литературе: то предлоги «противопоставляются знаменательным словам» (Г. А. Т е р - А в а к я н, Предлоги французского языка, М., 1977, стр. 3), то предлоги анализируются как слова, обладающие «яркой лексической семантикой» (без необходимого разграничения лексической и грамматической семантики: Б. Н. А к с е н е н к о, Предлоги английского языка, М., 1956, стр. 41).

<sup>4</sup> Отмечая, что «существование грамматической семантики признается далеко не всеми», С. Д. Кацнельсон в свою очередь замечает, что «не всякая содержательная функция семантична» (С. Д. К а ц н е л ь с о н, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 118—119). Но если функция содержательна, она тем самым по-своему всегда семантична. Едва ли правомерно противопоставлять в грамматике содержательные функции функциям семантическим. При таком противопоставлении положение о семантике грамматических форм становится совершенно неясным. Без строгой необходимости усложнить и без того нелегкую науку едва ли следует. Один из блестящих французских публицистов конца XVIII столетия говорил: «Грамматика — это рычаг, с помощью которого управляется весь язык. Поэтому необходимо следить, чтобы рычаг не был бы тяжелее самого языка» (A. de R i v a r o l, Maximes et pensées, Paris, 1801, стр. 12).

<sup>5</sup> Б е р т р а н Р а с с е л, Человеческое познание. Его сфера и границы, М., 1957, стр. 140.

ческое значение). Для грамматиста-теоретика и то, и другое одинаково существенно, одинаково важно, хотя наивному сознанию обычно кажется, что самостоятельные слова более «весомы», чем слова служебные.

Могут возразить, заметив, что не во всех языках грамматические формы имеют одинаковый удельный вес в системе самой грамматики. Даже в пределах индоевропейской группы славянские языки располагают значительно большим количеством самых различных грамматических форм, чем, например, языки романские (здесь имена существительные и прилагательные в большинстве случаев не склоняются, следовательно, не знают различных форм имени). На это возражение можно ответить словами В. Гумбольдта, который любил подчеркивать: «в языке могут вытесняться *формы*, а не *форма*»<sup>6</sup>. Великий филолог совершенно справедливо считал, что если в тех или иных языках их морфологические формы по разным причинам сокращаются, то соответственно увеличивается, выдвигается на передний план роль синтаксических форм, которые, как и морфологические формы, относятся к грамматике. Во французском или испанском языках морфологических форм стало меньше сравнительно с аналогичными формами латыни, зато соответственно увеличилась роль синтаксических форм, синтаксических факторов. Вытеснились некоторые *формы*, но сохранилась грамматическая *форма*, грамматическая оформленность языка, без которой само существование языка невозможно.

Противопоставление отдельных грамматических *форм* языка грамматической *форме* языка — целостному понятию — приобретает глубокий смысл. Это отнюдь не игра слов, как утверждали некоторые критики Гумбольдта (*форма* — *формы*), а стремление понять многообразие средств грамматической о ф о р м л е н н о с т и различных языков. Прибегая к несколько условному сравнению, можно сказать, что формы человеческого тела бывают, как известно, разными, но нельзя представить себе человека вне определенной формы, вне определенной оформленности. И в языках, как и у людей, *форма* и *формы* взаимодействуют, хотя в первом случае подобное взаимодействие оказывается более свободным и разнообразным, чем во втором.

Нередко приходится слышать и другое возражение. Ну, а как быть с языками, грамматика которых вообще не знает служебных слов, где все без исключения слова имеют достаточно конкретное или во всяком случае достаточно лексически ясное значение?

В 1927 г. известный норвежский лингвист А. Соммерфельт обследовал одно австралийское племя (аранта), на языке которого тогда говорили от 300 до 400 человек. В книге, опубликованной позднее, Соммерфельт утверждал, что изученный им «на месте» язык не имел никаких служебных слов. Все слова языка этого племени имели «вполне конкретное значение»<sup>7</sup>. В этом случае проблемы противопоставления самостоятельных и служебных слов, разумеется, не возникает. Но это несколько не уменьшает значения самой проблемы. Все дело в том, на каком уровне р а з в и т и я тех или иных языков она возникает и на какие лингвистические традиции опирается. Речь идет о типологическом и стадильном разнообразии языков — это особый и важный вопрос, нуждающийся в

<sup>6</sup> В. Гумбольдт, О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода, СПб., 1859, стр. 270.

<sup>7</sup> А. Соммерфельт, La langue et la société. Caractères sociaux d'une langue de type archaïque, Oslo, 1938, стр. 115. После Соммерфельта к аналогичным заключениям приходили многие авторы, изучающие архаичные языки. Подобная архаичность — явление, разумеется, не природное, а чисто социальное и историческое. Ср. в другой связи обзор литературы: Г. А. Климов, Очерк общей теории эргативности, М., 1973.

тщательном изучении. И нельзя не сожалеть, что проблема стадийного развития языков, которая у нас успешно разрабатывалась в тридцатые и сороковые годы, позднее оказалась забытой и брошенной. Между тем, если типологическое изучение языков не замыкать рамками их синхронного состояния и помнить о постоянном развитии языков, то доктрина о стадийных различиях между разными языками приобретает большое методологическое значение.

Итак, проблема взаимодействия самостоятельных и служебных слов в грамматике, хотя и возникает только на определенном уровне движения самой грамматики, но возникнув, становится универсальной проблемой. При этом, разумеется, в каждом отдельном языке она приобретает и некоторые особенности, свои способы манифестации.

Принимая или отвергая те или иные традиционные термины и понятия в лингвистике, ученый обязан отдавать себе строгий отчет, что и для чего он принимает и что и для чего он отвергает. Когда в некоторых направлениях лингвистики нашего времени понятия о *частях речи* и *членах предложения* объявляются устаревшими, то, как мы видели, никаких серьезных аргументов против этих важнейших для грамматики понятий не выдвигается<sup>8</sup>. Между тем части речи соответствуют объективным представлениям людей о важнейших категориях, о субстанции, о движении, об отношении и о многих других, а члены предложения обнаруживают способы выражения этих категорий в структуре предложения. Поэтому, хотя анализируемые термины являются очень старыми, они необходимы лингвисту нашего времени в такой же степени, в какой они были необходимы и античным грамматистам, и античным философам. Совсем в ином свете предстают тоже весьма старые термины — знаменательные и незнаменательные части речи. Они могут бытовать лишь у тех лингвистов, согласно мнению которых в языке существует лишь одна знаменательность — лексическая, а огромная сфера грамматики представляется им сферой чисто формальных отношений, изучаемых формалистическим методом. Но стоит только признать *грамматическую знаменательность*, знаменательность грамматических форм, как старое противопоставление знаменательных и незнаменательных слов не только лишается всякого смысла, но и оказывается тормозом в процессе дальнейшего серьезного изучения природы грамматической знаменательности.

Следовательно, принятие или непринятие тех или иных традиционных лингвистических терминов и понятий определяется методологической концепцией ученого.

Анализируемый вопрос, однако, более сложен, чем может показаться. Дело в том, что здесь речь должна идти не только о признании или непризнании грамматической знаменательности (это важно, но этого совершенно недостаточно), но и о том, что вкладывают различные ученые в понятие грамматической знаменательности. В свое время американский лингвист Л. Блумфилд, ревностный поклонник чисто формалистического изучения грамматики, все же возражал, когда его упрекали в отрицательном отношении к категории значения вообще и к категории значения в грамматике, в особенности<sup>9</sup>. Следовательно, речь должна идти отнюдь не только о признании или непризнании категории значения в грамматике, но прежде

<sup>8</sup> См. об этом: О. С. А х м а н о в а, Г. Б. М и к а э л я н, *Современные синтаксические теории*, М., 1963, стр. 42 и сл.

<sup>9</sup> См. об этом: «Trends in European and American linguistics», Utrecht — Antwerp, 1961, стр. 215. То же можно сказать и о позиции Н. Хомского, который, не считаясь с семантическим аспектом грамматических категорий, вместе с тем отводит от себя упреки в формалистичности. О резком столкновении Л. Блумфилда со Л. Шпитцером на этой почве уже в сороковые годы в рамках американской лингвистики см.: Г. О. В и н о к у р, *Эпизод идейной борьбы в западной лингвистике*, ВЯ, 1957, 2, стр. 59—70.

всего о том, как подобная категория истолковывается и к каким методологическим и практическим результатам она приводит<sup>10</sup>.

## 2

Среди очень пестрых грамматических теорий нашего времени (в том числе и таких, которые рождаются и чуть ли не на следующий день умирают) можно выделить две основные, принципиально и методологически противоположные теории. Если говорить кратко, одну из них следует назвать субстанциональной и материалистической, другую — антисубстанциональной и антиматериалистической. Остальные теории как бы располагаются между ними, стремясь эклектически объединить «кусочек одной и кусочек другой» теории. Субстанциональная теория исходит из убеждения в наличии реальной материи любого естественного языка, из убеждения во взаимодействии языка и мышления, формы и содержания (в широком смысле). Она понимает язык как «практическое, реальное сознание». Антисубстанциональная теория, напротив, рассматривает язык не как «практическое, реальное сознание», а как «знаковую систему». Она исходит из убеждения в полной относительности всех языковых категорий. Принципу объективности существования языка она противопоставляет принцип его абсолютной релятивности. Не видя различия между анализом языковых форм и их формалистическим анализом, антисубстанциональная теория по существу отказывается от проблемы взаимодействия формы и содержания в языке в целом и в грамматике — в частности и в особенности.

Посмотрим теперь, как эти противоположные лингвистические доктрины трактуют грамматику, как они различно ее истолковывают.

Гегель в своей «Науке логики», конспектированной В. И. Лениным, отмечал: «Логика похожа на грамматику тем, что для начинающего это — одно, для знающего язык (и языки) и дух языка. — другое. „Она есть одно для того, кто только приступает к ней и вообще к наукам, и нечто другое для того, кто возвращается к ней от них“». Весьма интересно, что В. И. Ленин отметил на полях словами «тонко и глубоко!» ту часть из приведенного фрагмента, в которой говорится о двоякого рода ценности в грамматике и логике<sup>11</sup>.

Грамматика любого развитого языка действительно «наполнена содержанием», действительно имеет «живую ценность». Поэтому задача исследователя заключается в том, чтобы суметь обнаружить подобное содержание и подобную ценность и показать силу их действия на практике, в истории и теории реально существующих языков. Вот почему, возвращаясь к категории значения, следует отметить: на мой взгляд, лингвистам следует понимать категорию значения не только как категорию лексическую, но и как категорию грамматическую (во всех ее аспектах — и в морфологии, и в синтаксисе). Проблема грамматического значения наряду с проблемой грамматических форм всегда должна быть в центре внимания грамматиста,

<sup>10</sup> Об этом в моей книге: «Человек и его язык», 2-е изд., М., 1976, глава «Категория значения в разных направлениях современного языкознания».

<sup>11</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 90. Ср.: Гегель, Соч., V, М., 1937, стр. 37. Аналогичную мысль Гегель обосновывал и в других своих сочинениях: «Развитая последовательная грамматика есть дело мышления, выражающего в ней свои категории» (Гегель, Соч., VII, М.—Л., 1935, стр. 60). Тема «Гегель и наука о языке» еще ждет своих исследователей. А. И. Герцен со свойственной ему глубиной и проницательностью свыше ста лет тому назад справедливо писал: «Нет ничего смешнее, что до сих пор немцы... считают Гегеля сухим логиком..., в то время как каждое из его сочинений проникнуто мощной поэзией...» (А. И. Герцен, Собр. соч., 2, М., 1954, стр. 381).

если он действительно стремится изучать реально бытующие языки, а не их тени. Только в этом случае может быть осмыслена «двоякого рода ценность грамматики».

В мою задачу не входит рассмотрение разных грамматических концепций в науке нашего времени. В дальнейшем изложении будут учитываться лишь те две противоположные грамматические доктрины, которые только что были упомянуты.

Материалистическая концепция грамматики вовсе не исключает понимания ее специфики, ее самостоятельности, даже известной автономности. Но уяснив подобную автономность, следует осмыслить, как в процессе функционирования языка автономность перестает быть автономностью, как «сухие абстракции грамматики» наполняются живым и реальным содержанием, как они приобретают «двоякого рода ценность».

В современных антиматериалистических концепциях грамматики всячески подчеркивается абсолютная относительность всех ее категорий. Рассуждают при этом так: в европейских языках прилагательные могут выступать в функции имен существительных, а имена существительные способны приобретать предикативное значение (соприкосновение имен и глаголов), наречия становятся предлогами, а предлоги — наречиями и т. д. Следовательно, — делается вывод — все в грамматике абсолютно относительно, как абсолютно относительны и все ее категории<sup>12</sup>. Объективность грамматики и ее категорий либо прямо отрицается, либо ставится под сомнение. Все сводится к точке зрения исследователя: можно так, а можно и совсем иначе.

С такой доктриной, широко распространенной в наше время, согласиться невозможно. Разумеется, категории грамматики подвижны, имена прилагательные действительно могут выступать в функции имен существительных и т. д. И все же имеются вполне объективные критерии, независимые от отдельных контекстов и от точки зрения того или иного автора, позволяющие без всяких колебаний говорить о реальности частей речи в развитых языках человечества, в частности, о вполне ясных критериях разграничения частей речи в европейских языках. Разумеется, прилагательные исторически возникли позднее имен существительных, а предлоги бытуют не во всех языках. Но это уже другая проблема. Очень важно, однако, что при известной относительности членения грамматики по частям речи, при постоянном историческом и функциональном движении внутри самих частей речи, последние сохраняют свою полную объективность, а поэтому и должны изучаться вполне объективно.

Историческая и функциональная подвижность частей речи, как и многих других грамматических понятий и категорий (подобная подвижность хорошо известна любому историку языка), не имеет, однако, и не может иметь ничего общего с доктриной их абсолютной относительности. Это два, методологически противоположных подхода к грамматике: в одном случае постулируется объективность ее существования (так же, как объективно бытуют в человеческом мышлении категории, формы выражения которых грамматика анализирует), в другом — отрицается подобная объективность.

Изучая грамматику, следует, на мой взгляд, строго разграничивать грамматику естественных национальных языков и грамматику искусственных языков, так называемых кодов, сооружаемых для тех или иных практических целей. В наш век технической революции работа над кодовыми языками, безусловно, имеет важное значение. Вместе с тем недопустимо смешивать грамматическую систему кодовых построений с граммати-

<sup>12</sup> См. защиту подобной точки зрения, например, в журнале «Langue française», Paris, 1977, 35, стр. 17 и сл.

ческой системой естественных языков. Та и другая грамматика, как те и другие языки, глубоко и принципиально различны. Если в кодовых построениях все категории (не только грамматические, но и лексические) должны быть однозначными, лишенными всяких оттенков, то все категории естественных языков, как общее правило, многозначны, полифункциональны, способны выражать тонкие и тончайшие оттенки мыслей и чувств людей, говорящих на этих языках. При этом, чем более развит тот или иной естественный язык, тем все перечисленные его особенности представлены в нем ярче и многообразнее.

В 1929 г. русский лингвист С. О. Карцевский писал в своей знаменитой, но, к сожалению, недостаточно широко известной у нас статье «Об асимметрическом дуализме языкового знака»: «Если каждый языковой знак имел бы только одну функцию, язык превратился бы в простое собрание этикеток. Вместе с тем невозможно представить себе естественный язык, в котором знаки оказались настолько подвижными, что сохраняли бы свое значение лишь в данной конкретной ситуации и лишались его за пределами подобной ситуации». И дальше: «Обозначающее стремится приобрести не одну, а множество функций, подобно тому, как обозначаемое стремится быть выраженным не одним, а множеством способов»<sup>13</sup>. Если отбросить несколько неопределенное здесь представление о «языковом знаке», то все остальное точно и глубоко осмыслено.

В самом деле: однозначность языковых единиц (в первую очередь лексических и грамматических) неизбежно превращает любой естественный язык в «простое собрание этикеток» (*un simple répertoire d'étiquettes*). Выражаясь современной терминологией, «собрание этикеток» — это код, а не национальный язык. Так же точно и глубоко сформулировано положение о стремлении «обозначаемого быть выраженным не одним, а множеством разнообразных способов». Этим определяется богатейшая лексическая и грамматическая синонимия национальных языков. При этом, чем больше развиваются языки, тем многообразнее становятся способы подобной передачи, тем обширнее оказываются синонимические (в самом широком смысле) ресурсы национальных языков.

Так определяется глубокое и принципиальное различие между национальными языками человечества и искусственными кодовыми построениями, сооружаемыми для тех или иных (часто весьма важных) технических целей. Так определяется не менее глубокое различие и между их грамматиками.

Создать полную грамматику любого современного развитого национального языка трудно по многим причинам: живой язык всегда подвижен, изменчив и, как только что было замечено, практически неисчерпаем в своих ресурсах и синонимических вариантах. И все же подобные трудности не дают никаких оснований для пессимистических заключений многих представителей психолингвистики у нас и за рубежом.

«Поскольку до сих пор, — читаем мы у одного из сторонников подобного заключения, — не написана исчерпывающая грамматика английского (как и любого другого) языка, никто из нас не знает (если оценивать знания по этому критерию) правил английского языка». Он же ссылается на аналогичные трудности в лексике, подчеркивая наличие 23 значений и оттенков значений у английского существительного *case*, 38 значений — у прилагательного *free*, 69 значений — у глагола *take* и т. д.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> TCLP, 1, 1929, стр. 88 и стр. 93. Между тем исследователи семиотики и в наши дни объявляют многозначность слова весьма нежелательным свойством языка (И. А. Х а б а р о в, Философские проблемы семиотики, М., 1978, стр. 24, 32 и др.).

<sup>14</sup> Д. С л о б и н, Д. ж. Г р и н, Психолингвистика, М., 1976, стр. 106 и стр. 163 (раздел, написанный Д. Слобиным).

Но ставить вопрос в форме «или — или» (или исчерпывающая грамматика или долой всякую грамматику), разумеется, неправомерно. Ранее уже подчеркивалась подвижность языка и его неисчерпаемые возможности. В свое время знаменитому индийскому грамматисту Панини (его деятельность обычно относят к IV в. до н. э.) казалось, что он составил исчерпывающую грамматику санскрита, сформулировав четыре тысячи правил (точнее 3996 правил). Впоследствии же оказалось, что эти правила не охватывали всего языка, уже хотя бы потому, что Панини не знал и не понимал синтаксиса (описание ученого опиралось на звуковой строй, словообразование и морфологию). Но дело даже не в полноте того или иного грамматического описания. Языком можно в известной степени владеть, зная лишь его основные грамматические принципы. Другой вопрос — владеть в какой степени. Но, поднявшись на первую ступень знания языка, в принципе можно подняться и на его последующие ступени. Дело не в размере той или иной грамматики, а в том, насколько ее составители улавливают и фиксируют подлинно типичные явления данного языка. С этой точки зрения большая двухтомная академическая «Грамматика русского языка» 1952—1954 гг. оказалась в известной мере менее полной, чем аналогичная однотомная «Грамматика современного русского литературного языка», опубликованная в 1970 г. Типичные грамматические особенности русского языка в ней были представлены и описаны, на мой взгляд, лучше, чем в аналогичном, гораздо более обширном издании 1952—1954 гг.<sup>15</sup>

Все это лишний раз доказывает, что постановка вопроса в форме «или — или» (или «исчерпывающая» грамматика, или «мы ничего не знаем о языке») несостоятельна.

Сказанное можно обобщить. Формулировка вопроса в форме «или — или» отнюдь не всегда приемлема в науке вообще. В свое время Г. В. Плеханов, рецензируя книгу Г. Лансона по истории французской литературы, переведенную в конце прошлого столетия на русский язык, отмечал, что наука может вполне удовлетворительно объяснить особенности французской трагедии XVII в. Однако вопрос о том, почему «Сида» написал Корнель, а не какой-нибудь другой драматург, та же наука осветить не может. «Подобные вопросы, — продолжает Плеханов, — можно пустить до бесконечности, и они не заслуживают никакого внимания. И пусть не говорят нам, что если сами мы не в состоянии перечислить всех условий, вызвавших собой появление данного литературного деятеля, то мы не можем научно объяснить его литературную деятельность. Это довольно жалкий софизм»<sup>16</sup>. Справедливые суждения Плеханова имеют и общенаучное значение. Они применимы к разным областям знания. Поэтому «жалким софизмом» (выражение Плеханова) выглядит и тезис, согласно которому надо строить либо «абсолютно исчерпывающую грамматику», либо признать наше бессилие в построении любой грамматики.

### 3

Одна из самых трудных проблем грамматики — это ее отношение к логике. Какие только теории ни создавались по этому поводу!

Историки науки о языке обычно строят такую схему: сначала логическая грамматика (античность, средние века, Возрождение, XVII—XVIII столетия), затем историческая и сравнительно-историческая грамматика (XIX в.), на смену которой приходит синхронно-структурная граммати-

<sup>15</sup> О «Грамматике» 1970 г. см. статью В. В. Лопатина и И. С. Улуханова (ВЯ, 1978, 1).

<sup>16</sup> Г. В. Плеханов, Искусство и литература, М., 1948, стр. 840.

ка<sup>17</sup>. В действительности эта схема оказывается поверхностной, если учесть, что логические основы грамматики в нашем столетии обсуждаются не менее горячо, чем в далеком прошлом. Весь вопрос в том, как и кто, с каких теоретических позиций обсуждает подобные проблемы. К тому же накопленный конкретный материал разных языков (таким материалом не располагали минувшие века) дает возможность осмыслить взаимоотношение логики и грамматики во многом иначе, чем это делалось раньше.

Когда хотят обосновать полную автономию грамматики по отношению к логике, то с давних времен обычно приводят примеры такого рода: предложение *Этот круглый стол четырехугольный* логически бессмысленно, но грамматически построено безукоризненно (соблюдены, в частности, все необходимые здесь виды грамматического согласования). Но примеры подобного характера доказывают совсем другое. Они свидетельствуют лишь о том, что на любом языке, с соблюдением всех его грамматических правил, можно выражать любые суждения — правильные и неправильные, разумные и неразумные, полные глубокого смысла и совсем лишенные смысла. Поэтому такие примеры никакого отношения к проблеме взаимодействия грамматики и логики, разумеется, не имеют.

В свое время известный немецкий логик Х. Зигварт обращал внимание на суждения типа *великие души прощают обиды* и комментировал их: «Такие суждения, — писал он, — не утверждают ни того, что великие души существуют, ни того, что великие души именно теперь (в настоящее время) прощают обиды. Данное суждение говорит лишь о том, что когда кто-либо оказывается великой душой, он должен прощать обиды»<sup>18</sup>. Если в случае с предложением типа *Этот круглый стол четырехугольный* столкновение логики и грамматики кажется очевидным, то в предложении типа *великие души прощают обиды* подобное столкновение гораздо менее очевидно, хотя и во втором случае, как и в первом, грамматическая безупречность ни в какой степени еще не обеспечивает такой же логической безупречности.

Проблему взаимодействия грамматики и логики нельзя сводить к мысли о том, что правильность первой будто бы должна обеспечить правильность второй. Если бы дело обстояло так, то всякий человек, изучивший правила грамматики своего родного языка, обеспечил бы себе тем самым и логическую безукоризненность мысли. Проблема взаимодействия грамматики и логики предполагает совсем другое: изучение л о г и ч е с к о г о ф о н а г р а м м а т и к и, в частности и грамматики каждого отдельного языка или ряда языков. При этом расхождения между грамматикой и логикой (а такие расхождения постоянно наблюдаются) отнюдь не свидетельствуют, будто отмеченного взаимодействия в действительности не наблюдается. Наоборот. Расхождения свидетельствуют совсем о другом: о сложности отмеченного взаимодействия, об его универсальном и вместе с тем в каждом конкретном случае национальном характере.

Речь должна идти, следовательно, не о совпадении или несовпадении грамматического ряда и ряда логического, а о различных формах (нередко сложных и противоречивых) их взаимодействия. Без учета этого последнего условия разобраться в соотношении грамматики и логики невозможно.

В свое время Фосслер и его последователи, всячески акцентируя не-

<sup>17</sup> См., например, С. T r a b a l z a, *Storia della grammatica italiana*, Bologna, 1963, стр. 520—523.

<sup>18</sup> Х. З и г в а р т, *Логика*, I, СПб., 1908, стр. 112. С других позиций остроумную критику примера с «круглым столом, имеющим четыре угла», дал в свое время Б. Кроче (В. С г о с е, *Problemi di estetica*, 4 ed., Bari, 1949, стр. 173—175).

обходимость изучения национальных особенностей грамматики каждого отдельного языка, утверждали, что грамматика вообще не имеет никакого отношения к логике. Для доказательства Фосслер приводил изречение Гёте, вложенное в уста Мефистофеля:

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie  
Doch grün des Lebens goldner Baum,

что в буквальном переводе — «Сера, дорогой друг, всякая теория, хотя зелено жизни золотое дерево». При этом оказывалось, что здесь «все нелогично»: *зелено* должно относиться не к *жизни*, а к *дереву*, *золотым* дерево не бывает и т. д.<sup>19</sup> Фосслеру тем самым представлялось, что он решительно отделил грамматику от логики. В действительности исследователь лишь обратил внимание на огромные, как бы скрытые возможности языка употреблять слова, словосочетания и предложения не только в их прямом, но и в их самых многообразных переносных (метафорических) осмыслениях. «Золотое дерево жизни» нисколько не опровергает наличия логического фона у грамматики и у ее категорий, хотя и показывает, что с помощью этих категорий может передаваться сложный мир человеческих знаний и представлений, точных сведений и воображаемых ассоциаций, уже известных и еще неведомых фактов. Именно поэтому наш язык нисколько не становится алогичным от того, что, говоря *солнце восходит* и *солнце заходит* и нарушая тем самым закон, еще в XVI столетии открытый и обоснованный Коперником (как известно, Солнце не вращается вокруг Земли), мы вместе с тем нисколько не лишаем язык его логики, в конечном счете детерминированной все тем же принципом взаимодействия грамматики и логики.

Наш выдающийся режиссер В. Э. Мейерхольд говорил: «Бойтесь с педантами говорить метафорами. Они все понимают буквально и потом не дают вам покоя»<sup>20</sup>. К. Фосслер, разумеется, не был педантом, но желание во что бы то ни стало показать «национальную неповторимость каждого отдельного языка» приводило исследователя к неверным акцентам: национальное мешало ему видеть интернациональное, универсальное, свойственное всем языкам мира. В данном случае таким универсальным оказывается метафорическая подвижность слов и словосочетаний.

Разумеется, всякий язык глубоко идиоматичен, логика же не знает идиоматики. Это, в частности, одна из причин несовпадения грамматики и логики. Но это же — парадоксально! — придает проблеме взаимодействия грамматики и логики особо важное значение в самой теории грамматики.

В истории языкознания известны и попытки полного отождествления грамматики и логики, и попытки полного отделения грамматики от логики. В первом случае ученые рассуждают так: язык прежде всего служит средством передачи наших мыслей, поэтому законы логики одновременно оказываются и законами языка. Вторая группа ученых, весьма многочисленная в наше время, ставит вопрос совсем иначе: язык и в первую очередь его грамматика имеют свою специфику, поэтому грамматика не имеет никакого отношения к логике, каждая из них — и грамматика, и логика — располагают своими функциями и своими законами. Грамматика, да и язык в целом, должны изучаться как имманентные структуры. Хорошо известно, что такую концепцию защищают формалисты различного толка.

<sup>19</sup> K. V o s s l e r, *Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie*, München, 1923, стр. 1. Другие примеры из мировой литературы см. в кн.: И. И. Л а п ш и н, Проблема чужого «я» в новейшей философии, СПб., 1910, стр. 118—129.

<sup>20</sup> А. Г л а д к о в, Мейерхольд говорит, «Новый мир», 1961, 8, стр. 238.

Дело, разумеется, не в том, чтобы, отвергая «крайности», найти третье, как бы «серединное» решение вопроса. Проблема в другом: необходимо показать, как с учетом специфики грамматики следует понимать ее отношение к логике. Здесь особенно важно опираться на языковые факты, языковые материалы. Теоретизирование без учета подобных фактов не может продвинуть вперед решения этого очень старого и вместе с тем всегда нового, всегда актуального вопроса.

Доктрина, согласно которой грамматика не имеет никакого отношения к логике, всегда сопровождается девизом: необходимо изучать специфику грамматики. В наше время этот девиз приводит, однако, к двум противоположным результатам. Специфику грамматики надо изучать совершенно так же, как и специфику языка вообще — утверждают одни ученые, ибо, как отмечал еще Соссюр, «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассмотренный в самом себе и для себя»<sup>21</sup>. Другие филологи решительно возражают против подобного вывода, подчеркивая, что специфику языка в целом, как и специфику грамматики в частности и в особенности, надо исследовать очень пристально не для того, чтобы изолировать их от всего человеческого, а для уяснения, как служит язык и его грамматика человеку, как они дают возможность людям выражать и передавать другим свои мысли и чувства.

Но если призыв к изучению специфики грамматики объединяет всех современных лингвистов (трудно представить себе образованного филолога, несогласного с такой постановкой вопроса), то выводы, следующие из этого постулата (специфики грамматики), у разных ученых оказываются диаметрально противоположными. Поэтому проблема отнюдь не сводится к утверждению или опровержению тезиса «специфика грамматики», а к тому, как, во-первых, следует понимать подобную специфику и, во-вторых, какие обобщения следует сделать из безусловной важности исследования особенностей грамматики.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что специфику грамматики, как и специфику языка в целом, можно понимать весьма различно. А. И. Метченко, анализируя литературные дебаты двадцатых годов, писал: «Формалисты начала двадцатых годов называли себя спецификаторами, людьми, имеющими дело преимущественно со спецификой литературы, которую видели в форме и только в форме»<sup>22</sup>. При всем отличии грамматики от художественного текста, сказанное *mutatis mutandis* следует отнести и к грамматике. Специфику грамматики тоже можно видеть «в форме и только в форме», а можно усматривать подобную специфику во взаимодействии разнообразных грамматических форм со столь же многообразными грамматическими значениями, грамматическими функциями.

Как было подчеркнуто, грамматика всегда взаимодействует с логикой. В уже цитированном тезисе Гегеля о «двойного рода ценности грамматики» отмечалось подобное взаимодействие. Вместе с тем грамматика — это не логика. Так возникает проблема своеобразия каждой этой сферы знаний, каждой этой системы. Сказанное давно понимали выдающиеся филологи, но каждый раз решали отмеченную проблему по-своему, во многом различно. Появлялись, как появляются и в наше время, и такие ученые, которые стремятся как бы уничтожить грамматику с позиции логики.

Уже в 1887 г., например, подобную попытку предпринял В. Сланский. В книге с интригующим названием «Грамматика — как она есть и какой

<sup>21</sup> О том, действительно ли эти слова принадлежали Соссюру, см. мою рецензию на новое издание сочинений Соссюра на русском языке (ВЯ, 1978, 2).

<sup>22</sup> А. И. М е т ч е н к о, Кровное, завоеванное. Из истории советской литературы, 2-е изд., М., 1975, стр. 195.

должна бы быть» автор рассуждал так: все, что логически сходно, должно быть тождественным и в грамматическом плане. Поэтому словосочетание *дачная жизнь* грамматически приравнялось к предложению *жизнь на даче* на том основании, что обе конструкции «выражают одно и то же». На том же основании предложение *вода испаряется от теплоты* объявлялось грамматически тождественным *испарение воды происходит от теплоты*<sup>23</sup>. Между тем именно в грамматическом аспекте внутри каждой пары приведенных предложений или словосочетаний нет никакого сходства. Грамматически *дачная жизнь* строится совсем иначе, чем *жизнь на даче*, хотя их логическая корреляция не вызывает никаких сомнений. Нельзя уничтожать своеобразие грамматики (с помощью каких грамматических средств выражено, сказано, написано), опираясь на понятие логического тождества или логического нетождества.

Можно было бы не вспоминать подобных рассуждений почти столетней давности, если бы они своеобразно не возрождались в наши дни у тех представителей науки, которые, как это и ни странно, называют себя лингвистами-функционалистами, создателями функциональной лингвистики. В 1976 г. было организовано «Интернациональное общество функциональной лингвистики» во главе с известными французскими учеными А. Мартине и Ж. Муненом, которые, резко и справедливо критикуя принципы «порождающей грамматики» американца Н. Хомского за нежелание считаться с конкретным материалом реальных языков мира, вместе с тем сами, на мой взгляд, недостаточно учитывают огромное многообразие подобного материала, когда судят о грамматике с позиции логического тождества или логического нетождества<sup>24</sup>.

«Функционалисты» правы в своем стремлении связать язык с потребностями коммуникации между людьми нашей эпохи. Они правы и в своем стремлении выйти за пределы рассмотрения языка «в самом себе и для себя». Здесь их следует всячески поддерживать. Но функциональная лингвистика только тогда, на мой взгляд, будет действительно функциональной, когда, выводя язык на большую дорогу современных проблем общения между людьми, эта лингвистика станет считаться не только со своеобразием логики, но и со своеобразием грамматики, со сходными и несходными грамматическими особенностями современных языков народов мира. Понятие функционального как общее понятие должно относиться не только к логике, не только к мышлению, но и к грамматике, грамматическим построениям. Это делает функциональную лингвистику подлинно функциональной, без всяких ограничений и условностей.

Сказанное поясню таким простым примером. Сравним два предложения французского языка: *la chanson que nous avons entendu chanter* «песня, исполнение которой мы услышали» и *la jeune fille que nous avons entendue chanter* «девушка, пение которой мы услышали». В первом предложении причастие прошедшего времени (*entendu*), не согласовано с подлежащим (*la chanson*), а во втором предложении согласовано (*entendue* согласовано с *la jeune fille*). Чтобы разобраться в законах грамматического согласования, необходим элементарный логический анализ обоих предложений. Трудность проблемы, однако, заключается в том, что подобный логиче-

<sup>23</sup> В. С л а н с к и й, Грамматика — как она есть и какой должна бы быть, СПб., 1887, стр. 17 и 26.

<sup>24</sup> См., в частности, специальный номер журнала «La linguistique», Paris, 1977, 1, посвященный «функциональной лингвистике» в данной ее интерпретации. Этот журнал является органом функционалистов. Критика взглядов Н. Хомского на «логические основы лингвистической теории» дана, в частности, и в интересной статье Р. О. Якобсона «Итоги девятого конгресса лингвистов» («Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 582 и сл.).

ский анализ соприкасается с семантическим анализом тех же предложений. При этом нелегко установить, где кончается первый и где начинается второй. И это отнюдь не случайно. Напротив, очень характерно. Взаимоотношения грамматики и логики в естественных языках человечества обычно оборачиваются взаимоотношениями тройственными — грамматики, логики и семантики. И это закономерно, если не забывать об основных функциях языка.

Нельзя забывать и о национальных особенностях грамматики каждого отдельного языка. Предложение *я верю, что это правда* француз построит так, что глагол *есть* будет у него в изъявительном наклонении (буквально: «я думаю, что это есть правда»). Так же построит предложение и испанец. А вот итальянец глагол *есть* должен употребить не в изъявительном, а в сослагательном наклонении, тем самым усиливая модальность первого глагола. Сравним французское, испанское и итальянское предложения: *Je crois que c'est vrai; Creo que es verdad; Credo che sia vero*. Можем ли мы логически объяснить, почему итальянцы находят нужным усилить модальное значение первого глагола *верить* с помощью сослагательного наклонения (*sia*) второго глагола, а французы и испанцы довольствуются лексической модальностью лишь первого глагола (*верить*), не прибегая к грамматической модальности второго глагола? Логически это объяснить невозможно. Здесь только следует сослаться на историческую традицию каждого языка. Вместе с тем взаимодействие логики и грамматики обнаруживается в каждом из этих трех языков, хотя и реализуется либо различно (особая позиция итальянского), либо одинаково (совпадение позиций испанского и французского).

Все это дает возможность еще раз подчеркнуть: если недопустимо отождествлять грамматику и логику, то так же недопустимо не видеть разнообразных и многообразных контактов между ними.

## 4

Обратимся теперь к еще одной общей проблеме — к соотношению национальных и интернациональных особенностей в грамматических системах различных языков. Подобное соотношение горячо обсуждается в современной науке.

В нашу эпоху, в эпоху все более развивающихся контактов между народами, подобные контакты находят свое выражение в самых разнообразных сферах, в том числе и в языках. Возникают известные интернациональные тенденции, свойственные не только генетически родственным языкам, но и языкам неродственным, казалось бы, совсем несходным. Подобные интернациональные тенденции обнаруживаются прежде всего в лексике, в новых словах и устойчивых словосочетаниях, вызванных, в частности, научно-технической революцией. Сходство дает о себе знать и в некоторых синтаксических построениях, в развитии номинативных предложений, в преобладании паратаксиса над гипотаксисом, в особенностях структуры диалога, разговорной речи и т. д.

Вместе с тем интернациональные тенденции языков мира, сами по себе очень важные и интересные, не должны неправильно ориентировать лингвистов, приводить их к ошибочному заключению о стирании национальных различий между языками. К сожалению, такое заключение нередко делают ученые, односторонне подчеркивающие интернациональные контакты между языками. Больше того. Часто утверждают, что языковые контакты и формы их выражения изучает теоретическая лингвистика, тогда как «на долю эмпирической лингвистики» приходится лишь регист-

рировать различия между языками. Эта доктрина американца Н. Хомского находит сторонников среди лингвистов и в других странах <sup>25</sup>.

Нет никаких оснований ограничивать теорию грамматики рамками интернациональных тенденций в самой грамматике. Дело в том, что подобные тенденции обычно неотделимы от национального своеобразия грамматики каждого отдельного языка. Думать иначе, значит смешивать естественные языки человечества с уже упомянутыми искусственными кодами. Если грамматики отдельных языков не имели бы своих особенностей, постановка вопроса об интернациональных тенденциях в грамматике разных языков оказалась бы невозможной. Подобного рода тенденции всегда пробивают себе дорогу сквозь отдельные грамматические системы, не только «преодолевая» их, но и опираясь на них. Поэтому тезис «теория изучает универсальные черты языка и его грамматики, а все остальное отводится на долю эмпирического описания» оказывается тезисом в своей основе ошибочным: национальные языки здесь прямо подменяются кодовыми построениями.

Между тем, нередко идут еще дальше, подчеркивая все тот же тезис, согласно которому для понимания межнациональных функций русского языка как языка общения всех народов СССР (действительно важнейшая функция русского языка нашей эпохи) будто бы не следует обращать внимания на национально-неповторимые особенности самого русского языка, выделяя лишь такие его черты, которые оказываются у него общими с другими языками <sup>26</sup>. С такой постановкой вопроса согласиться невозможно.

Чтобы стать подлинно межнациональным языком общения всех народов, населяющих нашу страну и говорящих на разных языках, русский язык должен быть сильным и богатым в своих выразительных возможностях (в широком смысле). Для этого ему следует не только сохранить свои национальные особенности, свою языковую специфику, но и дальше всячески развивать их. Если же русский язык — представим себе это на минуту — стал бы в дальнейшем заботиться лишь о таких своих особенностях, которые оказываются у него общими, например, с тюркскими или некоторыми кавказскими языками, то он потерял бы свою силу и стал менее пригодным для выполнения межнациональных функций. Для этой последней цели язык должен располагать огромными коммуникативными и выразительными возможностями, что невозможно без столь же значительных чисто национальных особенностей, без своеобразной индивидуальной «неповторимости» языка.

Как это и ни кажется парадоксальным с первого взгляда, межнациональная и даже интернациональная функция русского языка будет тем сильнее и тем значительнее, чем в большей степени станет и дальше развиваться его национальное богатство (во всех областях и сферах), основанное на разнообразной письменной и устной традиции. Такой язык станет поистине межнациональным: он сможет удовлетворить нужды разнообразных народов, языки которых в свою очередь часто располагают бога-

<sup>25</sup> См., в частности, защиту данного тезиса Н. Хомского в одной из обзорных статей: «Борьба между эмпиризмом и рационализмом в современной американской лингвистике», ВФ, 1972, 1, стр. 142—146.

<sup>26</sup> «...понятие грамматической синтагмы, с акцентом на национальные особенности русского языка, является тормозящим фактором развития русского языка...» (Ю. Р о ж д е с т в е н с к и й, О работах академика В. В. Виноградова по истории русского языкознания, в кн.: В. В. В и н о г р а д о в, История русских лингвистических учений, М., 1978, стр. 36). Замечу, что сам В. В. Виноградов такого положения никогда не выдвигал. Материалы о языковых универсалиях см. в сб. «Новое в лингвистике», V, М., 1970. Уже в 1860 г. В. Даль в предисловии к первому изданию своих «Пословиц русского народа», предостерегая против опасности выравнивания и обезличивания русского языка, талантливо выступал в защиту его яркой самобытности.

той народной традицией. Язык же, лишенный своего собственного «лица», с подобной, во всех отношениях ответственной функцией (межнациональной) никогда не справится. Здесь мы подходим к весьма важной проблеме в з а и м о д е й с т в и я национального и интернационального в крупнейших языках мира.

Сказанное относится не только к русскому языку, но и к любому другому языку, получающему широкое распространение. В Норвегии, например, значительная часть образованных людей говорит и понимает по-английски. При этом английский язык, безусловно, оказывает воздействие на некоторые области и сферы норвежского (прежде всего на его лексику и фразеологию). Вместе с тем нельзя, разумеется, сказать, что норвежский язык «приспосабливается» к английскому, а английский — к норвежскому. Хорошие норвежские писатели и сознательно, и бессознательно стремятся «оттолкнуться» от английского языка, всячески развивая и углубляя чисто национальные особенности своего родного языка во всех областях. Этим самым они развивают и обогащают родной язык — проблема, мимо которой никогда не проходит ни один значительный писатель. Так национальное «сталкивается» с интернациональным — диалектический процесс, наблюдаемый во всем мире, хотя и получающий различные особенности своего выражения в разных странах, в разных социальных условиях.

Более сложное соотношение между языками складывается во многих странах современной Африки и современной Азии. В объединенной республике Танзании (юго-восточная Африка) в наше время насчитывается «более чем 120 местных языков»<sup>27</sup>. За последние годы руководители республики прилагают немало усилий, чтобы установить межнациональный язык, в большей или меньшей степени понятный всем народам и племенам, населяющим эту страну. В 1971 г. таким языком был объявлен суахили. Возникло много трудностей (сам суахили имеет двадцать диалектов), но местная интеллигенция стремится не только дальше развивать суахили, но и не допустить его смешения с другими языками, бытующими в этой стране. Чтобы стать межнациональным языком, суахили своеобразно должен «возвышаться» над другими языками. В противном случае он будет понятен одним народам и непонятен другим. И здесь парадоксальность положения в том, что статус межнационального языка требует от его носителей по-своему беречь язык, не допуская его сближения с одними местными языками и не отдаляя его тем самым от других местных языков.

В противном случае любой межнациональный язык окажется в положении пиджин-инглиш, «испорченного» английского языка. Пиджин-инглиш потому и оказался неспособным выполнять функцию межнационального и, тем более, функцию государственного языка, что, приспособляясь в каждой отдельной стране к местным лингвистическим условиям, он тем самым утратил свою специфику, стал своеобразным упрощенным языком, негодным для обслуживания современной цивилизации. Разумеется, были и другие причины фиаско пиджин-инглиш, но отмеченная причина едва ли не была главной. Недаром почти все видные африканские писатели и политические деятели выступают против смешения суахили не только с другими местными языками, но и против его смешения с английским. Все это сделало теперь возможным переводить на суахили произведения Шекспира и других классиков мировой литературы<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> См. сб. «Проблемы языковой политики в странах тропической Африки», М., 1977, стр. 34.

<sup>28</sup> Там же, стр. 32. Ср. также материалы другого сборника: «Языковая ситуация в странах Африки», М., 1975.

Приведенные материалы и соображения демонстрируют несостоятельность ранее уже упомянутой доктрины Н. Хомского, согласно которой лишь интернациональные тенденции языков нуждаются в теоретическом осмыслении, тогда как их национальные особенности могут только эмпирически перечисляться.

Сама по себе проблема соотношения национальных и интернациональных тенденций сложна даже в пределах родственных языков. Здесь надо считаться с разными уровнями языков. Уже более пятидесяти лет тому назад Мейер-Любке, например, отмечал, что синтаксис современных романских языков в некоторых своих особенностях ближе к синтаксису германских и славянских языков, чем к синтаксису латыни<sup>29</sup>. Хотя исследователь и не выходил здесь за пределы родственных индоевропейских языков, все же он усложнял проблему, отмечая, как синхрония в состоянии «перекрывать» диахронию и как неодинаково «ведут себя» разные уровни языка. Синтаксические тенденции оказываются гораздо более интернациональными, чем тенденции морфологические или фонетические. Сказанное не означает, однако, что синтаксис языка всегда важнее его морфологии и фонетики, как сейчас утверждают многие<sup>30</sup>, но считаться с различными особенностями тех или иных уровней языка необходимо. При этом нельзя забывать, что без фонетики и морфологии, как известно, не может существовать ни один живой язык. К тому же морфология — основа грамматической системы.

Видеть в современных языках лишь интернациональные тенденции, лишь то, что их объединяет, закрывая глаза на черты несходства, черты национального своеобразия каждого языка — это значит сознательно или бессознательно искажать истинное состояние языков мира, а в теории — возвращать нас, как это и ни странно с первого взгляда, к науке средних веков. Именно в ту эпоху, как и несколько позднее в эпоху Возрождения, черты греческого и особенно латинского языков приписывали другим европейским языкам. В европейских языках тогда видели лишь то, что сближает их с латынью, и старались не замечать «всего остального»<sup>31</sup>. Только с двадцатых годов XIX столетия, в эпоху обоснования сравнительно-исторического метода, стало ясно, насколько существенны не только черты сходства, но и черты несходства между языками, даже между языками генетически родственными. Больше того. Как уже тогда показали исследования Боппа и Гримма, сходство между родственными языками можно по-настоящему осмыслить, лишь учитывая особенности расхождения между этими же языками.

Современная лингвистическая карта мира показывает, как происходит постоянное взаимодействие интернациональных и национальных особенностей языков. Между родственными языками подобный процесс, естественно, протекает несколько иначе, чем между языками неродственными. При этом языки очень широкого распространения (русский, английский, арабский, испанский и др.) не теряют своего глубокого национального своеобразия.

<sup>29</sup> W. Meyer-Lübke, Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft, 3 Aufl., Heidelberg, 1920, стр. 10.

<sup>30</sup> Например: L. Renzi, Introduzione alla filologia romanza, Bologna, 1976, стр. 170.

<sup>31</sup> J. Vaebler, Beiträge zu einer Geschichte der lateinischen Grammatik im Mittelalter, Halle, 1885, стр. 35—45; Л. Олшкн, История научной литературы на новых языках, М.—Л., 1933—1934 (три тома, в особенности т. 3, стр. 135—198); Л. М. Баткин, Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления, М., 1978, стр. 73—80 (напрасно только Л. М. Баткин билингвизм той эпохи опасается интерпретировать социологически).

Подобно тому, как национальная культура отдельных народов нисколько не препятствует их сближению и взаимопониманию, так и национальные особенности разных языков нисколько не мешают межнациональному и даже интернациональному престижу отдельных языков, в особенности в тех случаях, когда подобный престиж завоевывается честно, в результате справедливых социально-культурных предпосылок.

В первой части статьи была сделана попытка показать: 1) в чем принципиальное различие между изучением форм в грамматике при постоянном учете их функциональной и смысловой значимости и формалистическим изучением тех же форм, 2) почему проблема грамматической семантики не менее важна для общей теории языка, чем проблема лексической семантики (и та, и другая семантика одновременно и связаны между собой, и отличаются друг от друга). Во второй части статьи был предложен опыт истолкования национальных и интернациональных тенденций в современных языках. Своеобразие подобных отношений обнаруживается, на мой взгляд, в том, что: 1) межнациональный язык в многоязычных странах, отнюдь не «растворяясь» в отдельных языках и сохраняя свою собственную специфику, вместе с тем служит средством лингвистического объединения разных народов, населяющих данную страну, 2) то же наблюдается и на уровне мировых языков, имеющих широкое распространение: с одной стороны, контакты между ними крепнут и углубляются, а с другой — каждый из таких языков не теряет и не должен терять своего национального своеобразия. Здесь многое зависит и от воли говорящих на данном языке людей, от разумной языковой политики государства, от общей культуры общества, от национальных писателей. Такова диалектика национального и интернационального в современных языках мира.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ШАРАДЗЕНИДЗЕ Т. С.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И. А. БОДУЭНА ДЬ КУРТЕНЭ  
И ЕЕ МЕСТО В ЯЗЫКОЗНАНИИ XIX—XX ВЕКОВ

Интерес к общелингвистическим воззрениям И. А. Бодуэна де Куртенэ в современном языкознании неуклонно растет не только в СССР, но и за рубежом. Объясняется это своеобразным местом, которое этот оригинальный и самобытный мыслитель занимал в науке о языке последней трети прошлого и начала нашего века. За 64 года своей научно-педагогической деятельности (1865—1929) Бодуэн де Куртенэ имел тесные взаимоотношения с представителями самых различных течений в лингвистике. В 1867—1868 гг. он слушал в Йене лекции Авг. Шлейхера, теоретика натуралистического направления. Будучи современником младограмматиков, он выдвинул ряд положений, сходных с идеями этих последних, что, однако, не мешало ему вести острую полемику с теми же младограмматиками по другим вопросам. В бытность свою профессором Казанского университета (1874—1883) Бодуэн де Куртенэ основал Казанскую лингвистическую школу, принципы которой внедрял и развивал и в других городах, где ему приходилось позже работать, в особенности в Петербурге (1900—1918). Все более отчетливо вырисовывается роль Бодуэна в становлении языкознания XX в. С одной стороны, высказывается предположение, что Ф. де Соссюр, признанный основоположник нового языкознания, еще в ранние годы знакомился с трудами Бодуэна и его ученика Н. Крушевского и, воспринимая идеи этих языковедов, своеобразно перерабатывал и развивал их. С другой стороны, утверждается, что, предвосхитив ряд воззрений структуралистов, Бодуэн оказал сильное влияние на Пражскую школу и тем самым на зарождение структурализма вообще. Актуальность этих вопросов с точки зрения истории языкознания не вызывает сомнения.

Само собой разумеется, для определения места Бодуэна де Куртенэ в языкознании XIX—XX вв. необходимо детальное изучение его научного наследия, установление внутренних связей между различными звеньями его теории. Однако, несмотря на то, что в последние годы появился ряд работ, посвященных Бодуэну де Куртенэ, его концепция в целом пока изучена недостаточно хорошо. Отчасти этим объясняется то обстоятельство, что даже самые, казалось бы, простые вопросы, касающиеся его лингвистического мировоззрения, не находят однозначного ответа в специальной литературе. Противоположные мнения высказываются, например, о том, является он психологистом или нет, индивидуалист он или социолог в понимании сущности языка, разграничивал ли он «язык» и «речь», динамику и историю и т. д. Соответственно различно трактуется и отношение Бодуэна де Куртенэ к различным школам языкознания.

В настоящей статье делается попытка представить в виде тезисов основные положения теории Бодуэна де Куртенэ, а затем, с учетом этих положений, по мере возможности, осветить вопрос о месте, занимаемом теорией Бодуэна в истории науки о языке<sup>1</sup>. Для создания целостной картины, естественно, нам придется остановиться и на пунктах, не вызывающих разногласия у специалистов.

Изучение лингвистической теории Бодуэна де Куртенэ приводит к следующим заключениям:

1. Одним из основных исходных принципов этой теории является отрицание натурализма в языкознании, отрицание утверждения Авг. Шлейхера, будто язык представляет собой организм, а языкознание — естественную науку.

2. В основе позитивных положений Бодуэна лежит психологизм. Правда, Бодуэн выделяет в языке две стороны: физическую и психическую, адекватно оценивая роль физической стороны для взаимодействия людей, а в своих конкретно-лингвистических исследованиях довольно основательно учитывает звуковую сторону. Однако теоретически Бодуэн сводит сущность языка только к психической стороне. Психологизм сближает Бодуэна с младограмматиками, но это вызвано не влиянием их друг на друга, а общим для всех источником — учением Г. Штейнтала, основоположника психологизма в языкознании. Однако психологизм Бодуэна де Куртенэ значительно отличается от психологизма младограмматиков: последние, основываясь на индивидуалистической ассоциативной психологии Гербарта, категорически отрицали правомерность этнопсихологии Лацаруса — Штейнтала и Вундта, в то время как Бодуэн де Куртенэ вместе с психологией Гербарта принимал и этнопсихологию.

3. Своеобразие психологизма Бодуэна де Куртенэ обуславливает противоречивое понимание им природы языка. С одной стороны, язык признается индивидуальным явлением, а наличие общих (племенных, народных, национальных) языков отрицается, объявляется фикцией. Но, с другой стороны, язык квалифицируется как коллективное, общественное явление. Признание языка индивидуальным явлением вытекает из индивидуалистической психологии, а источником его признания общественным феноменом является этнопсихология. Противоречивое понимание сущности языка представляется причиной того, что в специальной литературе одни языковеды признают учение Бодуэна индивидуалистическим, а другие — социологическим.

Ценным в учении Бодуэна следует считать признание общественного характера языка и широкое применение социологического подхода к языку еще в 70-х годах прошлого века. С этой точки зрения его предшественниками были Гумбольдт, Штейнталь и Уитней, которые до него признавали социальный характер языка. Со своей стороны, Бодуэн был предшественником как Ф. де Соссюра, так и французской социологической школы (А. Мейе). Вместе с тем он принципиально отмежевался от своих современников-младограмматиков (Г. Пауль, Б. Дельбрюк), которые, ограничиваясь индивидуальной психологией, и язык считали чисто индивидуальным явлением.

4. Бодуэн де Куртенэ раньше, чем младограмматики, придает особое значение изучению живых языков и их диалектов, поскольку они непосредственно доступны наблюдению. Роль живых языков и их диалектов

<sup>1</sup> Детальный анализ концепций Бодуэна де Куртенэ и высказанных о них в специальной литературе мнений, а также подробная аргументация выдвинутых в данной статье положений даны в нашей книге «Лингвистическая теория И. А. Бодуэна де Куртенэ и ее место в языкознании XIX—XX вв.», опубликованной недавно на грузинском языке в Издательстве АН ГрузССР.

подчеркивали и натуралисты (Авг. Шлейхер, М. Мюллер). Специфическим для Бодуэна является интерес не только к территориальным, но также к социальным диалектам и жаргонам.

5. Вопрос об экспрессивной функции языка недостаточно широко разработан в трудах Бодуэна де Куртенэ. О взаимоотношении языка и мышления у него встречается несколько высказываний, которые по существу не отличаются от общеизвестных положений Гумбольдта (таковы, например, положения: язык — творчество, язык не *ergon*, а *energeia*, язык представляет собой мировоззрение и т. д.).

6. Внимание привлекает вопрос о разграничении языка и речи в учении Бодуэна де Куртенэ<sup>2</sup>. По мнению некоторых специалистов, Бодуэн предвосхитил идею Соссюра о противопоставлении языка и речи<sup>3</sup>. В нескольких ранних трудах Бодуэна действительно встречается намек на разграничение языка и речи<sup>4</sup>. Однако эта идея в дальнейшем находит развития. По этому вопросу у Гумбольдта сказано больше и отчетливее, чем у Бодуэна. Бодуэн даже терминологически не разграничивает «язык», «речь» и «говорение».

7. В учении Бодуэна де Куртенэ значительное место занимает теория семасиологизации и морфологизации, представляющая собой результат функционального подхода к языку: реальные единицы языка наделены семантическим или грамматическим значением, т. е. семасиологизованы или морфологизированы. Основной единицей, подвергающейся семасиологизации или морфологизации, является морфема, однако носителями значения могут оказаться фонема и даже ее компоненты (кинема, акуσμα).

В последнем положении справедливо видят зачатки теории смысло-различительной, дистинктивной функции фонемы (и ее компонентов), которую впоследствии разработали, с одной стороны, Л. В. Щерба, а с другой, пражские структуралисты.

8. Бодуэн специально не рассматривает вопроса о языковых знаках, но из его отдельных высказываний ясно, что он признает языковые единицы знаками, символами и считает их случайными, условными по отношению к означаемым предметам<sup>5</sup>. Теорию языкового знака, которая разрабатывалась в философии на протяжении многих веков, поставил в центр лингвистической теории Ф. де Соссюр.

9. Зато Бодуэном де Куртенэ широко и многосторонне обсуждается вопрос о системном характере языка. С этой точки зрения Бодуэн сделал значительный шаг вперед по сравнению с Гумбольдтом и Штейнталем, которые раньше него признавали язык системой. Уже к началу 70-х годов прошлого века, т. е. за несколько десятков лет до появления «Курса» Ф. де Соссюра, Бодуэн де Куртенэ в основу трактовки теоретических вопросов языкознания кладет системность языка. Бодуэн очень близко подо-

<sup>2</sup> Л. В. Щерба, Бодуэн де Куртенэ и его значение в науке о языке, «Избр. работы по русскому языку», М., 1957, стр. 94; е г о ж е, И. А. Бодуэн де Куртенэ (некролог), ИРЯС, III, кн. 1, 1930, стр. 317; А. А. Леонтьев, Общелингвистические взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ, ВЯ, 1959, 6, стр. 116; В. В. Виноградов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, в кн.: И. А. Бодуэн де Куртенэ, Избр. труды по общему языкознанию, I, М., 1963, стр. 12.

<sup>3</sup> R. Jakobson, The Kazan' school of Polish linguistics and its place in the international development of phonology, «Selected writings», II, 1971, стр. 409; M. Ivič, Trends in linguistics, The Hague — Paris, 1965, стр. 188; H. G. Schogt, Baudouin de Courtenay and phonological analysis, «La linguistique», 1966, II, 2, стр. 29; F. Häusler, Das Problem Phonetik und Phonologie bei Baudouin de Courtenay und in seiner Nachfolge, Halle (Saale), 1968, стр. 36.

<sup>4</sup> И. А. Бодуэн де Куртенэ, Некоторые общие замечания о языкеведении и языке (1870), «Избр. труды по общему языкознанию», I, стр. 76—77; е г о ж е, О задачах языкознания (1889), там же, стр. 212.

<sup>5</sup> И. А. Бодуэн де Куртенэ, Избр. труды..., I, стр. 46, 208, 256, 261—262

шел к понятию «ценности», хотя эксплицитно и не обосновывал его. В его суждениях встречается также намек и на разграничение системы и структуры<sup>6</sup>.

В отличие от «Курса» Соссюра, где системность языка признается только в синхронном срезе, Бодуэн де Куртенэ замечает системный характер и в изменениях, в диахронии. В этом вопросе продолжателями его идей оказались представители Пражской школы (Трубецкой, Якобсон), которые внесли понятие «системы» и в диахронию.

10. Бодуэн де Куртенэ четко разграничивает статику и динамику языка, или состояние языка в данный момент и изменимость во времени, исторические изменения. Размежевание названных двух явлений не было чуждым вообще для языкознания XIX в., специфику того или иного языковеда или лингвистического направления составляла интерпретация каждого из названных явлений и оценка их удельного веса. Если младограмматики научной считали только лишь историческую грамматику, а значение статической, описательной грамматики игнорировали, то позже Ф. де Соссюр в центр внимания поставил описательную, синхроническую лингвистику, а историческую, диахроническую лингвистику признал второстепенной.

Бодуэн де Куртенэ не впадал ни в одну из этих крайностей. В противоположность младограмматикам он выдвинул проблематику описательного, статического языкознания как вполне научную, а в отличие от Соссюра он не умалял роли историзма. Наоборот, ведущими признавал исторические исследования, поскольку они дают возможность объяснить явления, восстановить прошлое и предвидеть будущее.

Привлекает внимание положение Бодуэна о том, что в языке нет неподвижности, что это лишь научная фикция<sup>7</sup>. Аналогичное мнение высказал и Ф. де Соссюр в своем «Курсе», что, однако, не помешало ему отдать предпочтение именно этой фикции, т. е. синхронии.

Обыкновенно, в словоупотреблении Бодуэна «статика» и «динамика» идентичны описательной и исторической грамматике или соссюрским синхронии — диахронии. Только в редких случаях (в 80-х годах прошлого века) автор, различая динамику и историю, дает трехчленную систему: «статика» — «динамика» — «история»<sup>8</sup>. В основе этого различения лежит антиномия индивидуального и социального языка: динамика учитывает изменения индивидуального языка, а история — изменения социального языка.

Представляется спорным мнение Якобсона, согласно которому, в то время как Соссюр смешивал две пары понятий: статику — динамику, с одной стороны, и синхронию — диахронию, с другой, у Бодуэна намечались признаки их различения<sup>9</sup>. В трудах Бодуэна не наблюдается и намек на то разграничение статики — динамики и синхронии — диахронии, которое было впоследствии предложено Якобсоном<sup>10</sup>.

11. Из проблематики описательного языкознания Бодуэн разработал вопросы языковых единиц, разделов грамматики и методов описательного анализа.

<sup>6</sup> Ср.: Ф. М. Березин, Русское языкознание конца XIX — начала XX вв., М., 1976, стр. 190.

<sup>7</sup> И. А. Бодуэн де Куртенэ, Избр. труды..., I, стр. 349.

<sup>8</sup> Об этом см.: А. А. Леонтьев, указ. соч., стр. 118—119; его же, И. А. Бодуэн де Куртенэ и его учение о языке, «Р. яз. в шк.», 1965, 2, стр. 90—91; Ср.: F. H a u s l e r, указ. соч., стр. 40, 63—64.

<sup>9</sup> R. J a k o b s o n, указ. соч., стр. 421.

<sup>10</sup> R. J a k o b s o n, Prinzipien der historischen Phonologie, TCLP, 1931, 4, стр. 264—265.

В его трудах дается целая система языковых единиц, в основе которой лежит двоякое деление речи: с фонетической точки зрения и с точки зрения значения. Особенно интересны языковые единицы, выделенные на основе второго признака. Это — единицы фонологического, морфолого-семантического и синтаксического уровней. При этом особое внимание уделяется наименьшим единицам каждого уровня. Система языковых единиц, выделенных Бодуэном де Куртенэ, по восходящей последовательности представляется в следующем виде: кинема, акуσμα, кинакема — фонема — морфема — синтагма, отдельно стоит в письменном языке графема. Бодуэн не только предлагает своеобразную трактовку перечисленных единиц, но и является создателем всех указанных терминов, кроме «фонемы» (последний был заимствован у Соссюра). При интерпретации данных единиц привлекают внимание следующие вопросы:

А. Все перечисленные единицы в соответствии с общей концепцией автора носят психический характер.

Б. Общеизвестны заслуги Бодуэна в деле разработки понятия фонемы и фонологии как нового раздела языкознания. В его трудах встречаются две различные теории фонемы: морфолого-этимологическая и психологическая. Первая, четко сформулированная в 1881 г., хронологически предшествует второй, которая встречается по крайней мере с 1888 г., сперва рядом с морфолого-этимологической теорией, а затем вытеснив ее.

Морфологическая концепция фонемы (фонема — подвижной элемент морфемы) легла в основу Московской фонологической школы, а психологическая трактовка (фонема — психический эквивалент звука) была усвоена, с одной стороны, Ленинградской школой, а с другой, Пражской школой, хотя впоследствии обе школы освободились от психологизма. Вместе с психологизмом обе школы восприняли определенные принципы и из первой концепции Бодуэна де Куртенэ. Так, Ленинградская школа соединила с психологизмом понимание фонемы как звукового типа, а Пражская школа положила в основу фонемы обобщенные антропофонические (т. е. акустико-артикуляционные) признаки, упорядочив их при помощи критерия релевантности, не наблюдаемого у самого Бодуэна.

В. Кинема, акуσμα, кинакема представляют собой составляющие фонемы, следовательно, у Бодуэна уже дан компонентный анализ фонемы, хотя он не доходит до уровня дифференциальных признаков, поскольку отсутствует критерий релевантности.

Г. Понятие морфемы как наименьшей значимой единицы, объединяющей корни и аффиксы, безусловно ценно. Такого родового понятия в языкознании не существовало в 70-х годах, когда Бодуэн создал термин «морфема».

Д. Понятие синтагмы в учении Бодуэна остается неясным. Оно объединяет гетерогенные факты: слова и неразложимые словосочетания. Этим понятием Бодуэн хотел обозначить наименьшую, неделимую единицу синтаксиса.

12. Несмотря на обострение внимания к проблемам описательного языкознания, Бодуэн особое значение придает истории, без которой истинная наука невозможна. Привлекает внимание признание существования в языке слоев различных хронологических уровней и необходимости их выделения. В понимании историзма Бодуэн стоит на эволюционистской точке зрения, чем отдает дань принципам науки XIX в.

13. Бодуэн де Куртенэ различает развитие и историю<sup>11</sup>. В этом разграничении отражается антиномия индивидуального и социального язы-

<sup>11</sup> Об этом см.: А. А. Леонтьев, И. А. Бодуэн де Куртенэ и его учение о языке, стр. 90; Ф. М. Березин, указ. соч., стр. 181—182.

ка, а также психологическое понимание языка — для развития характерна непрерывность, поэтому оно наблюдается в речи индивидуума. История же — это прерывающееся, опосредствованное развитие, имеющее место в языке племени, народа. Несмотря на то, что в теоретическом аспекте на первый план выдвигается индивидуальный язык и его развитие, в практике исследования интерес Бодуэна привлекает не индивидуальный, а общенародный, социальный язык.

14. Важное значение имеет противопоставление внутренней и внешней истории. Внутренняя история изучает сам язык, его грамматику (в широком понимании), внешняя же история занимается судьбой говорящего на языке народа, его географическим и этнографическим распространением, влиянием иностранных языков, литературными языками и т. д. С данным противопоставлением совпадает внутренняя и внешняя лингвистика Соссюра<sup>12</sup>. Однако, в отличие от Соссюра, Бодуэн категорически требует не отрывать язык от говорящих людей и признает тесную взаимосвязь между внутренней и внешней историей.

15. Бодуэн де Куртене один из первых в конце прошлого века выступил против тезиса о действии фонетических законов без исключений. При рассмотрении этого вопроса он полемизирует как с Авг. Шлейхером, так и с младограмматиками, считая отождествление фонетических законов с законами физики и химии пережитком натурализма. Бодуэн отрицает фонетические законы по той причине, что для звуков не характерны длительность и непрерывность, они не составляют сущности языка. Языковые законы, по его мнению, психичны и социальны. Таким образом, в основе отрицания Бодуэном звуковых законов лежит опять-таки его психологизм, для него история языка — это не история звуковой стороны и связанного с ней значения, а история языковых представлений. Психологизм в трактовке сущности языка приводит к психологизму в понимании истории языка.

Против тезиса младограмматиков о непреложности фонетических законов выступал и Г. Шухардт<sup>13</sup>, но на другой основе: он исходил из фактического положения вещей, согласно которому установленные в языковедении фонетические законы имеют много исключений, и высказывал сомнение в существовании в языке закономерностей вообще. При рассмотрении вопроса о фонетических законах, несмотря на некоторую общность их позиций, Бодуэн полемизировал и с Шухардтом, который большое значение придавал моде, имитации, смешению.

16. Весьма ценным является признание Бодуэном де Куртене общих законов, сил и категорий развития языков. Их установление представляется Бодуэну одной из основных задач языковедения.

Наличие общих законов в развитии языков замечалось языковедами и до Бодуэна, и после него. О них говорил Авг. Шлейхер раньше, чем Бодуэн, а А. Мейе и Ж. Вандриес — позже. Бодуэн де Куртене раньше названных французских языковедов (1901) отметил существование общих законов в фонетике, морфологии и семантике.

17. Вполне приемлема резкая критика телеологизма, данная Бодуэном де Куртене. По его справедливому утверждению, наука устанавливает не цели изменений, так как таких заранее намеченных целей не существует, а причины.

Несмотря на это, телеологический принцип в завуалированном виде все же встречается в трудах Бодуэна. В изменениях языка он большое

<sup>12</sup> А. А. Леонтьев, *Общелингвистические взгляды И. А. Бодуэна де Куртене*. АКД, М., 1963, стр. 11—12; Ф. М. Березин, *указ. соч.*, стр. 186—187.

<sup>13</sup> Г. Шухардт, *О фонетических законах*, в его кн.: «Избр. статьи по языковедению», М., 1950.

значение придает стремлению к облегчению, удобству, к экономии сил, хотя это стремление, по его мнению, не осознано заранее. Принцип удобства, экономии встречается довольно часто в языкознании XIX в. для объяснения языковых изменений, он занимает видное место и в учении Пауля.

18. Бодуэн де Куртенэ первый широко применил принцип аналогии для объяснения языковых изменений. В этом отношении он опередил и младограмматиков. Аналогии придается особое значение по той причине, что она признается психическим фактором.

19. В XIX в., когда в языкознании главным образом велись историко-сравнительные исследования, из двух основных процессов развития языков изучалась лишь процесс дифференциации, или дивергенции, а конвергенция оставалась вне поля зрения. Заслужой Бодуэна де Куртенэ является именно обострение внимания по отношению к процессу интеграции, или конвергенции. Он вместе с Шухардтом и Асколи дал начало научному изучению процесса конвергенции, который в XX в. пользуется все большим вниманием. В понимании процесса конвергенции у перечисленных авторов встречаются и спорные положения. Так, Бодуэн, как и Шухардт, выдвинул положение о смешанном характере всех языков. Это положение оказалось бы правильным только при таком расширении границ смешения, когда всякое влияние языков друг на друга (в том числе и поверхностное, например, заимствование лексики) признавалось бы смешением, что не представляется оправданным. Но вполне приемлемым является мнение, что в определенных случаях, вследствие близких контактов и длительного двуязычия, имеет место смешение языков и что, в противоположность утверждению некоторых авторитетных представителей историко-сравнительного языкознания (например, А. Мейе), смешанные языки реально существуют.

20. В трудах Бодуэна де Куртенэ рассмотрены три классификации языков: генеалогическая и морфологическая классификации и языковые союзы. В связи с генеалогической классификацией Бодуэн один из первых в истории языкознания останавливается на трудностях, встречаемых при установлении родства языков. Из отмеченных им трудностей заслуживают внимания следующие:

А. Фонетические соответствия не всегда имеют место. Правда, наличие фонетических соответствий является бесспорным доказательством родства языков, но их отсутствие еще не означает, что родства не существует.

Б. Протекающие в языках изменения затемняют исконное родство. Поэтому в тех случаях, когда нет древних письменных памятников, мы можем оказаться бессильными доказать родство языков.

В. Смешение языков осложняет генеалогическую классификацию языков, поскольку смешанные языки одновременно принадлежат разным группам.

Эти положения Бодуэна пошатнули незыблемость генеалогической классификации, хотя сам он и не отказался от нее.

К аналогичным взглядам пришел к концу прошлого и началу нынешнего столетия и Г. Шухардт. Для обоих ученых основной причиной скептического отношения к генеалогической классификации послужило признание всех языков смешанными.

К 30-м годам критическое отношение к генеалогической классификации растет. Выдвигая против этой классификации те же самые аргументы, которые были у Бодуэна и Шухардта, некоторые языковеды приходят даже к полному отрицанию родства языков (Н. Я. Марр, Н. Трубецкой, В. Пизани).

Бодуэн де Куртенэ правильно определял возможности историко-сравнительного исследования родственных языков. Он отмечал, что реконст-

рукция языка-основы не представляется возможной. Обоснованно критиковал он также теорию родословного древа Авг. Шлейхера и теорию волн Й. Шмидта.

21. Уже к концу 80-х годов прошлого столетия Бодуэн де Куртене дает основательный критический анализ недостатков морфологической классификации языков. В частности, он выступает против признания морфологических типов восходящими ступенями развития, а индоевропейских флективных языков самыми совершенными языками. Его критические замечания затрагивают не только морфологическую классификацию, представленную в трудах Авг. Шлейхера, но также и психологическую классификацию Штейнталя, представляющую собой переработку морфологической классификации Гумбольдта.

22. Бодуэн де Куртене первый в языкознании (1901—1904) поставил вопрос о новой классификации языков, которая была призвана объединить географически соседние языки, влияющие друг на друга. Тем самым дана идея языковых союзов, которую впоследствии разработали Трубецкой Якобсон и другие члены Пражского кружка<sup>14</sup>. К аналогичным идеям пришли неолингвисты, возможно, под влиянием воззрений Шухардта.

23. Хотя Бодуэн специально не рассматривает проблемы методов языкознания, тем не менее он высказывает ряд интересных соображений по этому поводу. Из них особенно ценны:

А. Использование операции сопоставления и выявления того или иного элемента в различных комбинациях с целью выделить неделимые языковые единицы; обострение внимания по отношению к сочетаемости языковых единиц, что представляет собой зародыш дистрибутивного анализа.

Б. Применение вслед за Крушевским к языковым фактам ассоциаций по смежности и по сходству, что фактически приводит к установлению синтагматических и парадигматических отношений.

В. Попытки использовать в языкознании эксперимент.

Г. Использование в языкознании математических понятий, обозначений, формул, схем, а также признание плодотворности математических (главным образом статистических) методов. Особый интерес вызывает мнение, согласно которому математика будущего должна овладеть психическими и психо-социальными явлениями. Отметим, что попытки использования математических нотаций и формул встречаются у Шлейхера и Штейнталя. Стремление к математизации было характерно и для гербартовской психологии.

Д. В историческом языкознании признание необходимости тройного сравнения: 1) историко-генетического сравнения, охватывающего родственные языки и учитывающего процесс дивергенции языков, 2) сравнения географически соседних языков для изучения их взаимовлияния, контактов и 3) сравнения всех языков с целью установления общих законов развития.

Изучение наследия Бодуэна де Куртене дает возможность определить его место в языкознании конца XIX — начала XX в. Правда, Бодуэн не создавал целостной, законченной теории языка, вернее, неравномерно разработал звенья намеченной им теории, однако, без всякого сомнения, он имел свою собственную, хорошо обдуманную точку зрения на узловые вопросы языкознания. Он был одним из выдающихся лингвистов своей

<sup>14</sup> Об этом см.: Т. С. Ш а р а д з е н и д з е, Классификации языков и их принципы, Тбилиси, 1959, стр. 449—450 (на груз. яз.); В я ч. В. И в а н о в, И. А. Бодуэн де Куртене и типология славянских языков, в кн.: «И. А. Бодуэн де Куртене. К 30-летию со дня смерти», М., 1960, стр. 43; Г. В. Ц е р е т е л и, О языковом родстве и языковых союзах, ВЯ, 1968, 3, стр. 3; Ф. М. Б е р е з и н, указ. соч., стр. 211—212.

эпохи, занимая самостоятельную позицию в языкознании. В ряде случаев он обгонял свою эпоху, предвосхищая новые идеи языкознания XX в.

Место Бодуэна де Куртенэ в языкознании определяется его отношением к предшествующим, современным и последующим лингвистическим школам.

Из предшественников внимание привлекает отношение Бодуэна к Авг. Шлейхеру и Г. Штейнталу. Спорным представляется мнение, согласно которому Бодуэн де Куртенэ воспринял некоторые идеи Шлейхера<sup>15</sup>. Бодуэн принципиально отмежеввался от натуралистической концепции Шлейхера<sup>16</sup>. Он отрицал шлейхеровское противопоставление языкознания и филологии, признание языкознания естественной наукой, а языка — организмом, допущение обратно пропорциональной зависимости между языком и историей народа, интерпретацию морфологической классификации языков, теорию генеалогического древа, возможность реконструкции языка-основы, вносил много критических замечаний в теорию родства языков.

Психологизм Штейнтала создает исходную точку всей лингвистической концепции Бодуэна. Через Штейнтала воспринял Бодуэн идеи Гумбольдта, с одной стороны, и ассоциативную психологию Гербарта, с другой. Вместе с гербартовской индивидуалистической психологией он принял и психологию народов Штейнтала — Лацаруса<sup>3</sup> (а позже и В. Вундта).

Отражением психологизма, восходящего к Штейнталу, является не только признание языка психическим явлением, но и антиномия индивидуального и социального. Психологизм дает себя знать как в понимании проблем описательного языкознания (трактовка языковых единиц), так и исторической лингвистики (разграничение развития и истории, отрицание фонетических законов, особое значение принципа аналогии и др.).

Вопрос об отношении Бодуэна к младограмматикам<sup>7</sup> еще в прошлом веке стал дискуссионным. В противоположность утверждению некоторых языковедов<sup>17</sup>, Бодуэн не принадлежал к младограмматическому направлению. С одной стороны, ряд положений, общих с воззрениями младограмматиков (например, о значении живых языков, о признании психологизма и роли аналогии, об отрицании натурализма в языкознании и т. д.), был выдвинут им раньше младограмматиков и, следовательно, независимо от них. С другой стороны, в понимании ряда принципиальных вопросов он явно расходился с младограмматиками (положительное отношение к этнопсихологии, признание языка не только индивидуальным, но и социальным явлением, отрицание фонетических законов, признание описательного языкознания научным) и открыто выступал против их концепций.

Самым сложным является вопрос о взаимоотношении между Бодуэном де Куртенэ и Соссюром. Сразу же после ознакомления с «Курсом» Ф. де Соссюра петербургские ученики Бодуэна<sup>8</sup> обратили внимание на сходство

<sup>15</sup> А. А. Леонтьев, *Творческий путь и основные черты лингвистической концепции И. А. Бодуэна де Куртенэ*, в кн.: «И. А. Бодуэн де Куртенэ. К 30-летию со дня смерти», стр. 8; Е. Ф. К. Коенег, [рец. на кн.]: A Baudouin de Courtenay anthology. The beginnings of structural linguistics, «Language sciences», Bloomington, 1973, 27, стр. 47—48; его же, Ferdinand de Saussure. Origin and development of his linguistic thought in Western studies of language, Braunschweig, 1973, стр. 138, 282; его же, European structuralism: early beginnings, «Current trends in linguistics», 13, The Hague—Paris, 1975, стр. 762—764.

<sup>16</sup> Ср.: F. H ä u s l e r, указ. соч., стр. 27—33.

<sup>17</sup> Из новой литературы см.: В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 11; Т. А. Дегтерева, Пути развития современной лингвистики, I, М., 1961, стр. 17; В. И. Кодухов, Общее языкознание, М., 1974, стр. 50; Т. А. Амирова, Б. А. Ольховников, Ю. В. Рождественский, Очерки по истории лингвистики, М., 1975, стр. 416; F. H ä u s l e r, указ. соч., стр. 34—35.

между идеями Соссюра и Бодуэна<sup>18</sup>. С тех пор в повестке дня стоит необходимость объяснения этих сходств. На современном этапе можно считать доказанным, что два выдающихся лингвиста были знакомы, переписывались, что Бодуэн посылал свои труды и труды своего ученика Н. Крушевского Соссюру, который высоко ценил новые идеи казанских лингвистов<sup>19</sup>. При таких обстоятельствах естественно допустить, что общелингвистические идеи Бодуэна оказали определенное влияние на Соссюра. Об этом ныне никто не спорит. Разногласие вызывают степень и характер этого влияния. Представляются преувеличенными утверждения о том, что Соссюр воспринял свои фундаментальные дихотомии из учения Бодуэна и Крушевского, что большинство кардинальных теоретических понятий и принципов, введенных Соссюром, восходят к Бодуэну де Куртене и Крушевскому<sup>20</sup>.

Сходства в теориях Бодуэна и Соссюра проявляются: 1) в психологизме, 2) в социологизме, 3) в разграничении языка и речи, 4) в постановке вопроса о знаковом характере языка, 5) в признании языка системой знаков, 6) в различении статики и динамики (resp. синхронии и диахронии) и признании научного значения статики (resp. синхронии), 7) в выделении в языке ассоциаций по соседству и по сходству (resp. синтагматических и ассоциативных отношений), 8) в различении внутренней и внешней истории (resp. лингвистики), 9) в обосновании теории фонемы.

Однако, как было показано выше, эти сходные признаки обоснованы с разных позиций и, имея различный удельный вес, занимают не одинаковое место в концепциях двух выдающихся языковедов: в понимании психологизма и социологизма Бодуэн основывался на лингвистической теории Штейнталья, а также на ассоциативной психологии Гербарта и этнопсихологии Штейнталья — Лацаруса, Соссюр же на психологической социологии Дюркгейма и Тарда. Разграничение языка и речи проводится Бодуэном мимоходом и только в некоторых ранних трудах. При этом данное разграничение раньше и более четко представлено у Гумбольдта, не было оно чуждо и Штейнталю. Но только Соссюр сделал данную антиномию исходной для всей своей теории. Мало значения придается Бодуэном и природе языкового знака, в то время как этот вопрос является весьма важным для теории Соссюра. Больше сходства наблюдается между названными языковедами в постановке и трактовке проблемы системности языка, а также в признании ее значительного удельного веса. Однако у Бодуэна пока еще эксплицитно не сформулировано понятие ценности. Различение статики и динамики (синхронии и диахронии) не представляет собой специфики ни учения Бодуэна, ни учения Соссюра. Специфичным является признание научного значения синхронии, противопоставленное

<sup>18</sup> Н. А. С л ю с а р е в а, В. Г. К у з н е ц о в, Из истории советского языкознания. Рукописные материалы С. И. Бернштейна о Ф. де Соссюре, ИАН ОЛЯ, 1976, 5; Л. В. Щ е р б а, Бодуэн де Куртене и его значение в науке о языке, стр. 94; Е. П о л и в а н о в, За марксистское языкознание, М., 1931, стр. 1—2.

<sup>19</sup> «Notes inédites de F. de Saussure», éd. R. Godel, CFS, 12, 1954; R. G o d e l, Les sources manuscrites du «Cours de linguistique générale» de F. de Saussure, Genève — Paris, 1957, стр. 51; N. S l j u s a r e v a, Quelques considérations des linguistes soviétiques à propos des idées de F. de Saussure, CFS, 20, 1963; е е ж е, Lettres de Ferdinand de Saussure à J. Baudouin de Courtenay, CFS, 27, 1971—1972; А. А. Л е о п т ь е в, Бодуэн и французская лингвистика, ИАН ОЛЯ, 1966, 4, стр. 330; Е. В е н в е н и с т е, Saussure et Baudouin de Courtenay, CFS, 21, 1964; Р. Я к о б с о н, Значение Крушевского в развитии науки о языке, «Selected writings», II, The Hague — Paris, 1971, стр. 446.

<sup>20</sup> R. J a k o b s o n, The Kazan' school of Polish linguistics..., стр. 420—423; Р. Я к о б с о н, Значение Крушевского в развитии науки о языке, стр. 447. Критический анализ взглядов Якобсона см.: Н. А. С л ю с а р е в а, Теория языковедов Казанской школы и идеи Ф. де Соссюра, «Труды Самаркандского ГУ им. А. Навои», Новая серия, 174, Самарканд, 1970, стр. 10—13, 26.

бескомпромиссному историзму младограмматиков, но расхождение имеет место и в понимании этого вопроса. Бодуэн статистическому языкознанию не придает большего значения, чем динамическому, а Соссюр утверждает примат синхронной лингвистики, призывая вернуться к точке зрения рациональной грамматики XVII в. Ассоциации по сходству и по смежности, использованные впервые Крушевским, перенесены в языкознание из философии и психологии. Нет необходимости считать, что Соссюр руководствовался именно идеями Крушевского (и Бодуэна), он также мог обратиться непосредственно к О. Конту, как это сделал Крушевский. Значительное сходство наблюдается в понимании внешней и внутренней истории между концепциями Бодуэна и Соссюра, однако и здесь имеется расхождение: для Соссюра основной является внутренняя лингвистика, а Бодуэн не отдает предпочтения внутренней истории. Что касается теории фонемы, общепризнано, что она более широко и подробно разработана в учении Бодуэна, чем в концепции Соссюра.

Таким образом, влияние Бодуэна на Соссюра носит общий характер. Оно проявляется в выдвижении определенной проблематики, в выработке новых точек зрения, предвосхищающих идеи языкознания первой половины XX в., но не в заимствовании готовых теорий.

Привлекают внимание сходства во взглядах Бодуэна и Шухардта в трактовке проблем исторического языкознания. Оба языковеда выступали против младограмматиков в эпоху их господства, оба отрицали реальность фонетических законов, оба перенесли центр тяжести на изучение процесса конвергенции языков. В связи с этим они выдвинули положение о смешанном характере всех языков, ставшее исходным пунктом для критики теории родства языков. Рядом с родством по происхождению оба признавали вторичное, приобретенное родство путем сближения языков. Эти идеи были новыми на рубеже XIX—XX вв. Нет основания считать, что один из них оказал влияние на другого. Это видно хотя бы из того факта, что одинаковые положения аргументировались ими различно, исходя в ряде случаев даже из противоположных точек зрения (например, в вопросе о фонетических законах).

Мы не останавливаемся на непосредственных последователях идей Бодуэна в России и Польше (Казанская школа, Петербургская школа, Варшавская школа). Тут речь идет о внутреннем развитии направления, созданного самим Бодуэном. Этот вопрос, как и отношение Московской и Ленинградской фонологических школ к учению Бодуэна де Куртенэ, требует специального изучения и стоит вне пределов нашей задачи.

Бодуэн де Куртенэ вместе с Соссюром признается предшественником современного структурализма<sup>21</sup>. Это мнение в основном зиждется на влиянии фонологической теории Бодуэна на Пражскую школу<sup>22</sup>. Следует оговорить, что фонологические идеи Бодуэна оказали влияние не только на Пражскую школу, но и на фонетистов других стран, в первую очередь на главу Лондонской школы Д. Джоунза, а через него и на американское языкознание<sup>23</sup>. Следовательно, различные фонологические теории, как

<sup>21</sup> В. Бр'ендаль, Структуральная лингвистика, в кн.: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях, II, М., 1965, стр. 97.

<sup>22</sup> R. Jakobson, Jan Baudouin de Courtenay, «Slavische Rundschau», Berlin, 1929, 9, стр. 810; N. Trubetzkoy, La phonologie actuelle, «Journal de psychologie normale et pathologique», XXX, Paris, 1933; Ed. Stankewicz, Baudouin de Courtenay. His life and work, в кн.: «A Baudouin de Courtenay anthology. The beginnings of structural linguistics», Bloomington — London, 1972, стр. 7—8.

<sup>23</sup> D. M. A. Jones, The history and meaning of the term «phoneme», «Le maître phonétique», Suppl., 1957, стр. 3, 5—6; J. R. Firth, Atlantic linguistics, «Papers in linguistics 1934—1951», London, 1957, стр. 167.

в Европе, так и в Америке (за исключением концепции Сепира), находят свой источник в учении Бодуэна.

Что же касается Пражской школы, то здесь влияние Бодуэна де Куртенэ оказывается более глубоким, чем это было известно до последнего времени. Оно проявилось не только в фонологии, но также в функционализме, в признании роли историзма и системности языка в диахронном плане, вообще в попытке смягчить сосюрровские антиномии, а также перенесении центра тяжести от дивергенции на процесс конвергенции и идее языковых союзов. Даже критика теории родства, данная Трубецким, во многом напоминает воззрения Бодуэна де Куртенэ по этому вопросу.

И все-таки представляется спорным мнение, согласно которому Бодуэн был одним из зачинателей структурализма. Сведение теории Бодуэна де Куртенэ к структурализму означает искусственное сужение этой теории. В учении Бодуэна встречается ряд положений, которые были использованы и развиты структурализмом. Но вся общелингвистическая теория Бодуэна де Куртенэ шире и богаче, чем структуралистические концепции о языке. У Бодуэна истории языка и связанным с ней многочисленным проблемам придается больше значения, чем описанию языка, а эта идея в принципе неприемлема для структурализма.

Бодуэн де Куртенэ был одним из зачинателей языкознания XX в. Он еще к концу прошлого столетия поставил и своеобразно интерпретировал ряд важных вопросов, которые только в XX в., стали актуальными. Идеи Бодуэна оказали влияние на развитие языкознания не только в России и Польше, но и в Европе (и непосредственно, и через Пражскую школу). Самыми ценными из этих идей являются: пересмотр и критический анализ принципов теории родства языков с учетом процесса конвергенции, научное изучение процесса конвергенции (вместе с Шухардтом), выдвижение идеи языковых союзов, обоснование рядом с историко-генетическим сравнением сравнения соседних языков и сравнения всех языков мира, что лежит в основе типологических исследований. Бодуэн один из первых признал необходимость исследования общих закономерностей развития фонетической, морфологической и семантической структур языка. Все эти вопросы являлись узловыми не только к началу нашего столетия, но они весьма актуальны и ныне, в 70-х годах.

ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.

ПРЕДЫСТОРИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ  
В РАБОТАХ А. ЭРХАРТА

Среди индоевропейцев особое место принадлежит ученым, стремившимся создать целостную картину строя праязыка. Один из последних и наиболее интересных опытов такого рода представлен в трудах чехословацкого лингвиста А. Эрхарта<sup>1</sup>. Его учению свойственны, с одной стороны, смелый пересмотр догм сравнительно-исторического языкознания в области фонетики, с другой стороны, — последовательное и продуманное использование семантических критериев в реконструкции грамматики. Для обоснования своих положений исследователь широко пользуется типологическим материалом.

Восстанавливая фонетику праязыка и ее развитие, А. Эрхарт выдвигает и обосновывает следующие два принципиальных положения: 1) по способу артикуляции праязык различал два ряда смычных: звонкие и глухие; звонкие придыхательные из реконструкции исключаются; 2) звуковая сторона развития праязыка обуславливается прежде всего сращениями слов, причем ударение новообразований связано со смысловой нагрузкой, неударенность же ведет к вокалическим редукциям.

Первый из этих тезисов сформулирован в очень осторожной форме и мотивируется нуждами исследования флексии. В то же время А. Эрхарт посвятил вопросу о чередованиях простых звонких и звонких придыхательных смычных отдельную статью<sup>2</sup>, объясняя вслед за Кюни и Куриловичем<sup>3</sup> такие альтернации воздействием ларингалов. Это объяснение вполне убедительно, — особенно, если принять, развивая и уточняя предложенную концепцию, просодическую, супrasegmentную природу ларингала, считать его лишь ларингальным различительным признаком, отождествлять его с прерывностью<sup>4</sup>. Для понимания рассматриваемых чередований следует вспомнить, что в одних языках, например, в индо-

<sup>1</sup> Монография: A. Erhart, Studien zur indoeuropäischen Morphologie, Brno, 1970; статьи в Трудах Брненского университета («Sborník Prací Filosofické fakulty Brněnské University», Řady Jazykovědné = SPFFBU A): «Ke genezi slovesné flexe v jazycích indoevropských», SPFFBU A-2, 1954; A-3, 1955; «Die idg. Personalendung-ō und Verwandtes», SPFFBU E-3, 1958; «Indoeuropäská préterita s dlouhými vokály ā ē», SPFFBU A-9, 1961; «Bemerkungen zum Nasal infix im Slavischen», SPFFBU A-12, 1964; «Die griechische Personalendung-μην», SPFFBU E-10, 1965; «Zur Endung der 2. Person Plur. Medii», SPFFBU E-11, 1966; «Zur ie. Neminalexion», SPFFBU A-15, 1967; «Nachträgliches zum ie. Genitiv Plur.», SPFFBU A-19, 1971; «Der verbale Modus im Indoeuropäischen», SPFFBU A-20, 1972; «Der ie. Akzent und seine Funktionen», SPFFBU A 22/23, 1974—1975; а также: «Pluralformen und Pluralität», AO, 41, 1973; и др.

<sup>2</sup> A. Erhart, Zum ie. Wechsel Media: Media Aspirata, SPFFBU A-4, 1956.

<sup>3</sup> А. Суну, Indo-européen et sémitique, «Revue de phonétique», 2, 1942, стр. 119—120; J. Kurylowicz, Etudes indoeuropéennes, Cracovie, 1935, стр. 53.

<sup>4</sup> С. Д. Кацнельсон, Теория сонантов Ф.Ф. Фортунатова и ее значение в свете современных данных, ВЯ, 1954, 6; E. Mayrhofer-Passler, Der indogermanische Ablaut als funktionelles Element, «Revue des études indoeuropéennes», IV, 1947; e e же, Der Quantitäts-Ablaut in den indogermanischen Sprachen, в кн.: «Studien zur indogermanischen Grundsprache», Wien, 1952, стр. 15—22.

арийских, этот признак проявляется в придыхательности согласных, в других же, — например, в балто-славянских, — в слоговых акцентах в древнегреческом же эти проявления двойственны: в конечном ансамбле <sup>5</sup> слова он представлен на просодическом уровне, в предшествующей конечному ансамблю части слова — на консонантном уровне. В своеобразии проявлений данного признака находит объяснение то, что во всех случаях чередований по крайней мере один из примеров — древнегреческий,<sup>6</sup>

При этом очень важно, что привлекаемые греческие лексемы — «короткие» слова, т. е. слова, в своем целостном объеме составляющие конечный ансамбль:

- др.-греч. ὄμβρος «ливень» // др.-греч. ἀφρός «пена»,  
 др.-греч. πύθιαξ «дно (сосуда)» // др. греч. πυθμήν «дно»,  
 др.-греч. μέγας // др.-инд. mahān «большой»,  
 др.-греч. γέυος // др.-инд. hānuś «челюсть, щека»,  
 др.-греч. ἔδνον «брачные дары» // др.-инд. vadhū «невеста»,  
 др.-греч. ἀμνός «ягненок» // др. англ. † éanian (\*ogh<sup>2</sup>no-) «ягниться».  
 В других случаях звонкий непридыхательный закономерно сохраняется в составе конечного ансамбля больших слов:  
 др.-греч. ἀδήν «железа» // др.-греч. νεφρός «почка»,  
 др.-греч. ἰμβηρίς·ἔχθελος «угорь» // др.-греч. ὄφις «змея»,  
 др.-греч. ἔλαβον аор. от «братъ» // εἰληφα, перф.,  
 др.-греч. στείβω «топтать» // др.-греч. στίφος «боевая колонна»,  
 др.-греч. στέμβω «топтать» // др.-греч. ἀστειφής «неподвижный»,  
 др.-греч. θυγάτρα (вин. пад.) // др.-инд. duhitar «дочь»,  
 др.-греч. ἔγω // др. -инд. ahām «я»,  
 др.-греч. ἄγιστός «ладонь, кисть» // др.-инд. hāstah «рука».

В греческом, в силу того, что словоизменительные и словообразовательные морфемы<sup>7</sup> меняют слоговой и морфный объем слова, меняется относительно начала слова и граница конечного ансамбля, что должно было бы вызывать наличие рефлексов придыхательных и непридыхательных в одной и той же парадигме; совершенно очевидно, что естественные процессы выравнивания устраняли консонантные альтернации в пределах одного словоизменительного ряда. Сохранение форм со звонкими непридыхательными — важный архаизм фонетического строя древнегреческого языка. Напротив, редки примеры, в которых греческому придыхательному соответствует в других языках непридыхательный согласный: θυρά «дверь», ср. др.-инд. dvār; др.-греч. γοάω «рыдать», ср. др.-инд. hvāyati, hūte «звать»: здесь, вероятно, в греческом отыменный глагол.

Так можно представить причину чередований, рассматривавшихся А. Эрхартом: в очень многом он предвосхитил идею об их просодическом происхождении, что, несомненно, связано с глубоко диалектическим пониманием природы ларингалов, им выдвинутым. Когда возникает необходимость объяснить модальные альтернации согласных, реконструируется триада:

<sup>1</sup> — глухой взрывной ларингал, аналог глухих согласных;

<sup>2</sup> — звонкий взрывной ларингал, аналог звонких непридыхательных;

Н — ларингальный спирант, аналог звонких придыхательных.

Когда обсуждается вопрос о связи ларингалов с качеством гласных, исследователь, следуя теории Кюни<sup>7</sup>, восстанавливает иную триаду:

Н' — палатальный ларингал, ср. палатальные заднеязычные;

<sup>5</sup> И. М. Тронский, Древнегреческое ударение, М.—Л., 1962, стр. 52—54.

<sup>6</sup> Н. Pettersson, Studien über die idg. Heteroklise, Lund, 1921.

<sup>7</sup> А. Суну, Indo-européen..., стр. 120—125.

$H^w$  — лабиализованный ларингал, ср. лабиовелярные;

$H$  — ларингал без дополнительной окраски, ср. чистые велярные.

Подобно тому, как качество ларингала варьируется сообразно с объяснительными задачами, не поддается однозначному определению и число ларингалов. Принятие для праязыка тезиса о неразличении простых звонких и звонких придыхательных ведет к объединению \* $\zeta$  и \* $H$ ; соединение в один ряд палатальных и простых велярных требует признания единства \* $H$  и \* $H'$ . А. Эрхарт намечает и другие пути объединения выделяемых им различных ларингалов. Можно отметить, что естественным и закономерным пределом на пути таких редукций является признание ларингала различительным признаком. В целом подход А. Эрхарта близок к взглядам Э. Бенвениста, видевшего в ларингалах «алгебраические сущности»<sup>8</sup>.

Второй фонетический тезис А. Эрхарта — положение о сращениях исходных слов, с обуславливающим редукции ударением на более важном в смысловом отношении компоненте — иллюстрируется гипотезой о происхождении генитива:

$$CAC\bar{A}-S(r) + CACA-S(R) \rightarrow C(A)C-\bar{A}S \text{ (Gen.)} + C\bar{A}C-S \text{ (Nom.)}$$

Этой формулой реконструируется развитие словосочетания из выделенного ударением препозитивного определения ( $r$ ) и определяемого ( $R$ ), развивающихся в сочетание генитива с номинативом. В целом такое развитие не вызывает сомнений, именно в таких процессах следует видеть зарождение количественных чередований. Новейшие разыскания в области акцентно-аблаутного строя<sup>9</sup> праязыковых парадигм требуют, однако, уточнения рассмотренных диахронических схем. Речь идет о том, что в парадигмах выделяется несколько типов чередований; так, для простейших парадигм — для склонения корневых имен — могут быть выделены два типа.

I тип — с «сильной» корневой морфемой, с которой окончания не стягивают ударения: им. пад. \* $d\bar{o}m$  (др.-греч.  $\delta\bar{o}$ , арм.  $tun$ ), род. пад. \* $dem-s$  (др.-греч.  $\delta\epsilon\sigma\acute{\rho}\acute{o}t\eta\varsigma$ , авест.  $d\bar{a}y\bar{g} \text{ paiti-}$ ).

II тип — со «слабой» корневой морфемой: \* $n\bar{e}r$  (др.-греч.  $\acute{\alpha}\nu\eta\rho$ ), \* $\eta r-\acute{o}s$  (др.-греч.  $\acute{\alpha}\nu\delta\rho\acute{o}\varsigma$ ).

Естественно, что слова тернарной структуры имеют больше подобных типов. Определяемые таким путем имманентные, скорее всего, акцентные свойства морфем ограничивают постулируемые А. Эрхартом сдвиги ударений и редукций; необходимо отметить, что такая возможность им предусмотрена.

Таким образом, рассматриваемая модель звукового строя праязыка и его динамики требует некоторых уточнений с точки зрения реконструкции древнейших слоговых акцентов.

Восстанавливая грамматический строй праязыка, А. Эрхарт опирается на семантику грамматических категорий и проводит семантическую реконструкцию в глоттогонической перспективе.

Для категорий лица (у местоимений и личных окончаний) устанавливаются семантические оппозиции субъективности («я»)/несубъективности, конкретности/неконкретности (3 л.), индивидуальности (1 и 2-е л. ед. ч.) /неиндивидуальности. Объективным доводом, подтверждающим выделе-

<sup>8</sup> E. Benveniste, *Hittite et indo-européen*, Paris, 1962, стр. 10.

<sup>9</sup> H. Eichner, *Die Etymologie von heth. mehur*, «Münchener Studien zur Sprachwissenschaft», 31, 1973, стр. 53—107; J. Schindler, *L'apophonie des noms-racines indo-européens*, BSLP, 67, 1972; его же, *Zum Ablaut der neutralen s-Stämme des Indogermanischen*, в кн.: «Flexion und Wortbildung», Wiesbaden, 1975.

ние данных признаков, служит, во-первых, то, что они позволяют истолковать местоимения, на которых само выделение признаков не основано, например, неопределенных местоимений типа франц. *on* (— субъ., —конкр., + индив.); во-вторых, распределение праязыковых местоименных корней, из которых складывались засвидетельствованные в отдельных языках местоимения и личные окончания, соответствует найденным признакам, например: \*MA<sup>10</sup> — субъектности (1-е л. ед. и мн. ч.), \*GA (др.-греч. ἑγώ, гот. *mik*, др.-греч. σεῦς, σους, хетт. *ziga*, ст.-сл. *жго* и т. п.) — индивидуальности. А. Эрхарт рассматривает также историческую стратификацию, формирование местоименной семантики и приходит к важному и вполне убедительному выводу о том, что противопоставление по субъективности, т. е. выделение значения 1-го л., предшествовало грамматикализации других значений. Детально разбираются вопросы о чередованиях форм \**te*/\**tu*, \**ie*/\**iu*, о неделимости «сегмента» \*SMA, о роли ларингальных элементов в становлении форм лица; элементарные местоименные корни размещаются в четырехмерном пространстве, которое образуется тремя выделенными признаками и объективным временем<sup>11</sup>.

Рассматривая категорию числа<sup>12</sup>, автор выдвигает интересную гипотезу о предстории распределения известных форм. Различается развитие данных форм у имен одушевленных и неодушевленных; для последних, согласно распространенной концепции, принимается образование форм множественного числа из форм со значением собирательности. Оригинальный вклад исследователя в разработку этой проблемы — выделение следующих этапов формирования форм числа у имен одушевленных: 1) древнейшее состояние, «аморфные» слова-морфемы не дифференцируются по числу; 2) указательный элемент \*-s, присоединяясь к «словам» и конкретизируя их, образует сингулятивы, в дальнейшем развившиеся в им. пад. ед. ч.; 3) известный суффикс отглагольных имен \*-es, важнейшей функцией которого было оформление отдельного слова, противостоящего неоформленному компоненту сложного слова, превращается в показатель множественности, затем — им. пад. мн. ч.

Здесь же рассматривается происхождение форм двойственного числа, генезис форм числа у местоимений, выдвигаются новые этимологии ряда индоевропейских числительных, сводящие их к комбинациям исходных значений.<sup>1</sup>

При анализе категории падежа А. Эрхарт исходит из локалистической теории их значений<sup>13</sup>. В целом результаты исследования этой категории созвучны полученным советской индоевропеистикой выводам, известным по трудам И. М. Тронского<sup>14</sup>: падежные различия сложились раньше у имен одушевленных в единственном числе и падежей было больше, чем засвидетельствовано в известных языках; во множественном числе и у имен неодушевленных полная падежная парадигма формировалась в эпоху распада праязыка под влиянием системы единственного числа одушевленных имен. Актуальна и важна мысль о недопустимости реконструкции праязыкового эргатива. Важнейшим препятствием является невозможность в становления тождественности прямого дополнения

<sup>10</sup> При грамматической реконструкции А. Эрхарт пользуется обобщенными фонетическими знаками, например, A = \*e/\*o.

<sup>11</sup> J. E. Rasmussen, *Haeretica Indogermanica, A selection of Indo-European and Pre-Indo-European studies*, København, 1974, стр. 16—32.

<sup>12</sup> Ср.: С. Д. Кацнельсон, *Типология языка и речевое мышление*, Л., 1972, стр. 27—35.

<sup>13</sup> Ср.: L. Hjelmslev, *La catégorie des cas*, Aarhus, 1935.

<sup>14</sup> И. М. Тронский, *Общиневропейское языковое состояние*, Л., 1967, стр. 66—82.

непереходного глагола и подлежащего переходного глагола<sup>15</sup>. А. Эрхарт справедливо упрекает сторонников индоевропейской эргативности в незнании не утративших значения доводов, выдвинутых в свое время Н. Финком<sup>16</sup>. В этой же главе рассматривается дальнейшее развитие категории падежа в отдельных ветвях индоевропейских языков, в двойственном числе, у местоимений, для которых определяется более позднее формирование склонения, чем у имен. Последний вывод согласуется с фактами, установленными Ф. Бадер, открывшей чрезвычайно архаическую местоименную флексию, своеобразную семантически и фонетически, явно вытесненную именной флексией<sup>17</sup>.

Для категории вида выделяются различительные признаки, сближающие ее с категорией числа. Признак определенности характеризует перфективность и сингулярность, признак множественности (раздельности?) — многократность и плюральность, отсутствие этих признаков — имперфектность и «общее» число, безразличие к числу. Прослеживая становление этих оппозиций у глагола, исследователь, опираясь на концепции Е. Куриловича и О. Семереньи<sup>18</sup>, исходит из того, что древнейший глагольный корень мог иметь в праязыке различный фонетический состав. Для предыстории индоевропейского глагола особенно важен тот период, когда к корню присоединялись детерминативы, сообщавшие глагольной основе перфективность. Важнейшие из них, \*-s и \*-i, в то же время являлись показателями сингулятива у имен.

Детерминативы имели смысловое ударение, обуславливавшее возникновение оппозиции ритонического имперфектива и перфекта с ударением на суффиксе; в процессе последующего парадигматического обобщения ударение могло становиться единственным видоразличительным средством:

$C\acute{A}R(A) : CARC\acute{A} \rightarrow C\acute{A}RCA : CARC\acute{A}$ .

Формирование итеративных основ А. Эрхарт считает более поздним; наиболее архаичны удвойтельные итеративы, позднее значение многократности сообщалось основе суффиксами. Другой вид итеративов образовывался различными способами от корней с первоначальным перфективным значением.

Акцентологический подход применен и для объяснения различия окончаний актива и медиа. Если принять местоименное происхождение окончаний, например, медиального \*-to и активного \*-t, и учесть их субъектную природу, то оказывается возможным рассматривать медию как форму со смысловым выделением субъекта (CARCA-T\acute{A} → C(A)RC-T\acute{A}), актив же — как форму с выделением самого глагольного действия (C\acute{A}RCA-TA → C\acute{A}RC(A)-T). Следует отметить, что при таком подходе выделяемые некоторыми индоевропейцами тематические формы 3-го л.<sup>19</sup> без окончаний закономерно оказываются наиболее древними.

<sup>15</sup> Переходность можно рассматривать как последнюю стадию деградации объектного спряжения; о неуниверсальности переходности ср. Г. А. Климов, Типология языков активного строя, М., 1977.

<sup>16</sup> N. F. Finck, Der angeblich passivische Charakter des transitiven Verbs, KZ, 41, 1907.

<sup>17</sup> F. Bader, Lat. *nempe*, *porceo* et les fonctions des particules pronominales, BSLP., 68, 1973.

<sup>18</sup> J. Kuryłowicz, The inflectional categories of Indo-European, Heidelberg, 1964; см.: «Proceedings of the 7-th international Congress of linguistics», London, 1956, стр. 481—483 (выступление О. Семереньи).

<sup>19</sup> C. Watkins, Indogermanische Grammatik, III — Formenlehre, Tl. I: Geschichte der indogermanischen Verbalflexion, Heidelberg, 1969, стр. 23—46.

Обращаясь к категории наклонения, А. Эрхарт использует семантические признаки реальности (характеристика изъявительного наклонения) и волитивности (для желательного наклонения)<sup>20</sup>; отсутствие признаков свойственно инъюнктивам, варианты такой системы объясняются контекстом. Заслуживает внимания теория, выдвинутая с целью объяснения исторических и семантических связей категорий наклонения, времени, вида. В основе ее два положения: сближение определяющего настоящего время признака детерминированности с характеризующим изъявительное наклонение признаком реальности; четкая формулировка так называемой второй детерминации, т. е. присоединения определителей \*-i, \*-s, \*-m к личным окончаниям для образования форм презенса; под первой детерминацией имеется в виду присоединение видообразующих определителей к корням. Предполагается, что признак детерминированности, выражающие его определители присоединялись к «немаркированным» в видовом отношении имперфективам; перфективы не затрагивались, приобретаая тем самым способность развиваться в аорист.

В методике анализа по признакам значительным успехом является обнаружение таких признаков («ноэм»), которые характеризуют несколько грамматических категорий, даже одновременно именных и глагольных. Внутрязыковая универсальность может рассматриваться как манифестация общезыковой универсальности. В то же время данная особенность семантических признаков указывает на то, что они представляют собой лишь одну из сторон грамматической категории. Не менее важны их синтаксические функции: связь слов — для категорий падежа, лица; связь предложений — для категорий времени, наклонения; организация сверхфазовых единств — для категории залога и т. п.

Проведенный анализ позволил А. Эрхарту представить развитие праязыковой грамматики в таблице:

	Личное местоимение	Имя	Глагол
Состояние до акцентологически обусловленной редукции гласных	формирование оппозиций: по субъектности	дофлективное состояние	
	по «индивидуальности» (число)	присоединение детерминативов (С) и суффиксов (СА)	первая детерминация
	двойственное число	формирование оппозиции локальных «ноэм»	формирование спряжения соответственно местоименным оппозициям
	оппозиция по конкретности	формирование категории числа	*
	эмфатические формы	возникновение грамматических падежей вин. и род. пад. ед. ч.	развитие наклонений и видовых форм
Состояние после редукции гласных	локальные падежи	возникновение грамматических падежей мн. ч.; род., им., вин.	вторая детерминация
	грамматические падежи		

<sup>20</sup> K. Hoffmann, Der Injunktiv im Veda, Heidelberg, 1967, стр. 37.

Развитие глагольных форм в таблице уточнено по статьям, появившимся после ее опубликования. Основной упрек, который к данной схеме истории праязыка может быть предъявлен, — чрезмерное упрощение процессов фонетического развития; впрочем для всей рассматриваемой концепции характерно сознательное подчинение фонетического грамматическому, восстановление лишь тех фрагментов звукового строя, которые необходимы для грамматической реконструкции.

Исследования, проводимые А. Эрхартом по воссозданию целостной и убедительно аргументированной предыстории индоевропейских языков, уникальны<sup>21</sup>; они чрезвычайно богаты новыми оригинальными идеями и представляют образец глубокого понимания важнейших закономерностей языкового развития и языкового строя в их взаимосвязи. В них можно видеть продолжение лучших традиций чешской индоевропеистики, традиций И. Зубатого и В. Махека.

---

<sup>21</sup> Кроме Е. Куриловича, один из последних опытов реконструкции праязыка как определенной системы принадлежит В. Леманну: W. P. Lehmann, *Proto-Indo-European phonology*, Austin, 1952; его же, *On earlier stages of the Indo-European nominal inflection*, «Language», 34, 1958; его же, *Definite adjective declensions and syntactic types*, в кн.: «Donum Balticum», Stockholm, 1970; его же, *A structural principle of language and its implications*, «Language», 49, 1973; его же, *Proto-Indo-European syntax*, Austin, 1974.

КУМАХОВ М. А.

## К ПРОБЛЕМЕ ЯЗЫКА ЭПИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

Последние годы характеризуются все возрастающим интересом лингвистов, литературоведов, художников слова к народным истокам, устоявшимся традициям устно-поэтического творчества, его образному языку и художественным средствам. Во многих исследовательских и эдиционных работах на убедительных примерах развивается точка зрения, согласно которой значение устно-поэтического наследия для современного художественного творчества продолжает оставаться значительным. «Проецирование фольклорного наследия на экран современности,— пишет Г. Г. Гамзатов,— обретает все более многосторонний характер... Уважительное отношение к культурному прошлому своего народа не может быть рассмотрено как признак национальной ограниченности. Точно так же огульное отрицание положительных начал в культурном наследии своего края не может квалифицироваться как приверженность интернационализму. Все дело в том, с каких позиций и во имя чего исследуется художественная история, утверждению каких идей, чувств и настроений служит обращение к прошлому»<sup>1</sup>.

Язык фольклора, в частности эпической поэзии — категория историческая. Отсюда понятно, что роль и «функции фольклора в разные исторические эпохи изменялись»<sup>2</sup>. В настоящее время в советском и зарубежном языкознании усилилось внимание исследователей к языку фольклора, его роли в сложении и развитии национального языка, его традициям в письменной и устной формах реализации литературного языка. В этой связи и возникает вопрос об отношении языка эпической поэзии к литературному языку. Взгляды лингвистов по данному вопросу расходятся. Одни ученые считают, что язык эпической поэзии является обработанным и обобщенным, что, по их мнению, дает основание отнести его к устным разновидностям литературного языка. Другие же авторы возражают против рассмотрения языка устной поэзии как устной разновидности литературного языка. Для решения этой проблемы, естественно, необходимо всестороннее исследование языка фольклора разных народов.

В проблематике, связанной с языком фольклора, по своей значимости выделяется вопрос о формульности языка эпической поэзии, поскольку формульные выражения составляют наиболее существенную черту эпических традиций у различных народов.

Как известно, эпические традиции особенно сильны и устойчивы у новописьменных народов. Язык фольклора многих народов, продолжающих в наши дни многообразные эпические традиции, сохраняет строевые признаки, позволяющие по-новому ставить проблемы общей теории и типологии эпоса и других жанров устной поэзии. Не случайно специалисты обращаются к живым традициям языка эпической поэзии для более

<sup>1</sup> Г. Г. Гамзатов, Фольклорное наследие и современность, ИАН ОЛЯ, 1977, 5, стр. 425, 431.

<sup>2</sup> Ф. П. Филин, Об истоках русского литературного языка, ВЯ, 1974, 3, стр. 7.

глубокого осмысления вопросов сложения и формирования древних эпических произведений, в том числе гомеровского эпоса, его языка и поэтики. В этом отношении широко известны, например, работы М. Парри, А. Лорда и их учеников, выдвинувших положение о формульности языка эпической поэзии<sup>3</sup>.

«Характерно, что успехи последнего времени в изучении древнегреческого, старофранцузского и древнеиндийского эпоса связаны в первую очередь с раскрытием их устных стилевых основ по моделям живого эпоса»<sup>4</sup>. В данной статье рассматривается положение о формульности языка эпической поэзии на материале широкоизвестного героического нартского эпоса и других жанров устной поэзии западнокавказских народов, обладающих глубокими, многообразными и живыми традициями устно-поэтического творчества. Для общей теории эпоса, его языка, поэтики, выяснения степени формульности устно-поэтической традиции особенно интересен анализ материала сказаний об основных эпических героях нартского эпоса и связанных с ними формул — моделей и их вариантов. Такой анализ дает возможность выявить некоторые слабые стороны теории Парри — Лорда, а также способствует определению статуса языка эпической поэзии, его места среди наддиалектных форм речи.

В фольклоре чрезвычайно важное место занимают формулы, общие места, клише и другие специфические элементы устно-поэтической речи. Традиционные формулы устно-поэтической речи сложились и формировались в ходе длительного исторического периода как результат творческой деятельности многих поколений — носителей и создателей фольклора. Традиционные формулы и другие языковые элементы фольклора ярко отражают особенности как устно-поэтической речи, так и композиционного строения разных жанров устного народного творчества.

В своей известной книге по вопросам морфологии сказки<sup>5</sup>, получившей широкое признание среди специалистов, В. Я. Пропп усматривал специфику волшебной сказки в повторности, общности, устойчивости сказочной сюжетной структуры. Стереотипность, повторяемость, так называемые общие места (*loci communes*) также характерны для эпической поэзии и других жанров устного народного творчества. Говоря о генезисе эпических формул, В. М. Жирмунский писал: «Традиционные формулы эпического повествования и стиля представляются мне особенностями поэтического мышления, в котором типическое и традиционное преобладало над индивидуальным»<sup>6</sup>.

Как структурный компонент произведения, традиционные формулы создают композиционные и стилистические особенности языка народного эпоса и других жанров литературы дописменной эпохи. Хотя об эпических клише, общих местах и постоянных эпитетах устно-поэтической речи писали многие исследователи, более четкое определение понятия эпической формулы впервые дал М. Парри на материале сербохорватского и гомеровского эпоса. М. Парри определяет формулу как группу слов, регулярно употребляемую в одних и тех же метрических условиях для

<sup>3</sup> М. P a r r y, *Studies in the epic technique of oral verse. I. Homer and Homeric style*, «Harvard studies in classical philology», 41, 1930; М. P a r r y, II. *Homeric language as the language of an oral poetry*, «Harvard studies in classical philology», 43, 1932; «Serbo-croatian heroic songs», collected by M. Parry. Ed. by A. B. Lord, I—II, Beograd — Cambridge (Mass.), 1953—1954; A. L o r d, *The singer of tales*, Cambridge (Mass.), 1960.

<sup>4</sup> В. М. Г а ц а к, Предисловие, в кн.: «Типология народного эпоса», М., 1975, стр. 4.

<sup>5</sup> В. Я. П р о п п, *Морфология сказки*, М., 1969.

<sup>6</sup> В. М. Ж и р м у н с к и й, *Средневековые литературы как предмет сравнительного литературоведения*, ИАН ОЛЯ, 1971, 3, стр. 194.

выражения необходимой мысли<sup>7</sup>. Исследуя сербохорватский эпос, М. Парри пришел к выводу о том, что устная поэзия является вообще формульной. Формульный характер устной поэзии состоит в том, что певец не хранит в памяти весь текст произведения того или иного жанра устно-поэтического творчества, а владеет определенной системой готовых, традиционных формул, имеющих орнаментальный и обобщенный характер. Эпические формулы певец-сказитель умело включает в произведения, подчиняя их метрическим особенностям стиха. Так, владея целым набором готовых формул, основанных на метрическом строении народного стиха, народный певец по аналогии варьирует, переставляет их, вводит новые слова, словосочетания и определения, не нарушающие заданный ритмико-синтаксический рисунок стихосложения. Возможность широкого варьирования эпического произведения объясняется наличием общих типовых формул в составе эпического текста. Певец-сказитель, владея большим набором типовых формул-моделей, творчески создает произведение, являющееся вариантом уже известного эпического произведения.

Мы не будем подробно останавливаться на теории М. Парри и его сторонников<sup>8</sup>. Заметим, что теория М. Парри и его школы используется исследователями устно-поэтического творчества других народов<sup>9</sup>.

Анализ живых традиций устно-поэтического творчества показывает, что эпическая поэзия и произведения некоторых других жанров фольклора характеризуются широкой вариативностью при сохранении общих закономерностей традиционного формульного построения текста, техники и принципов исполнения эпического произведения, народных, историко-героических, обрядовых песен и др. Однако нельзя не согласиться с теми авторами, которые указывают на спорность некоторых положений теории М. Парри и его сторонников. Так, представляется недостаточно обоснованным положение об эстетическом безразличии формул, употребление которых обусловлено метрическими особенностями. Кроме того, наряду с повторяющимся, формульным в народном эпосе встречается единичное, не имеющее себе параллелей. Это объясняется, как правильно отмечает в отношении древнегреческого эпоса И. М. Тронский, тем, что единичное «может быть, с одной стороны, архаизмом, одиноким реликтом прошлого, а с другой — также новообразованием, самостоятельным творчеством поэта. Школа М. Парри в своей страсти к формулам старается последний момент свести до минимума, и это составляет одно из ее наиболее спорных положений»<sup>10</sup>. Как показывает материал героического эпоса о нартах, единичное, неповторяющееся нередко связано с сохранением архаизма, утраченного литературным языком и другими формами существования языка.

<sup>7</sup> М. Парри, *Studies in the epic technique of oral verse. I. Homer and Homeric style*, стр. 73—147.

<sup>8</sup> Теория школы М. Парри рассматривается в ряде советских и зарубежных исследований. Краткий и в то же время убедительный критический анализ этой теории дан, в частности, в работах: А. В. Десницкая, *Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка*, Л., 1970; И. М. Тронский, *Вопросы языкового развития в античном обществе*, М., 1973.

<sup>9</sup> F. Magoun, *Oral-formulaic character of Anglo-Saxon narrative poetry*, *«Speculum»*, 28, 1953; P. Creed, *The Andswarode-System in Old English poetry*, *«Speculum»*, 32, 1957; Е. М. Мелетинский, «Эдда» и ранние формы эпоса, М., 1968; П. А. Гринцер, *Эпические формулы в «Махабхарате»*, «Симпозиум по проблемам культуры древней и средневековой истории Индии. Структура индийского текста», М., 1971; е го же, *Эпические формулы в «Махабхарате» и «Рамаяне»*, «Типологические исследования по фольклору», М., 1975; Я. В. Васильков, *Элементы устно-поэтической техники в «Махабхарате»*, «Литература Индии. Статьи и сообщения», М., 1973.<sup>1</sup>

<sup>10</sup> И. М. Тронский, *указ. соч.*, стр. 148.

Вслед за А. В. Десницкой<sup>11</sup> мы считаем, что вывод М. Парри и его школы о том, что эпический текст полностью построен из одних формул, преувеличен и не соответствует материалу эпических произведений. Новообразования, отдельные отклонения от формульного построения сюжета свойственны многим эпическим произведениям и их вариантам. Следует отметить, что некоторые произведения эпической поэзии включают не только элементы стихотворно-вокального повествования. Отдельные поэтические произведения народного эпоса иногда «прерываются» прозаическим повествованием. Певец может перейти на прозаическое повествование событий в середине и других местах произведения эпической поэзии, а затем снова возобновить традиционное поэтическое исполнение того или иного произведения. Более того, одно и то же произведение певец может исполнить как в стихотворно-напевной, так и в прозаической формах. Известный абхазский певец-сказитель Кастей Аристава исполнял в разных формах — стихотворно-вокальной и прозаической — сказание о похищении огня героем эпоса и другие произведения о нартах. Вообще исполнение нартских сказаний внутри одного эпоса бывает целиком напевное, смешанное и чисто прозаическое. То же самое можно сказать об эпических произведениях многих других народов<sup>12</sup>. Так, народный грузинский эпос об Амирани бытует как в прозаической, так и в стихотворно-прозаической форме (целиком в стихотворной форме встречаются отдельные фрагменты)<sup>13</sup>. В этой связи нужно сказать, что соотношение способов исполнения произведений внутри одного эпоса, во многом определяющих характер его языковых особенностей, различно как в героико-архаических произведениях, так и в историко-героических песнях. В подобных случаях, когда эпические произведения или произведения других жанров, оставаясь единым, целостным, обладают разными способами исполнения, естественно возрастает удельный вес новообразований и неформульных элементов в тексте певца-сказителя.

Даже в том случае, если произведение от начала до конца представляет собой эпическую поэму, построенную на ритмико-мелодических основах народного стихосложения (как это нередко наблюдается в отношении нартских сказаний), никак нельзя сказать, что в нем нет ничего, что не было бы формулообразным.

Степень варьирования и формульности определяется также разными факторами. Певец может дословно повторять одно и то же произведение множество раз, держать в памяти весь текст произведения, в том числе стереотипные и формулообразные языковые единицы, метрические каноны, веками сложившиеся особенности народного стихосложения. Это свидетельствует о том, что устойчивость эпического текста определяется не только наличием в памяти певца устно-поэтических формул-моделей, но и большой ролью, которую играют заучивание и «запоминание готовых текстов в процессе устной передачи песен от поколения к поколению»<sup>14</sup>.

Язык традиционных формул по своему лексическому и синтаксическому строению не только выразителен, но и разнообразен. Специфика языка формул определяется жанром, его формой и местом в устно-поэтическом творчестве. В языке традиционных формул находит также отражение время возникновения и создания эпического произведения, степень его обновления и модернизации певцами разных поколений.

<sup>11</sup> А. В. Десницкая, указ. соч., стр. 32.

<sup>12</sup> А. Н. Веселовский, Историческая поэтика, Л., 1940, стр. 118; В. М. Жирмунский, Огузский героический эпос и «Книга Коркута», в кн.: «Книга моего деда Коркута», М.—Л., 1962, стр. 242.

<sup>13</sup> М. Я. Чиковани, Народный грузинский эпос о прикованной Амирани, М., 1966, стр. 133.

<sup>14</sup> А. В. Десницкая, указ. соч., стр. 66.

Языковые особенности традиционных формул, в частности формул эпической поэзии и некоторых других жанров (народных и исторических песен), объясняются не только тем, что они по своей форме являются продуктом устного творчества. Своеобразие традиционных формул во многом связано с их назначением, формой исполнения. Заметим, что многие циклы нартского эпоса, в том числе древние, архаические произведения устной эпической поэзии, по своей форме являются стихотворно-песенными и предназначены для музыкального исполнения. Лексические, морфологические, синтаксические, просодические особенности языка эпоса, в том числе традиционных формул эпических произведений и других жанров, в значительной степени обусловлены именно формой музыкально-песенного исполнения.

Язык традиционных формул эпической поэзии имеет свои дифференциальные признаки. Так, язык формул нартского эпоса характеризуется своими особенностями, отличающими его от языка формул народной сказки. При этом отличительные особенности языка формул нартских сказаний заключаются не только в наличии особого слоя лексики, связанного с народным героическим эпосом. Особенности языка формул эпических сказаний о нартах очень ярко проявляются в их синтаксическом и морфологическом строении. Кроме того, внутри нартского эпоса различия в языке формул отмечаются в зависимости от формы повествования. Формы прозаического текста обладают своими закономерностями, а формулы поэтического (стихотворного) текста — своими.

Заметим также, что разные произведения одного жанра, например, эпической поэзии, иногда обнаруживают довольно существенные расхождения с точки зрения языкового строения формул, их удельного веса и степени повторяемости. Как показывает анализ материала, одни произведения эпической поэзии чрезвычайно богаты традиционными формулами, а другие включают лишь небольшое число так называемых ключевых слов.

Характерны также варианты традиционных формул в эпической поэзии. Некоторые произведения эпической поэзии обладают очень широким варьированием традиционных формул. Нередко эпические формулы, выступающие в функции зачина произведения, варьируются по своему лексико-грамматическому строению. При этом, однако, сохраняются ключевые слова (или их синонимы) и общий ритмический рисунок стиха. В этом отношении немалый интерес представляют эпические сказания о главном герое эпоса о нартах. Эпические формулы, выступающие в качестве зачина и повторяющиеся в середине сказания о главном герое, имеют разные варианты в разных языках. Среди этих (довольно многочисленных) вариантов обнаруживаются наиболее архаичные, древние (встречающиеся почти во всех диалектах) и более поздние образования. Встречаются узколокальные варианты и позднейшие новообразования. Однако поздние варианты традиционных эпических формул также разнообразны. Нередко в разных вариантах одного и того же эпического произведения по-разному представлены традиционные формулы, хотя последние характеризуются устойчивостью. Это объясняется поздними модификациями как сюжета, так и традиционных формул эпического произведения.

С точки зрения языкового строения традиционные формулы эпической поэзии характеризуются лексическим, морфологическим и синтаксическим параллелизмом. Важнейшей составной частью эпических формул являются лексические повторы, образующие ритмико-интонационное единство. Лексические повторы, как и морфологические, вписываются в конструкцию единого синтаксического целого, далеко выходящего по своей струк-

туре за пределы одного предложения. Лексические повторы сочетаются с морфологическими и синтаксическими повторами, составляющими целую поэтическую строфу.

По своей выразительности, стилистической форме, лексико-грамматическому и просодическому строению чрезвычайно показательны традиционные формулы эпических сказаний о центральных героях нартского эпоса. Характерно соотношение типовых формул с архитектоникой эпического сказания. Нередко эпические формулы делятся на инициальные, медиальные и финальные, в зависимости от основных событий повествования. Ярко выраженный формульный характер носит повествование, связанное с отправлением героя на битву (характеристикой его доблести, силы и т. д.), встречей с врагом (описание врага, его снаряжения, боевого коня и т. д.), возвращением с победой.

В языковом отношении показательны типовые формулы, индивидуально связанные с каждым героем нартского эпоса. В построении этих эпических формул сказываются очень высокая техника певцов-сказителей, особый лексический набор, включающий немало архаических единиц, создающих особый стиль эпической жизни. Причем формулы, традиционно закрепленные за каждым героем, повторяются (иногда дословно, иногда в различных вариантах) в ходе повествования. Поэтому эти формулы значительно облегчают певцам-сказителям изложение сюжета эпической поэзии.

Формулы по своей синтаксико-стилистической и композиционной структуре нередко составляют объединение нескольких стиховых строк на основе лексико-синтаксического параллелизма. По своему содержанию эти формулы не всегда связаны с событиями эпического сказания, а являются выразительной формульной характеристикой самого героя. Однако высокий эмоциональный стиль, особая лексическая, грамматическая и просодическая организация этих формул, их частотность и вариативность в тексте делают их важнейшим компонентом языка эпической поэзии.

Сказание о Сосруко входит в основное ядро нартского эпоса. Зачин этого широко распространенного сказания имеет несколько вариантов устно-поэтической речи. Варианты формулы-характеристики, различаясь между собой некоторыми лексическими и грамматическими особенностями, сохраняют стилистическую и ритмико-синтаксическую специфику языка эпической поэзии, хотя с точки зрения относительной хронологии они относятся к разным историческим периодам.

Как отмечалось, формулы часто выполняют функцию зачина эпического произведения. Однако формулы нередко повторяются и в середине эпического произведения. При этом (сохраняя «слова-темы», ключевые лексические и грамматические формы) формулы видоизменяются. Так, кабардинское сказание «Сосруко добывает огонь» открывается следующей формулой: «Армы, Сосыркъуапцэ, / Армэ, лЫ фЫщцэ гъущЫнэ, / Мыдэ емынэ щу...»<sup>15</sup> «Ой, Сосруко смуглый, / Ой, муж черный, железноглазый, / Наш грозный всадник...». Эта же форма без изменения повторяется в середине повествования. Ее видоизмененный вариант также приводится в тексте эпического произведения.

В адыгейском эпосе известная формула, характеризующая героиню эпоса, в начале произведения звучит так: «Сэтэнай гуащэу, / Гуащэм ямышьбогъу, / Ямышьбогъухэр уитхыд, / Тхыдэ гуаом уриклодын»<sup>16</sup> «Сатаней — гуаша, / Несравнимая с другими гуашами, / Бесподобен сказ о

<sup>15</sup> «Нарты. Адыгский героический эпос», М., 1974, стр. 52.

<sup>16</sup> Там же, стр. 66.

тебе, / Печальный сказ погубит тебя». Эта формула, построенная на лексическом повторе (последнее слово предшествующего стиха повторяется в начале следующего стиха), приводится в середине произведения с заменой собственного имени нарицательным и некоторыми видоизменениями глагольной формы.

Ключевыми словами формул, а нередко песенным рефреном всего произведения становятся имена героев эпоса в сочетании с эпитетами, подчеркивающими свойства, качество, занятие героя. «Песня о матери нартов» абхазского эпоса, относящаяся по принципам строения к древним циклам, синтаксически основывается на сквозном повторе имени героини в сочетании с эпитетом *гуашьа*, что по мнению Ш. Х. Салакая означает «опора», «основа»<sup>17</sup>. Сквозной синтаксический повтор не только создает определенный ритмико-мелодический рисунок каждого стиха, но и повышает степень формульного характера всей песни, предназначенной для хороводного исполнения.

Сказание о Бадинокко представлено во многих вариантах. Некоторые из этих вариантов отличаются очень четким коммуникативным строением, исключительной традиционностью, насыщенностью постоянных формул, их вариативностью, соответствующей заданной теме и общему ритмико-синтаксическому единству эпического повествования. Зачин одного из вариантов сказания о Бадинокко включает как лексические и грамматические повторы (*нартхэ — нартхэ* «нарты — нарты», *ди — ди* «наш — наш», *зи — зи* «чей — чей», *зынамыцI — зынамыцI* «ни с кем не сравнимый — ни с кем уже не сравнимый»), так и слова, ставшие архаичными, но остающиеся наддиалектными (*чынт* «кинт» — название народа, встречающееся только в эпосе; *баццэ* «множество; слишком; много», *пкьыгъуэ* «стелю», *хьэгъу — хуэгъу* «зависть», *бэцI* «много делающий», *мыцIэгъу* «превосходящий» и др.). Рассматриваемый зачин относится к числу наиболее древних. Об этом свидетельствует тот факт, что лексический состав (без существенных изменений), ритмико-синтаксический рисунок, грамматические повторы разбираемого зачина представлены во многих вариантах.

Показательно, что анализируемый зачин имеет редкий вариант без начальных двух стихов (с повторением имени героя), обычно представляемых в большинстве вариантов. Ср. адыгейский вариант: «Нартымэ яльэ-кьогъу, / Хьагъу — фыгъу бэцI...»<sup>18</sup> «Родом из нартов /, У кого много завистников...». Подобные усеченные формы следует отнести к новообразованиям. В середине же повествования повторение формулы или первых двух стихов, выступающих в качестве краткого зачина, сопровождается обновлением текста новыми формульными стихами. При этом все новые добавления служат дополнительной характеристикой героя, его доблести, его коня, боевого снаряжения и т. д. Поэтому лексический состав, ритмико-синтаксический рисунок полностью вписываются в заданный поэтический стиль с его формульным характером языкового материала.

В отличие от старых эпических зачинов, представляющих собой постоянные формулы, повторяющиеся в разных частях произведения и в разных вариантах, имеются и неповторяющиеся зачины. Язык неповторяющихся зачинов носит также формульный характер. Как часть эпического произведения неповторяющиеся зачины, непосредственно подводящие слушателей к восприятию основного сюжета повествования, построены по модели традиционных формул. По своему содержанию они также имеют вокативную функцию и являются образной характеристикой героя. При построении подобного зачина используется весь арсенал тра-

<sup>17</sup> Ш. Х. С а л а к а я, О героическом эпосе абхазцев, «Труды Абхазского института языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа», ХХХІІІ—ХХХІV, Сухуми, 1963.

<sup>18</sup> «Нартхар», III, Мыекьуапа, 1970, стр. 177.

диционных эпических формул: языковые повторы (звуковые, лексические, грамматические), слова и словосочетания эпической поэзии, ритмические средства, характерные для стихосложения устного народного творчества. Разбираемые зачины, как и традиционные повторяющиеся формулы, составлены в высоком, торжественном стиле эпической поэзии. Так, зачин в эпической песне о Батразе (Патаразе) включает архаичные слова (некоторые из них, например: *исп*, *испы* «испы» — название племени в эпосе; *къыщыкэзын* «родиться», встречаются только в эпосе), лексические и грамматические повторы, много традиционных элементов, сравнений [*гуузицэу эклуэцгылэт* «состоит из боли (страданий) ста сердец»; *адэм и лгьыр зымыгъэгъу* «тот, кто мстит за кровь отца»; *Гэнейм и быдэхэр зи гуцэ натлэ* «из крепкого самшита изголовье его колыбели»] и др. Язык ритмико-синтаксической организации носит формульный характер, хотя в других частях данного варианта произведения текст зачина полностью или частично не повторяется. В то же время нельзя сказать, что хронологически разбираемое сказание относится к очень поздним формам эпических произведений, хотя оно возникло позже основного цикла эпических сказаний об основном герое эпоса.

В ряде эпических сказаний из текста зачина повторяется во многих местах повествования лишь один или два стиха. Так, в известном сказании о Даханого зачин состоит из довольно большого числа устойчивых стилистических оборотов, имеющих сходное синтаксическое и интонационное выражение. Ср., например: «Мыр — жалэ: / Дахэу щылэм я нэхъ дахэт, / Тхьэлухудхэм ар ящхэжт, / Жэци махуи нахуу маблэ, / Лыфлу щылэм йолыфлэкI, / Лыгъэ щлэнкIи пэхъу щымылэ, / Дахэнагъуэу, нагъуэ дахэ...»<sup>19</sup> «Так говорят: / Она была краше всех красавиц, / Она была главной среди фей, / Она днем и ночью излучает свет, / Она храбрее всех храбрецов, / Равных с нею нет по части мужества, / Даханого, кареглазая красавица...».

Из этого зачина в тексте неоднократно повторяется первый стих: *Дахэу щылэм а нэхъ дахэт* «Она была краше всех красавиц». Вокруг этого стиха в тексте создаются новые поэтические формулы, которые также повторяются в разных местах повествования с незначительными лексическими модификациями. Сказание о Даханого, хотя и относится к более поздним эпическим произведениям, изобилует традиционными формулами и поэтическими обращениями. Последние не всегда повторяются в тексте, но по своей форме совпадают с древними вокативными зачинами в сказаниях о Сосруко, Бадиноко и других героях нартского эпоса.

Как справедливо отмечалось в литературе, наиболее древним циклом нартского эпоса является цикл о Сосруко, отражающий особенности матриархата (герой входит в нартское общество по матрилокальному признаку, похищает огонь и обладает другими архаичными признаками так называемого культурного героя). Выше отмечалось, что сказания, связанные с древним циклом о Сосруко, характеризуются наличием большого числа традиционных формул. Богаты формулами и сказания о Бадиноко (Шабатнуко). Хотя хронологически сказания о Бадиноко возникли позже основного цикла о Сосруко, они также относятся к наиболее древним. Однако формульность языка присуща и более поздним произведениям эпической поэзии. Так, произведения о Тотреше, за небольшими исключениями, относятся к периоду самостоятельного существования адыгских языков. Более ранние (поэтические) формы цикла о Тотреше наиболее полно представлены в кабардинском эпосе. Хотя некоторые формы из этого цикла являются новообразованием (возникли на кабардинской

<sup>19</sup> «Нартхэр», IV, Мыекъяуапэ, 1970, стр. 227.

почве), они носят формульный характер, подчиняются традиционным канонам эпической поэзии. Показательно, что сказание о Тотреше характеризуется не только формульностью языка, но и архаичностью лексики. Инициальная формула кабардинской песни об этом герое выдерживает очень высокий стиль традиционного эпического зачина, являющегося носителем приподнятой торжественной экспрессии. Весь текст указанной песни отличается тем, что в нем использованы все основные принципы построения эпических формул (лексические и грамматические повторы, архаизмы, эпитеты, сравнения и т. д.). Такие выражения из этой песни, как *Дзэгъэшынэ шу закъуэ* «Пугающий целое войско одинокий всадник» и др., стали крылатыми в языке фольклора.

В то же время певцы-сказители, создавшие эту песню, использовали отдельные готовые формулы и выражения, встречающиеся в более ранних произведениях эпической поэзии. Ср., например, языковые средства (эпитеты, сравнения) для характеристики боевого снаряжения: *Зи бжык-Гыр мыкът* «Чье копье из дерева мукута»; *Зи Бжыпэр дыкъякъуэ* «Чья пика — двуглавая». Последние встречаются в более ранних эпических произведениях (в сказаниях о Сосруко, о Бадиноко). Иначе говоря, эпическая преемственность в построении и функционировании формул заключается не только в применении лексического, морфологического и синтаксического параллелизма, отдельных лексических единиц, а в использовании готовых формульных единиц (словосочетаний и предложений), употребляющихся в более ранних эпических произведениях.

Одной из наиболее отличительных черт формул-характеристик в эпических сказаниях о нартах является соотношение их плана выражения и плана содержания. Сравнительный анализ материала показывает неравномерность исторического развития плана выражения и плана содержания эпических формул. Дело в том, что с формальной точки зрения, т. е. в плане языкового выражения, эпические формулы-характеристики обнаруживают удивительную устойчивость и преемственность традиций. Самые древние, архаические эпические формулы-характеристики и более поздние (а иногда и позднейшие) их варианты нередко построены по единой модели и обладают лексико-грамматическими особенностями и просодическим единством. Ср., например, вышеприведенные (древние и более поздние) варианты эпических формул в сказаниях о Сосруко. Что касается содержательной стороны эпических формул, то приходится констатировать их динамику в зависимости от исторических условий, в которых возник тот или иной вариант эпического сказания.

В этом отношении показательны эпические формулы, связанные с характеристикой основной героини нартского эпоса. Как известно, образ хозяйки нартов — Сатаней — отчетливо отражает пережитки матриархата. Следует согласиться с Е. М. Мелетинским, что героиня нартского эпоса Сатаней исторически непосредственно связана с конкретным матриархальным обществом<sup>20</sup>.

Эпические формулы по-разному характеризуют героиню эпоса, ее место среди нартов, ее взаимоотношения с ними. Некоторые формулы, связанные с образом Сатаней, обнаруживают рефлекс матриархальных отношений, различных древних религиозных понятий, возвеличивают социальную значимость героини. Эти формулы относятся к более ранним хронологическим периодам возникновения и развития эпической поэзии. Напротив, в других формулах находят отражение изменившиеся социальные отношения, новые системы ценностей в нартском обществе. Эти формулы выражают явно сниженную роль Сатаней среди нартов не только

<sup>20</sup> Е. М. Мелетинский, указ. соч., стр. 159.

в социальном, но и в интеллектуальном отношении. Отсюда с точки зрения плана содержания эпические формулы в разных контекстах (а иногда в одном и том же варианте эпического произведения) образуют оппозиции. При этом характерно, что оппозитивные формулы с точки зрения языка относятся к высокому стилю. Они образованы с помощью лексического повтора и эпических вокативных форм, хотя по содержанию различны, что, по-видимому, отражает разные хронологические эпохи в эпосе. Более того, отголоски разных исторических эпох обнаруживаются в разных вариантах одного и того же сказания. В эпической песне о Бадиноко традиционные формулы, с одной стороны, выражают былую славу и положительную функцию Сатаней, а с другой — явно подчеркивают ее отрицательные черты. Подобные смысловые оппозиции традиционных эпических формул, связанных с одним и тем же персонажем героического эпоса, объясняются поздними наслоениями отношений разных исторических периодов в произведениях устно-поэтического творчества.

Показательны лексические средства, используемые в формулах поздней исторической формации. Для характеристики некогда общей матери нартов, основной героини, обладавшей неограниченной властью и к тому же необыкновенной красотой, в позднейших эпических формулах используются лексические средства, характеризующие отрицательные качества Сатаней. Заметим, что в этих формулах лексические средства, характеризующие Сатаней в смысловом и эмоциональном отношении, отличаются высокой выразительностью. Если в формулах более древних архаичных циклов эпических произведений постоянные эпитеты использовались для выразительной и эмоциональной характеристики основной героини эпоса (что вполне гармонировало с высоким поэтическим стилем эпической поэзии), то и в позднейших формулах эпитеты являются носителями не менее выразительных в стилистическом отношении характеристик. Но здесь эти лексические средства несут уже иную смысловую и функциональную нагрузку, подчеркивая и выделяя отрицательные качества Сатаней. Ср. эпитеты в стихах: «О тянэжъэу мэхъэджэфэжь»<sup>21</sup> «О наша старая мать, изверг», «Е — о мыгъо ныо хьэшхъуашъу» (стр. 128), «О злосчастливая (т. е. приносящая несчастье) мать, бешеная, «Тянэу, Сэтэнэе — гуащ, / Зышъохэр шьотехъэ — текIэу, / Нартхэр пцIыкIэ зезыщ» (стр. 157) «Наша мать Сатаней — гуаша, / Чей нрав изменчив, / Обманом властвующая над нартами».

Некоторые формулы не только ниводируют Сатаней с прежнего пьедестала, но характеризуют ее как колдунью и обманщицу. Отсюда формулы, включающие набор соответствующих лексических средств для характеристики Сатаней. Ср. эпитеты в стихах: «Ей, хьабз уды джад» (стр. 72) «Эй, колдунья большая», «Тянэу удышъо шхъуантI» (стр. 78) «Наша мать зеленая колдунья».

Как видно из приведенного материала, эпические формулы, оставаясь по своей форме языкового выражения категорией высокого поэтического стиля, с точки зрения содержания оказываются довольно гибкими и динамичными. Они отражают процессы переоценки ценностей, свойственные разным историческим эпохам.

Вышеизложенное показывает, что в эпической поэзии традиционные формулы занимают значительное место. Варианты формул весьма разнообразны и многочисленны, хотя в них прочно удерживаются принципы построения эпической формулы. Многие варианты эпических формул являются продуктом индивидуального развития конкретного языка. Варьирование эпических формул в пределах одного и того же языка вызвано

<sup>21</sup> «Нартхэр», II, Мыекъуашэ, 1969, стр. 122 (далее стр. указываются в тексте).

как устным коллективным характером эпических произведений, так и широчайшей популярностью многих из этих произведений среди носителей данного языка. Вместе с тем анализ материала подтверждает древность и устойчивость эпических формул. По своему синтаксическому строению многие из них (например, вокативные формулы) могут быть приписаны состоянию западнокавказского языкового единства.

Историко-героический эпос по своей форме, содержанию, времени возникновения отличается от нартского эпоса. В то время как нартский эпос (наиболее архаичные его циклы) отражает мифологические, религиозные (языческие) отношения ранних общественных формаций, произведения историко-героического эпоса, возникнув в более поздние исторические эпохи, выражают иные общественные и социальные отношения. Историко-героический эпос нередко очерчен конкретными историческими и географическими границами и часто связан с реальными событиями, имевшими место в истории народов. Все это находит отражение и в языке произведений историко-героического эпоса.

Заметим, однако, что при наличии целого комплекса дифференциальных признаков произведений историко-героического эпоса, отличающихся (иногда очень четко и ясно, а в ряде случаев не очень отчетливо) от других жанров устного народного творчества «посленартского» периода, произведения рассматриваемого жанра формировались под сильным влиянием устного поэтического творчества предшествующего периода. В частности, значительное воздействие на развитие и формирование произведений историко-героического эпоса оказал нартский эпос.

Влияние нартского эпоса на историко-героический эпос обнаруживается во многом. В первую очередь обращает на себя внимание очень сильная языковая преемственность между произведениями нартского эпоса и историко-героического эпоса. Язык произведений историко-героического эпоса органически включает многие элементы нартского эпоса. Можно сказать, что язык историко-героического эпоса, возникшего под непосредственным влиянием произведений фольклора предшествующего периода, следует лучшим образцам языка героического эпоса, в особенности языка эпической поэзии. Язык произведений историко-героического эпоса, как и язык произведений нартского эпоса, характеризуется высоким поэтическим слогом, множеством архаизмов, стилистических оборотов, лексических и грамматических повторов.

Зачины историко-героических песен, носящие формульный характер, часто строятся по модели формул-характеристик в эпической поэзии нартского эпоса. Зачины имеют вокативное значение, в них используются традиционные эпические формы обращения, постоянные эпитеты и другие элементы эпической поэзии.

Особенно заметен удельный вес архаизмов языка произведений историко-героического эпоса. Даже по сравнению с произведениями нартского эпоса, относящегося к наиболее архаичным циклам (например, сказания о Сосруко), язык произведений историко-героического эпоса нередко обнаруживает больше элементов архаизма и традиционности. В этой связи не лишено интереса то обстоятельство, что труднообъяснимые, диатимологизированные элементы очень часто встречаются именно в языке произведений историко-героического эпоса. Не случайно, что собиратели произведений рассматриваемого жанра, ссылаясь на трудности в толковании отдельных мест (слов и словосочетаний), во многих случаях оставляют эти места без интерпретации их значения. Архаизмы языка, особенно лексики, затрудняют перевод историко-героических песен. Заметим, что переводы одного и того же текста у разных авторов нередко обнаруживают существенные расхождения, а толкова-

ние разными исследователями одних и тех же слов и словосочетаний языка произведений историко-героического эпоса в ряде случаев оказывается неопределенным.

Язык произведений историко-героического эпоса, выполненных в стихотворно-песенной форме, сближается с языком эпической поэзии еще и тем, что включает большое число традиционных формул, строго соответствующих ритмико-синтаксическому единству текста. Традиционные зачины историко-героических песен носят также формульный характер, хотя их повторяемость в тексте значительно ниже, чем в тексте произведений нартского эпоса, в частности его древних циклах сказаний о центральных героях.

Итак, характерными чертами устно-поэтической традиции являются не только ее древность и устойчивость, но и совокупность присущих ей стереотипных и типовых формул, относящихся к наиболее универсальным свойствам поэтического языка устной поэзии. Хотя поэтические формулы унаследованы от глубокой древности и их лексические, грамматические и ритмико-мелодические модели отличаются стабильностью и обобщенностью, все же нельзя сказать, что эпические произведения состоят только из одних формульных выражений. Наддиалектность эпических формул не означает, что язык эпической поэзии лишен варьирования. Напротив, как сами типовые формулы, так и неформульный текст эпического произведения обладают нередко высокой степенью вариативности. Однако вариативность формул, их повторяемость зависят не только от традиционности и архаичности текста эпического произведения. Сравнительный анализ материала выявляет одно существенное своеобразие: чем значительнее и популярнее эпическое произведение (сказание), тем шире представлены в нем варьирование формулы с точки зрения ее языковых особенностей. При этом варьирование эпической формулы определяется не только диалектным или территориальным дроблением языка, хотя этот фактор также обуславливает дифференциацию не только традиционных эпических формул, но и самого эпического произведения в целом. Однако при варьировании все же остаются ключевые слова, общий синтаксический параллелизм, поэтические формулы и другие обобщенные лексико-грамматические и ритмико-мелодические особенности, характерные только для устно-поэтической традиции. Традиционными формулами изобилуют и более поздние тексты устной поэзии, в частности историко-героические песни. При этом заслуживает внимания тот факт, что язык произведений более поздних жанров, во многих отношениях продолжающих эпические традиции более раннего периода, обнаруживает удивительную архаичность, большое число так называемых «темных мест», широкий диапазон варьирования формул-характеристик, носящих обобщенный характер. В то же время с точки зрения лексико-грамматической организации языка, традиционности и торжественности стиля произведения более поздних эпох не всегда уступают классическим образцам древнего эпического стиля. С этим связано то обстоятельство, что сплошь и рядом меняется внутреннее содержание эпических формул, но устойчиво сохраняется их древняя форма — эпические принципы построения наддиалектной орнаментальности и обобщенности языковых единиц — предложений, словосочетаний и слов. Это объясняется как преемственностью древних традиций эпической поэзии, так и ролью и техникой народного певца, далеко не всегда ограниченного узкими региональными сферами в своей исполнительской деятельности, что способствовало расширению функций языка эпической поэзии в обществе, усилению ее наддиалектности и устойчивости.

Естественно, что произведения эпической поэзии существуют и на диалектах (а в дописьменный период они существовали только на диалектах). Однако это не означает, что понятия «язык эпической поэзии» и «диалект» равнозначны. В то время как особенности образования диалекта обусловлены территориальной общностью более или менее ограниченного числа людей, находящихся в непосредственном языковом контакте, особенности языка эпической поэзии далеко не всегда связаны с региональным единством носителей того или иного диалекта. Основным инвариантом языка эпической поэзии является именно то, что объединяет язык представителей разных территориальных диалектов. Причем инвариантные признаки, хотя и в неодинаковой мере, охватывают единицы, относящиеся к разным языковым уровням.

МИХАЙЛОВСКАЯ Н. Г.

## О ПРОБЛЕМАХ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНОГО ДВУЯЗЫЧИЯ

Билингвизм современного художественного творчества относится к одному из проявлений двуязычия, имеющему некоторые свои характеристики. Так, рассматриваемый билингвизм категорически допускает только «узкое понимание» подразумевающее свободное владение двумя языками — родным и неродным<sup>1</sup>. Если же подходить к данному типу с теми признаками, которыми обычно определяются разные виды двуязычия и многоязычия, то отмечаются следующие черты: 1) индивидуальность — имеется в виду конкретное лицо или конкретные лица, пользующиеся двуязычием как методом в своей писательской деятельности; 2) принадлежность данного типа к информативной сфере языка в отличие от коммуникативной; 3) необязательность непосредственных контактов коммуникативного порядка; 4) главная и основная ориентация на нормы языка, на котором написаны художественные произведения. Некоторыми исследователями билингвизм художественного творчества рассматривается в аспекте эмоциональных и поэтических функций языка среди общих вопросов социологического плана<sup>2</sup>.

Обращение ряда национальных писателей к русскому языку в качестве формы выражения своей творческой индивидуальности в значительной мере определяется статусом русского языка как средства межнационального общения в различных областях общественной жизни<sup>3</sup>. Вместе с тем в силу индивидуальности билингвизма в сфере художественно-литературной деятельности его специфику составляет не столько количественный признак, сколько качественный, соотносимый с языковыми и стилистическими особенностями мастерства автора.

Проблема художественного творчества на неродном языке не решается однозначно. Существуют различные мнения о том, как должны квалифицироваться подобного рода произведения по отношению к национальной литературе. Сложный вопрос представляет собой мера и степень сохранения национальной специфики как отражения этнических, психологических, морально-нравственных типов, переданной средствами русского языка. А отсюда возникает вопрос о достоверности изображаемого, об адекватности формы выражения теме и предмету описания.

<sup>1</sup> Ф. П. Филин пишет: «Представляется, что узкое и широкое понимание двуязычия вполне совместимы. Двуязычие в узком смысле этого слова означает более или менее свободное владение двумя языками: родным и неродным; двуязычие в широком смысле — относительное владение вторым языком, умение в том или ином объеме пользоваться им в определенных сферах общения...» (Ф. П. Филин, Современное общественное развитие и проблема двуязычия, в кн.: «Проблемы двуязычия и многоязычия», М., 1972, стр. 24).

<sup>2</sup> См.: Е. М. В е р е щ а г и н, Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма), М., 1969, стр. 46.

<sup>3</sup> В предлагаемой статье для удобства изложения понятие «национального» применяется только по отношению к нерусским народностям и языкам на территории Советского Союза.

Одним из наиболее существенных моментов при анализе русско-национального двуязычия является факт добровольного обращения писателя, представителя конкретной нации, народности, населяющей Советский Союз, к русскому языку как к орудию своего творчества. Другой стороной этого вопроса является факт осознанности принятия русского языка в данном качестве. Причины творческого двуязычия обычно обусловлены индивидуальной биографией писателя, но в обобщенном виде выделяется несколько внешних факторов: воспитание в семье, где родным языком наряду с национальным был и русский по причине смешанного брака или недостаточного знания одним из родителей национального языка, формирование личности в интернациональной среде, учеба в русской школе <sup>4</sup>.

Другие причины, обусловившие обращение национального автора к русскому языку, коренятся в значении русской культуры и русской литературы, оказавших большое влияние на становление национального автора как писателя. Выступая на V конференции писателей стран Азии и Африки, Ю. Рытхэу сказал: «Великие русские книги, с которыми я знакомился, оказались хорошими воспитателями, оберегавшими меня от нигилистического отношения к собственной культуре, точно так же, как это делал русский язык по отношению к нашему чукотскому языку.

Я подразумеваю те великие русские книги, которые определяют славу и красоту удивительного явления в истории всей человеческой культуры — русской культуры. Ту часть, которая питала революционное движение, которая сформировала художественные, эстетические взгляды Владимира Ильича Ленина.

Велика, щедра и человечна культура, которая смогла осенить многие и многие народы, такие разные и по языкам, и по обличьям, и по обычаям! Но, видно, именно в русской культуре с наиболее ясной силой обнаружилось то, что роднит все человечество, объединяет его» <sup>5</sup>. Высказывание писателя представляется весьма важным в плане утверждения интернационализма русской культуры, при котором сохраняется, однако, вся ее самобытная специфика, в плане утверждения единства русское — национальное (нерусское), при котором понятие национального духовного достояния, родного для писателя, выступает в неразрывной связи с духовным миром иной нации.

Какой культуре принадлежат произведения, написанные национальными авторами на русском языке? Можно ли считать тот факт, что писатель обращается к русскому языку, достаточным, чтобы вынести подобные произведения за пределы собственно национальной литературы? Ч. Г. Гусейнов, перечисляя ряд авторов (Эффеңди Капиев, Ануар Алимжанов, Тимур Пулатов, Владимир Санги, Юрий Рытхэу и др.), пишет: «Конечно, если стать на точку зрения определения творческой принадлежности к той или иной литературе только по языку, то мы должны будем отнести вышеназванных (а сколько осталось за списком!) писателей к русской литературе или считать их русскими писателями, разрабатывающими «национальную» тематику. Но если принять к сведению, что вышеназванные писатели знают национальный язык, как бы изнутри проглядывают и отображают национально специфическое и своеобразное, что в з г л я д их на предмет исследования вбирает в себя всю сложную систему нравственно-психико-чувственных традиций, характеризующих

<sup>4</sup> См.: Ч. Г. Гусейнов, Проблема двуязычного художественного творчества в советской литературе, «Научная конференция „Новая историческая общность людей — советский народ и литература социалистического реализма“», М., 1972, стр. 7—8.

<sup>5</sup> См. материалы «V конференции писателей стран Азии и Африки, Алма-Ата, 4—9 сентября, 1973», Алма-Ата, 1974, стр. 164.

духовный склад нации и находящихся проявление в их творчестве, то мы должны будем признать, что Олжас Сулейменов — писатель в себе же казахский, Владимир Санги — нивхский и т.д.»<sup>6</sup> Трактовка рассматриваемого типа художественных произведений вполне справедлива прежде всего потому, что автор цитированной работы переносит акцент с тематического аспекта на аспект отображения, подчеркивая, что объект описания воспроизводится с позиций национальных психологических и эстетических критериев. При постановке данной проблемы известный интерес представляет суждение читателя, его восприятие характера подобных произведений. В письме С. Василенко, учительницы из Днепрпетровска, говорится: «Нередко нерусские писатели пишут по-русски, пишут, свободно владея этим языком, сплетая его богатство и неповторимую самобытность культуры своего народа... В то же время я не могу сказать, что это русская проза. Во всяком случае, я не воспринимаю ее как русскую прозу. И, наверное, это естественно: автор мыслит, чувствует иначе; другие жизненные краски, изобразительные средства, даже лексика порой иная»<sup>7</sup>. Важно отметить, что мнение специалиста-исследователя и мнение читателя сходны в оценке приемов изображения. Разумеется, эти приемы не ограничиваются чисто языковой тканью произведений, сюда входят тема и сюжет, структура и композиция, различное соотношение позиций автора — рассказчика — персонажа и мн. др. Но в основном все эти характеристики художественного текста раскрываются средствами русского языка как на отдельном ярусе (морфологическом, лексическом, синтаксическом), так и в совокупности единиц разных ярусов.

Русский язык у национального писателя способствует формированию новых художественных приемов, проявлению индивидуального стиля, что иногда ведет к преодолению и трансформации эстетических традиций, которые мешают оптимальному решению новых задач, стоящих перед автором. Этого вопроса, в частности, касается народный писатель Киргизии Ч. Айтматов: «Когда мы говорим о поисках новых средств выразительности, мы, конечно же, понимаем, что в литературе первое средство выражения мысли — язык. Я пишу и на русском, и на киргизском. Естественно, развитие современного русского языка меня очень увлекает. Что касается других языков (я, правда, могу судить лишь о тюркских языках — в частности о киргизском, казахском, татарском, узбекском), то здесь еще много такого, что свидетельствует о необходимости серьезно подумать нам об обновлении нашей смысловой и художественной палитры. Не потому, что эти языки отстали в своем развитии или находятся где-то на обочине истории. Вовсе нет. И киргизский, и узбекский, и казахский, и туркменский — древние тюркские языки, насчитывающие многовековую историю, имеющие высокоразвитые и устойчивые литературные (особенно поэтические) традиции. Но именно эта устойчивость художественных средств и приемов иногда мешает им в решении современных эстетических задач. На всех нас сильное, плодотворное влияние оказывает русский язык, который помогает развитию наших языков, обогащает их»<sup>8</sup>. Таким образом, здесь вопрос о русском языке ставится и в плане художественного выражения, и в плане влияния на язык национальный.

Специфика национального творчества на русском языке может находить свое отражение уже на уровне употребления отдельных слов и условий их использования. Одна и та же лексема, имеющая одинаковую

<sup>6</sup> Ч. Г. Гусейнов, указ. соч., стр. 10.

<sup>7</sup> См.: «Литературное обозрение», 1976, 8, стр. 109.

<sup>8</sup> Ч. Айтматов, Слагаемые новаторства, «Литературная газета», 6 IV 1977, стр. 4.

или близкую понятийную основу в разных языках, может наполняться неадекватным смыслом, приобретать различную экспрессивную окрашенность, что зависит не только от индивидуально-авторского словоупотребления, но и от национального мироощущения, от практического тысячелетнего опыта данной нации, от отношений с миром окружающей природы, силы которой выступали то союзником человека, то его врагом. Узбекский писатель Т. Пулатов, отвечая на уже цитированное письмо С. Василенко, говорит как раз об этой семантико-понятийной дифференциации слов в разных языках, о той дифференциации, которая нередко приводит к диаметрально противоположной экспрессии художественной образности: «„солнце“ по-русски — это совсем не то, что „куёш“ по-узбекски, и уж совсем не то, что „офтоб“ по-таджикски. В какие отношения — дружелюбные или тягостные — человек вступил с небесным светилом, так их и выразил язык и произнес. Ведь узбек, живущий большую часть года под его палящими лучами, никогда не скажет ласково-уменьшительное „солнышко“, так же, как и у русского нет ощущения того, что солнце может быть не только плодонесущим и землеобновляющим, но и враждебным. Зато к луне, этому ночному светилу, несущему прохладу и умиротворение, у узбека совсем иное отношение, — все! красивое и желанное он называет „луноликим“, „луноподобным“ да с такой интонацией, что для русского слуха это может показаться по меньшей мере вычурным»<sup>9</sup>. Следовательно, между конкретным содержанием слова в любом национальном языке, тем содержанием, которое определяется практическим представлением о явлении, и экспрессивно-эмоциональным осмыслением этого слова в национальном коллективе устанавливается тесная взаимосвязь. Данная взаимосвязь является основой традиционных поэтических формул, которые по-разному воспроизводятся в художественном творчестве.

Неадекватность смыслового наполнения и эмоциональной окрашенности ряда лексических единиц в национальных языках составляет одну из наиболее сложных проблем художественно-литературного билингвизма. Приведенное высказывание узбекского писателя — далеко не единственное. Сходные факты наблюдаются в тех случаях, когда национальный писатель, выступая в роли переводчика, средствами национального языка передает произведение, написанное русским автором. Ю. Рыхтэу рассказывает о трудностях, с которыми он столкнулся при переводе на чукотский язык романа М. Шолохова «Поднятая целина»: «...Да, трудно мне было приниматься за работу над переводом „Поднятой целины“. Ведь переводу-то не поддавалось даже название книги! Что такое для чукчи целина? Это ведь не тундра, не галечный берег моря. И почему — поднятая?»

Значение земли как почвы, дающей жизнь человеку, как величайшей ценности долгие годы было непонятно мне, и слова старой песни времен гражданской войны „за землю, за волю“, ясные во второй ее части, не доходили до меня в первой части. Человек воюет за свободу, отдает жизнь за волю, но как можно воевать за землю, отдавать за нее жизнь? Земли в тундре полным-полно, и никто не посягает на нее как на частную собственность, как никто не объявляет себя владельцем снега и льда, морских просторов и гор»<sup>10</sup>. Для писательской практики Ю. Рыхтэу знаменательно, что вопрос о семантико-понятийной дифференциации слова *земля* в русском и чукотском языках, находит свое отражение в художественном произведении. В романе «Конец вечной мерзлоты» сочетание

<sup>9</sup> Т и м у р П у л а т о в, Язык, автор, жизнь, «Литературное обозрение», 1976, 8, стр. 109.

<sup>10</sup> Ю р и й Р ы т х э у, Волшебный полет, «Литературное обозрение», 1975, 2, стр. 11.

*продавать землю* проецируется на видение одного из главных персонажей Тымнэро и получает свое освещение как бы изнутри национального сознания. Ср.: «Иногда ему (Тымнэро. — Н. М.) снилось, как тангитаны распродают чукотскую землю американцам. В Анадырском лимане на рейде стояли большие железные пароходы, парусно-моторные шхуны. А на берегу кипела работа — люди рвали лопатами тундровый дерн, береговой песок, гальку, глину, набивали мешки и грузили их на большие черные кунгасы. Рыбу никто не ловил — главной ценностью была земля».

Проблема отдельного слова в национальном произведении может рассматриваться под двумя, относительно самостоятельными, углами зрения: в одном случае «точной отсчета» является его понятийно-смысловое содержание, в другом — его художественно-выразительная функция. Синтез двух названных взаимообусловленных составляющих представляет собой оптимальную «паспортизацию» слова в структуре художественного произведения и в индивидуальном языке автора.

При исследовании национального начала в рассматриваемых художественных произведениях лингвистический аспект и литературоведческий могут иметь существенные различия. В статье Л. Арутюнова «Проблемы исследования художественных форм национального сознания», где ставятся сложные методологические и теоретические вопросы изучения национальной литературы, автор касается и вопроса специфики слова как формы художественного выражения. Сближая «способ изображения» с поэтикой, Л. Арутюнов затем ставит под сомнение целесообразность исследования «слова» как формы содержания: «Анализ „слова“, ведущий в „чистую“ поэтику, исключает момент целостного развития, необходимый, когда мы говорим о национальном своеобразии литературы. Мы рискуем, наконец, не обнаружить (или „ограничить“, „сузить“) национальное своеобразие в „слове“»<sup>11</sup>. Здесь многое остается неясным. Во-первых, непонятно, что имеет в виду автор при использовании термина «слово» (в кавычках) — лексическую единицу, отдельный контекст или же всю языковую форму текста? Во-вторых, разграничение «формы» и «содержания», даже условное, в данном случае представляется нецелесообразным, ибо слово (в кавычках или без) всегда значимо, так как через него — и прежде всего через него — передается все содержание и выражается идейная направленность произведения. В-третьих, анализ «слова» (принимаем здесь графическое оформление Л. Арутюнова) ведет не в «чистую» поэтику, а именно в поэтику конкретного автора (или конкретных авторов) и, следовательно, в поэтику той национальной литературы, которая представлена данным автором (или авторами). Разумеется, не все методы лингвистического анализа могут оказаться одинаково результативными. По всей вероятности, наиболее применим метод филологический, при котором учитывается содержательно-смысловое наполнение слова, его многообразные семантические «сцепления» в целостной организации текста, его традиционные экспрессивные качества и индивидуально-авторские эмоциональные оттенки.

Не менее значительную роль играют те компоненты образной системы, которые передаются средствами русского языка, но органически связаны с психологией, культурой, бытом, традициями, наконец, всем мировосприятием данной нации. Одни из таких компонентов как структурные единицы художественного текста выявляются сравнительно легко, и здесь возможны методы традиционного анализа образной системы, включающей различного рода тропы. Сюда же могут быть отнесены поговорки, посло-

<sup>11</sup> Л. А р у т ю н о в, Проблемы исследования художественных форм национального сознания, в кн.: «Национальное и интернациональное в советской литературе», М., 1971, стр. 149—150.

вицы, афоризмы как часть устно-народного творчества<sup>12</sup>. Сопоставление тропов у писателей разных национальностей ведет к сравнительно-типологическому исследованию. Ср. мнение А. Петросяна: «В условиях советского интернационализма каждый народ проявляет свою индивидуальность, сохраняет свою „манеру видеть вещи“. Об ауле, откуда ушли все взрослые мужчины на фронт, Чингиз Айтматов пишет: „опустели наши дворы, точно брошенные стойбища...“. Армянский писатель о том же говорит: „село напоминало оставленную мельницу“. Чтобы добиться осязаемости красного цвета, Айтматов пользуется метафорой: „как кровь на белом барашке“. Армянский писатель в таком случае вспоминает горный тюльпан»<sup>13</sup>.

Другие характеристики национальной специфики требуют более «глубинного» анализа. К ним относится параллелизм и трансформация фольклорных образов или образов, рожденных эпосом и древней литературой данного народа, которые современный автор использует в своем произведении, давая им новое осмысление, ставя их на службу решения новых эстетических задач. Критика отмечает, что такой синтез прослеживается, в частности, в творчестве Ч. Айтматова<sup>14</sup>. Обращение к национальному фольклору, национальным легендам и мифам также характерно для литературы Севера и Дальнего Востока<sup>15</sup>. Таким образом, в литературах географически далеких народов (киргизский — чукотский, мансийский, нивхский) можно проследить, так сказать, в первом приближении близкую ориентацию на те истоки, из которых выросло современное художественное творчество.

В то же время фольклорная основа составляет один из наиболее дифференциальных признаков явления, обозначаемого как «национальный стиль». Лингвистическое понимание национального стиля еще нуждается в своем определении, которому, очевидно, должна предшествовать лингвистическая интерпретация языковых процессов, имеющих место в произведениях национальных литератур. Для нас важно подчеркнуть тот факт, что поскольку произведения национальных писателей, написанные на русском языке, относимы к национальной литературе, постольку и факты языка подобных произведений не должны ограничиваться от проблемы национального стиля. В литературоведческом же понимании национальный стиль сближается со стилевым течением: «„Национальный стиль“ и есть не что иное, как стилевое течение; в эстетическом содержании первого нет ничего такого, что не содержалось бы во втором.... Эпитет „национальный“, очевидно, показывает, что „стилевое течение“ принадлежит определенной национальной литературе, входит в структуру ее сти-

<sup>12</sup> Г. П. Ижакевич отмечает следующие единицы лексического, лексико-фразеологического и стилистического плана, используемые национальными писателями в произведениях на русском языке: а) безэквивалентная лексика, знакомящая читателя с бытом народа и его языком, б) топонимы и антропонимы, как правило, с установкой на раскрытие их этимологии в тексте, в) междометные формы, г) устойчивые словесные формулы, принятые в тех или иных ситуациях, д) метафоры и сравнения, основанные на национальном восприятии окружающего мира, е) словосочетания, отражающие традиционный быт, применяемые при обозначении социальных понятий, летосчисления и т. д., ж) пословицы и поговорки. См.: Г. П. И ж а к е в и ч, *Стилистические особенности художественных произведений на русском языке писателей национальных республик*, в кн.: «Русский язык — язык межнационального общения и единения народов СССР», Киев, 1976, стр. 75—84.

<sup>13</sup> А. П е т р о с я н, *Интернационализм и национальная самобытность*, в кн.: «Национальное и интернациональное в советской литературе», стр. 49.

<sup>14</sup> См. об этом: В. П и с к у н о в, *Национальное художественное самосознание и современность*, в кн.: «Национальное и интернациональное в советской литературе», стр. 103 и др.

<sup>15</sup> См., например: Н. В о р о б ъ е в а, С. Х и т а р о в а, *На новых рубежах*, М., 1974; И г о р ь С м о л ь н и к о в, *Современные легенды*, М., 1975.

лей»<sup>16</sup>. Аналогичную точку зрения разделяет Р. Бикмухаметов: «Нужно иметь представление — это самое первичное требование — об эстетической географии младописьменных литератур, их прозы. Литературы эти по уровню развития, по эстетическим координатам весьма резко отличаются друг от друга. Уравниловка в их рассмотрении имеет результатом, во-первых, стирание специфики художественно-эстетического процесса каждой из литератур, во-вторых, заглушевание особенностей многосложного характера единой советской литературы»<sup>17</sup>.

Данный подход представляется целесообразным при исследовании проблем языка, ибо национальная основа эстетических требований подразумевает наряду с закономерностями своего художественного воплощения также и различную степень актуализации отдельных проявлений, обусловленную индивидуальным стилем автора.

Остановимся на некоторых языковых и стилевых характеристиках литературы народов Севера и Дальнего Востока. Мы не будем здесь специально рассматривать вопрос о национальной лексике, вводимой авторами в художественное произведение различными приемами и сопровождаемой, как правило, параллелями или толкованиями на русском языке. Отметим лишь, что эта лексика весьма обширна и составляет самые разнообразные тематические группы: названия одежды, утвари, промысловых принадлежностей, наименования животных, растений, обозначения социальных и родовых понятий и т. д. В ряде случаев наблюдается использование одинаковых лексем в языке разных авторов, однако в приемах их употребления сказываются нередко различные стилевые установки. Например, в языке Ю. Рытхэу и В. Санги отмечено слово *чаут*. Но у Рытхэу оно используется при описании деталей чукотского быта, а у Санги — в составе образной конструкции, ср.: «В чоттагине на стене висели нехитрые орудия оленевода — связи чаутов с костяными кольцами» (Ю. Рытхэу, В долине Маленьких Зайчиков); в сноске поясняется: «*Чаут* — аркан, лассо, применяется для ловли оленей»; «... Двадцать лет назад бабка Катерина Арефьева, встретив у порога своей избы плотного молодого человека, чьи сильные руки словно просили чаут — ременный аркан, вскрикнула — перед ней стоял возмужавший Гоша Поротов» (В. Санги, Дарящий песни). Если у Ю. Рытхэу *чаут* имеет функцию прямой номинации, то у В. Санги *чаут* используется в образной функции; если Ю. Рытхэу выносит толкование рассматриваемого слова за пределы непосредственного повествования, то В. Санги включает русскую параллель в состав самого текста.

Подобным же образом могут быть сопоставлены контексты из произведений Ю. Рытхэу и Ю. Шесталова, содержащие слово *камлание* (*камлать*). Для Ю. Рытхэу *камлание* — *камлать* выступают как обозначения культового понятия, ритуала, связанного с тяжелым прошлым чукотского народа, с властью невежественных и корыстолюбивых «жрецов». Это, в некоторой степени, обусловлено социальной обостренностью произведений Рытхэу, общественными конфликтами в сюжетных ситуациях, непримиримостью противопоставления «старое» — «новое». В отдельном контексте рассматриваемые слова употребляются как экспрессивно нейтральные. Ср.: «*Камлание* шло в пологе, за опущенным меховым занавесом. Каширину и раньше приходилось видеть шаманское действо» («Конец вечной мерзлоты»); «— Сегодня ночью Эльгар будет *камлать*, — ответил Арэнкав и вышел из яранги (...). Когда солнце скрылось за вершины гор и наступила полночь, в стойбище загремел бубен и воздух огла-

<sup>16</sup> Ю. Су ров цев, О стилевых течениях и «национальных стилях» в советской многонациональной литературе, в кн.: «Единство», М., 1972, стр. 45, 48.

<sup>17</sup> Р. Б и к м у х а м е т о в, Роман и литературный процесс, «Вопросы литературы», 1971, 9, стр. 6.

сился воплями и всхлипами Эльгара (...). В ярангу вошли Арэнкав, Мивит и Эльгар. Старый шаман едва держался на ногах от усталости: видно, непривычно было после долгого перерыва такое серьезное *камлание* («В долине Маленьких Зайчиков»). В первом контексте семантический эквивалент выражен сочетанием «шаманское действие», в котором смысловая ассоциация с театральным представлением приобретает некий отрицательный эмоциональный оттенок. Во втором контексте отрицательная оценка также не имеет явного выражения; она проявляется исподволь, в передаче, так сказать, «звукового» характера действия: «воздух огласился воплями и всхлипами Эльгара».

Совсем иную окрашенность приобретает слово *камлание* в языке Ю. Шесталова. Ср.: «*Камлание...* На поляне среди кедров горят костры. Бегают люди. Трещит огонь. Шум голосов. Дым черной тучей тянется к небу. Небо темнеет. На кострах корчатся ветки. Отблески пляшущего пламени на ветвях могучих кедров, на задумчивых лицах людей, на глазах оленей, привязанных к стволам деревьев. Олени пугливо поглядывают по сторонам, жмутся к стволам, обдаваемые светом и дымом. Белый священный олень — главная жертва богам. У него красивые ветвистые рога, на боку метка в виде солнечного круга. Выцуклыми черными глазами он смотрит на громадный чугунный котел, висящий над костром. Над костром струится пар тающего снега. Пар еще не пахнет мясом. Но боги жаждут мяса. Большие рты идолов еще не намазаны кровью. Но скоро хлынет кровь. Горячая, священная кровь белого оленя» («Прошу, поймите меня!»). Слово *камлание* предваряет весь последующий контекст, раскрывающий его содержание. Выдерживая паузу (графически — многоточие), автор воссоздает зрительно ощутимую картину, построенную в основном на цветовом контрасте. Контраст поддерживается синтаксическим параллелизмом при сопоставлении, в котором союз *но* выступает в зачинательной функции (...*еще не ...Но...*; ...*еще не...Но...*). Завершающие предложения могут быть квалифицированы как классические примеры «цепной связи» с лексическим повтором. Начиная с предложения «Над костром струится пар тающего снега», последовательно выдержанный лексический повтор служит одним из средств передачи нарастающей экспрессии, которая достигает своей кульминации в последнем предложении, где главную смысловую и экспрессивную нагрузку несет слово *кровь* в сочетании с определениями (*горячая, священная*).

Приведенное сопоставление контекстов из произведений трех известных северных писателей дает некоторое представление об их разном художественном видении, даже при условии использования одинаковой лексики.

Конечно, стиль каждого из данных авторов — Ю. Рыхэу, В. Санги, Ю. Шесталова — может послужить объектом отдельного исследования. Здесь же мы отметим некоторые особенности языка названных писателей, связанные с одной общей темой — «человек и природа». Как пишет А. Пошатаева, «... в проблематике „человек — природа“ взаимодействие национального и общечеловеческого обретает конкретно-национальные формы; в то же время в этих формах всегда присутствует соотношение национального и общечеловеческого. Эти два начала взаимодействуют в художественном образе»<sup>18</sup>.

В творчестве Рыхэу данная тема находит наиболее непосредственное претворение в произведении «Когда киты уходят», жанр которого определяется автором как «современная легенда». Обращаясь к древнему сказанию о происхождении чукчей, писатель утверждает единство человека и

<sup>18</sup> А. Пошатаева, Человек и природа, сб. «Живое единство», М., 1974, стр. 379.

природы: когда человек преступает законы природы, он преступает и человеческие законы. В стиле данного произведения, проникнутого романтическим началом, устанавливается сходство со стилем ранних романтических произведений М. Горького. Уже в самом начале «современной легенды» автор выдвигает тезис о нерасторжимости связи человека с миром природы, используя в первую очередь лексику конкретных понятий. Основная нагрузка падает на определения, передающие зрительные и осязательные ощущения, ср.: «Нау чувствовала себя одновременно упругим ветром, зеленой травой и мокрой галькой, высоким облаком и синим бездонным небом». Образы природы используются в составе сравнительных конструкций, в которых и объектом, и субъектом сравнения являются предметы окружающего мира, что приводит к известной понятийной «линейности» сопоставления. Интересно отметить, что одно и то же смысловое содержание сравнительного оборота может иметь разные варианты своего лексико-грамматического воплощения. Например: «... она вдруг останавливалась и склонялась над крохотным голубым пятнышком цветка, словно осколком неба, упавшим с зенита» («Когда киты уходят»); «Откуда эти цветы, словно брызги небесной голубизны» (там же). В первом контексте цветовой признак присущ объекту сравнения (*голубое пятнышко цветка*). Во втором контексте тождественный признак отнесен к субъекту сравнения, причем выражен он не прилагательным, как в первом случае, а однокоренным существительным. Соответственно трансформируется и обозначение «принадлежности»: в первом контексте оно выражается формой родительного падежа — несогласованное определение (*осколок неба*), во втором — однокоренным прилагательным — согласованное определение (*небесная голубизна*).

Сравнительные конструкции, в которых сходство сопоставляемых понятий базируется на реальных образах национальной жизни и быта, на образах родной природы, постоянны в произведениях Рытхэу. Они являются одним из средств передачи национального видения безотносительно к теме и сюжету произведения. Так, данные обороты могут играть роль развернутого определения, указывающего конкретный признак по сходству. Например: «Доктор Наташа взяла стетоскоп и приложила черный кружок, похожий на звериное ухо, к груди Коровье» («В долине Маленьких Зайчиков»); «Солнце уже клонилось к закату, освещая тучи, низко висящие на горизонте. Они имели причудливые очертания и походили на разлегшихся на мягком весеннем снегу оленей» (там же); «Вот уже и мешки появились под глазами, словно олени тропы, протянулись по щемам морщины» («Конец вечной мерзлоты»). Сравнения могут функционально сближаться с обстоятельствами образа действия, относясь к предикату, ср.: «Размышления Армагирина прервал отец Дионисий. Он подвел чукчу к священному сосуду, продолжая протяжно, словно изголодавшийся за зиму тундровый волк, подвывать» («Конец вечной мерзлоты»). В составе реплик сравнительные обороты сообщают им образность народной чукотской речи. Например: «Коровье метнул на нее укоризненный взгляд. — Не убегай от слов, как мышь от песка! — гневно сказал он» («В долине Маленьких Зайчиков»).

Тематически близкие сравнения отмечаются в языке произведений Санги. Например: «Внизу в тайге, как белые питки, случайно оброненные на зимнюю медвежью шерсть, сверкнули извилистые истоки рек и ключи» («Ложный гон»); «Высокий, сутуловато-изогнутый, будто готовая к прыжку рысь, он настороженно всматривался сквозь табачный дым в лица охотников» (там же). Однако индивидуальной манере Санги более свойственны развернутые описания пейзажа, характеризующиеся не авторским «острашением», а, напротив, отчетливо слышимым голосом автора-рассказчика. Ср.: «Деревья будто покинули тайгу — их совсем не слышно. Еще днем

светило солнце. К вечеру белесая синева осеннего неба потускнела. Откуда ни возьмись, появились тучи. Нет, ты не заметишь, чтобы их принесло откуда-нибудь. Они появляются будто из глубин космоса. Невидно и неслышно, как тени, опускаются ниже, ниже, густеют, медленно проявляются и вот уже толпятся над твоей головой, тяжелые, плотные и неподвижные» («Ложный гон»). В приведенном контексте автор почти не прибегает к собственно «цветовым» обозначениям, исключение составляет сочетание *белесая синева*. Цвет создается за счет употребления глаголов и определенных, группирующихся вокруг смыслового центра контекста — существительного *тучи*, которое в то же время служит обозначением основного цветового фона (*появляются, опускаются, густеют, проявляются, толпятся; тяжелые, плотные и неподвижные*). Данный пример показателен и в том отношении, что автор и рассказчик здесь как бы сливаются воедино: читатель превращается в слушателя, хотя писатель и не прибегает к сказовой форме или имитации устно-разговорной речи. Активное приобщение читателя к описываемому осуществляется, в частности, использованием местоименных форм в обобщенно-личном значении: *ты не заметишь, толпятся над твоей головой*. Отношение к миру родной природы наиболее непосредственно раскрывается во внутренних монологах персонажей и связано обычно с конкретным образом. Таковы, например, рассуждения старого охотника Лучки, ср.: «Хорошо в тайге. Все здесь родное, близкое и понятное. Ни к кому не надо обращаться: ни к председателю, ни к прокурору, Здесь я сам и председатель, и прокурор» («Ложный гон»).

Единение с природой, которое так отчетливо выражено в произведениях Санги, является отчасти отражением тех традиций, которые складывались у северных народов на протяжении веков, которые находили свое воплощение в фольклорных образах. Недаром сам писатель, обращаясь к современному художественно-литературному опыту северных авторов и указывая как характерную черту северной литературы ее органическую связь с миром природы, отмечал: «Северный человек во все времена обращался к природе, как равный к равному, как к собеседнику-другу, как к соучастнику человеческой повседневности. С природой северный человек делится своим сокровенным, обращается к ней в дни печали и радости, ищет и находит в ней надежного товарища-помощника»<sup>19</sup>.

Северным «видением» мира проникнуты и произведения Ю. Шесталова. Так, например, в языке Шесталова используются сравнения, опорным словом которых является существительное *олени*, что отмечалось и в языке Рыхтэу. Но если у Рыхтэу *оленьям* уподобляются *тучи*, то у Шесталова с *оленьями* сравниваются *искры*, что приводит к экспрессивно-образной трансформации самого сравнения, ср.: «Плясало пламя, летели искры. В темном осеннем небе золотыми оленьями бродили искры» («Тайна Сорни-Най»). Уже в ранних произведениях Шесталова наблюдается четкая ориентация на «одушевление» всего мира природы. Г. Ломидзе пишет: «В „Языческой поэме“ использован почти канонический в фольклоре прием одушевления природы. Травы, рыбы, растения, деревья говорят, думают, переживают, радуются, грустят, спорят. Звери хохочут, россомаха „строит рожу“, мать-земля „кряхтит“, журавль поет песню о своем житье-бытье, чайка танцует, кедры вздрагивают, реки обвивают плечи человека своими руками»<sup>20</sup>. Этот прием находит свое развитие в последующих произведениях писателя. Дело не только в «переносных» значениях отдельных слов,

<sup>19</sup> Владимир Санги, Созвездие полярного неба, в его сб. «По островам сокровищ», М., 1976, стр. 133.

<sup>20</sup> Г. Ломидзе, Ленинизм и судьбы национальных литератур, М., 1972 стр. 270.

не только в оборотах, которые можно отнести к той или иной подгруппе метафор. Дело еще в том принципе индивидуальной поэтики Шесталова, который является одним из важнейших компонентов структуры произведения и который нацелен на «очеловечивание» мира природы. Например: «Чуть подальше, подняв свои курчавые головки, бегут стройными рядами молодые сосенки. А над ними громоздится одинокий великан-кедр, гордая вершина которого расщеплена молнией, а могучий когда-то ствол обуглен. Видно, по нему гулял смертоносный огонь. Как ему удалось выжить? Где он взял столько сил? Радует ли он молодяку? Может, в его зеленом шуме он ловит звуки своей буйной и счастливой юности и предается с тарым воспоминаниям? Или он, умудренный опытом своей суровой и нелегкой жизни, слышит в их игре лишь суету сует? И потому смотрит на всех лишь холодно, недоверчиво? Или все же, иссеченный молниями, корявый, обугленный, но все же живой, он находит и в дуновенье ветра, и в пробуждающемся взгляде утренней зари, в ее широкой улыбке, и свою, особую радость?» («Гайна Сорни-най»). Контекст построен на «нанизывании» вопросительных предложений, в которых выражены раздумья автора. Заметим, что этот прием вообще постоянен в произведениях Шесталова. Автор подходит с критериями и оценками, которыми измеряются людские судьбы, и потому «объект» его размышлений как бы приобретает характер и свойства человека. Знаменательно и то, что в составе вопросительных конструкций, т. е. в той части контекста, где происходит собственно «одушевление», номинация данного объекта осуществляется не словом *кедр*, а местоимением *он*. Возможно, здесь косвенно сказывается та же установка, при которой во время «медвежьего праздника» местоимением *он* замещается слово *медведь*. В очерке «От загадки к искусству» Шесталов писал: «Медведя не называют, а величают иносказательно „он“».

Разумеется, проблематика «человек — природа» может быть подвергнута подробному изучению в творчестве каждого северного писателя. При этом выявляются характеристики индивидуального языка и стиля, дающие в своей совокупности более полное представление о поэтике того или иного автора. В то же время сопоставление подобных характеристик наглядно покажет эстетико-художественные принципы современной северной литературы. Именно тот факт, что художественные особенности данных произведений в значительной степени определяются национальным мировосприятием, что освещение излагаемого и описываемого производится и з н у т р и национального мироощущения, снимает собственно экзотику как нечто чуждое и необычное, равняет или, вернее, поднимает ее до уровня повседневной жизни и деятельности человека.

Пользуясь русским языком как орудием своего творчества, северные писатели стремятся передать национальную стихию во всех ее проявлениях. Несомненно, что здесь встают проблемы, которые решаются совсем непросто. Это проблемы художественного поиска, проблемы семантико-понятийной эквивалентности и — шире — вариативности языковых единиц, проблемы «соразмерности и сообразности» национального видения в соотношении со сложной структурой современного русского языка. Вместе с тем в русском языке национальных писателей могут активизироваться такие процессы, которые не имеют четкого выражения вне национальной литературы, обусловленные в частности, фольклорными традициями <sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Эта особенность младописьменных языков отмечается З. Ю. Кумаховой и М. А. Кумаховым: «Во многих новописьменных (младописьменных) языках... очень сильны традиции фольклора в формировании и развитии языка художественной литературы как особого функционального стиля» (З. Ю. К у м а х о в а, М. А. К у м а х о в, К проблеме классификации функциональных стилей в языках различных типов, ВЯ, 1978, 1, стр. 4).

Для лингвистов исследование данных процессов — задача первостепенной важности. На эту особенность русского языка в произведениях национальных авторов указывал Т. Пулатов: «...русский язык, называя и выражая жизнь другой нации, другого народа, „пропуская“ через себя язык этого народа благодаря творчеству писателя, обогащает не только свой словарь и свою лексику, но и сферу своей жизни. А вся мудрость жизни и зрелость литературы в том, что они умеют обращать себе на пользу все созвездие национальных языков, таких непохожих друг на друга, таких разных, как и народы, которым они принадлежат»<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Тимур Пулатов, указ. соч., стр. 111.

КОЖИН А. Н.

## О РОЛИ СЛОВА В ТЕКСТЕ

(на материале повести Л. Н. Толстого «Казачи»)

Художественное произведение содействует познанию жизни. Нередко самое обычное, повседневное, возводится мастером художественного слова на такую высоту эстетической интерпретации действительности, что оно становится образным ориентиром, по которому определяется направление познавательной деятельности. «Описать обычное точно и отдельно — великое искусство»<sup>1</sup>, и эти слова В. Шкловского как нельзя лучше подходят к характеру словесного мастерства Л. Н. Толстого. Точность и рельефность образов в произведениях Л. Н. Толстого воссоздается экспрессивной оправданностью словоупотребления.

Слово в художественном произведении «... двупланово по своей смысловой направленности и, следовательно, в этом смысле образно»<sup>2</sup>; оно находится в сложнейших связях и соотношениях со словами общелитературного языка и с элементами словесной структуры эстетического объекта, именно поэтому «острые экспрессивно-образные функции могут выпасть даже на долю семантически нейтральных, совсем безобразных, местоименных слов»<sup>3</sup>. С помощью слова в произведениях Л. Н. Толстого достигается своего рода проникновение в сущность изображаемого: передается жест, еле уловимое движение, положение тела, выражение взгляда, полет мысли, волевые импульсы, — весь сложный комплекс чувств, эмоций, переживаний как воплощение «диалектики души» героя. Самые обыкновенные слова общеупотребительной речи служат средством реализации эстетической функции, выступая в роли опорных звеньев художественного повествования, связанного с корпусом всего произведения или с какой-либо частью его структуры. Безобразные, но широко употребляемые слова в различных сферах общения становятся выразителями экспрессивно-оценочного содержания в тексте повести «Казачи».

Слово может выступать в роли предметно-логического трамплина, предопределяющего всевозможные модификации экспрессивной нацеленности определенного ряда лексем как опорных звеньев авторского повествования, имеющих непосредственное отношение к изображению различных коллизий, нацеленных на выяснение сущности жизни, «кусочка действительности» как предмета авторского видения мира. В этом случае предметно-логическая определенность «трамплинного» слова усиливается, расширяется, как бы раздвигается до таких пределов, когда становится возможным подключение ряда слов, предрасположенных к сцеплению с словесной тканью микротекста, ориентированного на широту смысловой волны опорного, «трамплинного» слова. Так, слово *будущее*, обретающее экспрессивную внушительность в рамках дистантного повтора, предопределяет все-

<sup>1</sup> В. Шкловский, Художественная проза. Размышления и разборы, М., 1961, стр. 35.

<sup>2</sup> В. В. Виноградов, Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика, М., 1963, стр. 125.

<sup>3</sup> Там же.

возможные виды экспрессивно-оценочной ориентации слова *горы* в структуре макротекста, т. е. при изображении различных действий, поступков, состояний героя по мере развертывания художественного повествования.

Повторение словоформы *будущем* придает микротексту эмоционально-характерологическую настроенность, посредством которой предвосхищается возможный исход игры воображения, охватившего душу молодого путешественника туманной дымкой жизни на лоне природы, среди людей гор, вдали от ненавистных пут светской жизни; причем предметно-логический план абстрактной семантики слова *будущее* переводится в сферу литературно-художественной конкретизации посредством уточняющего определения, которое в свою очередь служит базой художественно обусловленного инкрустирования словоформ *гор, горах* как элементов реальной символизации и романтизированного представления жизни на Кавказе: «Воображение его теперь уже было в будущем, на Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образами Амалатбеков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей. Все это представляется смутно, неясно; но слава, заманивая, и смерть, угрожая, составляют интерес этого будущего... Есть еще одна, самая дорогая мечта, которая примешивалась ко всякой мысли молодого человека о будущем. Это мечта о женщине. И там она, между гор, представляется воображению в виде черкешенки — рабыни, с стройным станом, длинною косой и покорными глубокими глазами. Ему представляется в горах уединенная хижина и у порога *она*, дожидаящая его в то время, как он, усталый, покрытый пылью, кровью, славой, возвращается к ней, и ему чудятся ее поделуи, ее плечи, ее сладкий голос, ее покорность. Она прелестна, но она необразованна, дика, груба» (171—172) <sup>4</sup>.

Словоформы *горы, гор, горами* становятся лексическими спутниками повествования, раскрывающего «диалектику души» Оленина и дающего реальное представление о жизни людей на лоне кавказской природы. Указанные словоформы и фразеологически связанные сочетания (*снеговые горы*) конденсируются в отдельных звеньях художественного текста и тем самым содействуют объективированию еле уловимых движений внутренней жизни героя по мере приближения к цели своего путешествия и чувственного постижения всей красоты кавказской природы; при этом само ожидание встречи с желанным царством природы, горными массивами, про которые он много читал и о которых ему много говорили, сменяется неожиданной явью, всколыхнувшей душу впечатлительного молодого путника всей колоссальностью, безбрежностью границ того, что открылось его взору: «... и все ждал вида снеговых гор, про которые много говорили ему. Один раз, перед вечером, ногаец-ямщик плетью указал из-за туч на горы. Оленин с жадностью стал вглядываться, но было пасмурно и облака до половины застилали горы. Оленину виднелось что-то серое, белое, курчавое, и, как он ни старался, он не мог найти ничего хорошего в виде гор, про которые он столько читал и слышал. Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид и что особенная красота снеговых гор, о которых ему толковали, есть такая же выдумка, как музыка Баха и *любовь* к женщине, в которые он не верил, — и он перестал дожидаться гор. Но на другой день, рано утром, он проснулся от свежести в своей перекиданной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидел, шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями<sup>\*</sup> и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он по-

<sup>4</sup> Здесь и далее в скобках указывается страница третьего тома издания собраний сочинений Л. Н. Толстого в 20 томах под общей ред. Н. Н. Акоповой, Н. К. Гудзия, Н. Н. Гусева, М. Б. Храпченко (М., 1961).

нял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были все те же.

— Что это? Что это такое? — спросил он у ямщика.

— А горы, — отвечал равнодушно ногаец» (174).

Реплика ямщика *а горы* как бы выводит Оленина из сферы умозрительных представлений, тех впечатлений, которые основывались на базе прочитанного и услышанного о Кавказе; эта реплика инкрустируется в авторское повествование в виде градационного повтора, сопровождающего восприятие героем повести реальных «кусочков» жизни, неразрывно связанной с величием и красотой кавказских гор, с тем, что он «почувствовал горы»: «На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем солнце своими розовыми вершинами. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше взглядываясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и *почувствовал* горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. „Теперь началось“, — как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдаль видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ — все это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо — и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу — и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно помахиваются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы... За Тереком виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке; а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье, и сила, и молодость; а горы...» (174—175).

Изображение всей гаммы перемен в наружности Оленина, свидетельствующих об уходе героя из мира праздной светской жизни, углубляется, становится более рельефным на фоне красок, воссоздающих мир людей труда, для которых дороги радость трудовой жизни и красота окружающей природы. И в этом случае используется слово *горы*. Семантическая емкость определений (*старая* жизнь — жизнь прежняя, светская и *новая* жизнь — жизнь станичная, разумная, праздная) скрепляется текстовым рефреном, создаваемым повтором слова *горы*. Таким образом, образная характеристичность сквозной, экспрессивно-напряженной словоформы *горы* сгущает контрастные краски микротекста: антитезное изображение результативности перемен в жизни героя под благотворным воздействием станичной жизни (*новый* человек, *новые* люди, *новое* о себе хорошее мнение, *новая* квартирка, *новая* для него жизнь в станице) обретает риторическую внушительность усиливаемую повтором слова *горы*: «Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь, в которой еще не было ошибок. Он мог здесь, как новый человек между новыми людьми, заслужить новое, хорошее о себе мнение. Он испытывал молодое чувство беспричинной радости жизни и, поглядывая то в окно на мальчишек, гонявших кубари в тени около дома, то в свою новую прибранную квартирку, думал о том, как он приятно устроится в этой новой для него станичной жизни. Посматривал он еще на горы и небо, и ко всем его воспоминаниям и мечтам примешивалось строгое чувство величавой природы. Жизнь его началась не так, как он ожидал, уезжая из Москвы, но неожиданно хорошо. Горы, горы, горы чуялись во всем, что он думал и чувствовал» (207).

Локализация образно-характеризующей функции сквозной лексики (*горы*) может опираться на изобразительность повтора, обусловленного ролью слова в рамках микротекста. Так, приобщение героя к быту горцев, к сложившемуся однообразию приложения жизненных сил раскрывается посредством смысловых акцентов, заложенных в повторяемости слова *опять*, которое «увязывает» начало каждого дня с неразлучным миром гор: «Само собой сделалось, что он просыпался вместе с светом. Напившись чаю и полюбившись с своего крыльца на горы, на утро и на Марьянку, он надевал оборванный зипун из воловьей шкуры, размоченную обувь, называемую поршнями, подпоясывал кинжал, брал ружье, мешочек с закуской и табаком, звал за собой собаку и отправлялся часу в шестом в лес за станицу... Назавтра опять охота, опять здоровая усталость, опять за беседой так же напиваются и опять счастливы» (256).

Повествование о красоте кавказской природы, о счастье тех, кто живет и трудится под этим кровом, завершается своеобразным подытоживающим повтором, который как бы возвращает читателя к тому, о чем мечтал, к чему стремился герой данной повести, — одним словом, ко всему тому, с чего начинается описание отъезда Оленина на Кавказ; при посредстве слова *горы* обосновывается мысль о невозможности для автора неотправленного письма (героя повести) того счастья, какое выпало на долю Марьяны, Лукашки, на долю всех, кому близки и дороги дела и хлопоты станичной жизни: «Я пробовал отдаваться этой жизни и еще сильнее чувствовал свою слабость, свою изломанность. Я не мог забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого прошедшего. И мое будущее представляется мне еще безнадежнее. Каждый день передо мною далекие снежные горы и эта величавая, счастливая женщина. И не для меня единственно возможное на свете счастье, не для меня эта женщина! Самое ужасное и самое сладкое в моем положении, то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не поймет меня. Она не поймет не потому, что она ниже меня, напротив, она не должна понимать меня. Она счастлива; она, как природа, ровна, спокойна и сама в себе» (293).

Элементы экспрессии, свойственные слову на различных уровнях микротекстовой ориентации как образного средства «сквозного» назначения, содействуют меткости и точности описания (природы, особенностей жителей этого края). Символизирующие акценты словоформ *гор*, *горами* придают описанию темной ночи ту неповторимость, которая бывает только на Кавказе и под покровом которой Лукашка (этот вольный сын девственной природы) несет свою опасную службу, находясь в боевом охранении. Локально-характеристическая определенность этого описания объективируется образной емкостью повтора (*черная туча*; *черные тени*; вода, как в *черном* зеркале), раскрывающего содержание предикативной части предложения *Ночь была темная*, вследствие чего изображаемое обретает свою колоритность и определенность по мере конкретизации, т. е. постепенного сгущения темноты, затрудняющей несение боевой вахты, и таким образом оттеняется боевая удаль, находчивость, смелость людей, живущих среди гор: «Ночь была темная, теплая и безветренная. Только с одной стороны небосклона светились звезды; другая и большая часть неба, от гор, была заволочена одною большою тучей. Черная туча, сливаясь с горами, без ветра, медленно подвигалась дальше и дальше, резко отделяясь своими изогнутыми краями от глубокого звездного неба. Только впереди казаку виднелся Терек и даль... Еще дальше и вода, и берег, и туча — все сливалось в непроницаемый мрак. По поверхности воды тянулись черные тени, которые привычный глаз казака признавал за проносимые сверху коряги. Только изредка зарница, отражаясь в воде, как в черном зеркале, обозначала черту противоположного берега» (193).

При посредстве словоформы *гор* придается экспрессивная внушительность тексту, раскрывающему своеобразие вечернего времени, которое можно воспринимать таким, каким оно кажется тому, кто бывает на Кавказе: «Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было еще светло. Заря охватила треть неба, и на свете зари резко отделялись бело-матовые громады гор. Воздух был редок, неподвижен и звучен. Длинная, в несколько верст, тень ложилась от гор на степи. В степи, за рекой, по дорогам — везде было пусто» (179).

Стилистически нейтральные слова могут обрастать нюансами фигурального осмысления, создаваемого характером изобразительной ориентации в сфере экспрессивных лаун как микрочаеек художественной ткани произведения.

Изображение противоестественности светской жизни, вынудившей Оленина к отъезду на Кавказ, опирается на образные возможности слова *редко*, которое не только включается в экспрессивную атмосферу в акте повтора, но и само сопровождается подытоживающим повтором, возникающим на базе синонимизации слов *красно* и *редко*; контекстуальная синонимизация расширяет социально-бытовой контекст (ту обстановку, в которой развертывается повествование) и определенным образом нацеливает на последующие лауны, связанные с описанием отъезда Оленина: «Все затихло в Москве. Редко, редко где слышится визг колес по зимней улице. В окнах огней уже нет, и фонари потухли. От церкви разносятся звуки колоколов и, колыхаясь над спящим городом, поминают об утре. На улицах пусто. Редко где промесит узкими полозьями песок с снегом почной извозчик и, перебравшись на другой угол, заснет, дожидаясь седока. Пройдет старушка в церковь, где уж, отражаясь в золотых окладах, красно и редко горят несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы. А у господ еще вечер» (162).

Посредством повтора слов *отъезжающий* (*отъезжающие*), *казалось*, с одной стороны, подчеркивается неизменность, повседневность того, что бывает при отъезде: «Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал: „Ну что ж! поедем“... Отъезжавшему казалось тепло, жарко от шубы. Он сел на дно саней, распахнулся, и ямская взьерошенная тройка потащилась из темной улицы в улицу мимо каких-то не виданных им домов. Оленину казалось, что только отъезжающие ездят по этим улицам» (165, 166); с другой стороны, приоткрывается завеса над сложным миром личной жизни героя, и эта часть художественного текста обретает мотивированную выразительность посредством параллельного повтора, реализуемого образной соотнесенностью словоформ в рамках микротекста (*свободен, свободы*) и отрицательных местоимений (*никакой, ничто, ничего, ни во что*), усиливаемых частицей *ни*: «В восемнадцать лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди сороковых годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких ни физических, ни моральных оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, и всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать» (167).

Постижение всего комплекса побуждений, связанных с отказом от привычного образа жизни, воссоздается эстетической внушительностью эмоционально-оценочных нюансов, формируемых в тексте повтором словоформы *молодости* и ее образно-характеристическим звучанием в перифра-

стическом построении (*сила молодости, бог молодости*); при этом данное словоупотребление сопровождается развернутым комментированием и параллельным повтором, детализирующим образную емкость выражения *бог молодости* на базе смыслового диапазона слова *способность*: «Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке, — на искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине или на практическую деятельность, — не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет, и как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется... Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем. Он носил в себе это сознание, был горд им и, сам не зная этого, был счастлив им» (168).

Самые безобразные слова (*те же*) служат средством конкретизации общего представления, обозначаемого сочетанием *то же самое*, и это содействует правдивому изображению состояния героя во время длительного путешествия на Кавказ: «На другое утро те же самое — те же станции, те же чай, те же движущиеся крупы лошадей, те же короткие разговоры с Ванюшей, те же неясные мечты и дремоты по вечерам, и усталый, здоровый, молодой сон в продолжение ночи» (172).

При посредстве безлично-предикативных слов, реализующих значенные меры и степени, а также глаголов движения и существования (*уезжать, казаться, становиться*) достигается реалистическая колоритность текста, содействующая показу «диалектики души» героя; психологически мотивированным является описание изменений настроения Оленина по мере удаления от всего того, что напоминает о столичной жизни, и приближения к желанному, маняще-неизвестному: «Чем дальше уезжал Оленин от центра России, тем дальше казались от него все его воспоминания, и чем ближе подъезжал к Кавказу, тем отраднее становилось ему на душе... И Оленину все становилось веселее и веселее... За Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Была уже весна — неожиданная, веселая весна для Оленина. Ночью уже не пускали из станиц и вечером говорили, что опасно. Ванюша стал потрушивать, и ружье заряженное лежало на перекладной. Оленин стал еще веселее» (173).

«Вживаемость» Оленина в мир кавказской природы колоритно показана в тексте, изображающем состояние героя при возвращении с охоты; при этом в роли усилительного средства последовательно развертывающегося описания используется повтор местоименных форм (*это, эти, этой, этого, этим*): «Оленин готов был бежать от комаров; ему уж казалось, что летом и жить нельзя в станице. Он уже шел домой; но, вспомнив, что живут же люди, решил вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. И, странное дело, к полдню это ощущение стало ему даже приятно. Ему показалось даже, что ежели бы не было этой окружающей его со всех сторон комариной атмосферы, этого комариного теста, которое под рукой размазывалось по всему лицу, и этого беспокойного зуда по всему телу, то здешний лес потерял бы для него свой характер и свою прелесть. Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просачивающейся из Терека и бульбулькающей где-нибудь под нависшими листьями, что ему стало приятно именно то, что прежде казалось ужасным и нестерпимым» (242—243).

Проникновение в тайны внутренней жизни героя, в диалектику его

психического состояния, определяемого перипетиями страстного влечения к станичной красавице Марьяне, достигается глубоко правдивым описанием, образность которого предопределяется выразительной емкостью слова *тень*; повторяемость этого слова вызывает представление о милом образе любимой женщины, любящие движения которой так значительны и дороги для влюбленного: «Оленин читал, но ничего не понимал из того, что было написано в раскрытой перед ним книге. Он беспрестанно отрывал от нее глаза и смотрел на двигающуюся перед ним сильную молодую женщину. Заходила ли эта женщина в сырую утреннюю тень, падавшую от дома, выходила ли она на середину двора, освещенного радостным молодым светом, и вся стройная фигура ее в яркой одежде блистала на солнце и клала черную тень, — он одинаково боялся потерять хоть одно из ее движений» (260); естественность проявления любви как неизменного спутника молодости манифестируется другим повтором: слово *молодой* как определение возрастного состояния человека (юный, не достигший зрелого возраста) включается в синонимические связи с тем же словом, но употребляемым переносно, метафорически (*молодой* свет — это яркий свет солнца в утреннее время).

На базе словоформ *равномерное дыхание, равномерного дыхания* как образного стержня текста развертывается описание, насыщенное анафорическим употреблением предикативных форм слова *слышать*, которые в свою очередь содействуют выражению всей сложности диалектики дум и чувств влюбленного, мечтающего о счастье, о жизни среди людей труда и чарующей прелести дивной природы: «Когда она скрылась в хате, он сошел с крыльца и начал ходить по двору. Но Марьяна уже не выходила. Целую ночь Оленин провел без сна на дворе, прислушиваясь к каждому звуку в хозяйской хате. Он слышал, как с вечера они говорили, как ужинали, как вытаскивали пуховики и укладывались спать, слышал, как чему-то засмеялась Марьяна; слышал потом, как все затихло... и опять принялся ходить по двору, все ожидая чего-то; но никто не выходил, никто не шевелился; только слышалось равномерное дыхание трех человек. Он знал дыхание Марьяны и все слушал его и слушал стук своего сердца... Вдруг ясно послышались ему шаги и скрип половицы в хозяйской хате. Он бросился к дверям; но опять ничего не было слышно, кроме равномерного дыхания» (288).

Наблюдения над образно-изобразительными свойствами самых обычных, так называемых безобразных слов в тексте повести Л. Н. Толстого «Казаки» свидетельствуют о непревзойденном мастерстве художественного словоупотребления, определяющего точность описания и постижение сущности изображаемого.

Эстетическая значимость безобразного слова воссоздается художественным текстом, — той ролью, которую выполняет слово в рамках макротекста (на фоне художественной ткани всего произведения) или микротекста разного диапазона, выступающего в виде экспрессивных лакун, обеспечивающих развертывание художественного изображения.

Экспрессивно-оценочные осмысления, развивающиеся в слове на основе эстетически обусловленного употребления, ставят под сомнение равномерность мнения о наличии образных и безобразных слов и укрепляют уверенность в необходимости ориентации на роль слова в структуре художественного текста, организуемого на базе выразительных возможностей средств общения, — речи общелитературной, разговорной, профессионально-групповой, территориально-диалектной и даже жаргонных вкраплений.

ТЕНИШЕВ Э. Р.

**ЯЗЫКИ ДРЕВНЕ- И СРЕДНЕТЮРКСКИХ ПИСЬМЕННЫХ  
ПАМЯТНИКОВ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ**

В тюркском языкознании господствует в основном исторически сложившееся структурно-генетическое направление в исследовании языков древне- и среднетюркских письменных памятников. Сущность этого направления заключается в том, что языки памятников рассматриваются как отражение разговорных языков (или диалектов) тюркских племен и народов, с одной стороны, и как языки, имеющие продолжение в настоящем, — с другой. В соответствии с этим, например, язык памятников рунического письма делится на наречия, диалекты, говоры, подговоры, или считается праязыком, родоначальником группы языков, предком отдельных тюркских языков.

Существует и другое понимание языкового состояния тюркских письменных памятников, давно наметившееся, но не получившее в дальнейшем развития. Это направление связано с именами В. В. Радлова, С. Е. Малова и содержит в себе призыв увидеть в старых текстах воплощение наддиалектного и единого для ряда племен и народов языка, иными словами, отличать литературную форму от народно-разговорной.

Справедливости ради следует сказать, что термин «литературный» почти закреплен исследователями за тюркоязычными текстами средневековья, но специфика понятия остается ими не раскрытой. Отсюда следует, что в центре внимания должно быть понятие «литературный язык» — понятие, в равной мере относящееся и к современным и к древним языкам. В последнее время в советском языкознании вновь пробудился интерес к функциональному аспекту языка к исследованию истории и типологии литературных языков с привлечением материала различных языковых семей; об этом наглядно свидетельствует научная продукция последних лет.

Литературный язык, будучи одной из социально организованных форм языка, различительными признаками имеет: а) большую или меньшую степень обработанности, шлифовки, б) наддиалектный характер, в) функционально-стилистическую вариативность.

Введение письменности расширяет сферу применения литературного языка и становится одним из важнейших условий его существования и развития. Вместе с тем язык фольклора, устной поэзии, а также народного права обладает признаками обработанности и наддиалектности в такой степени, что его можно отнести к раннему периоду истории литературных языков, к истокам их истории<sup>1</sup>. Следует заметить, что преемственность

<sup>1</sup> М. М. Г у х м а н, Н. Н. С е м е н ю к, О некоторых принципах изучения литературных языков и их истории, ИАН ОЛЯ, 1977, 5, стр. 441 (здесь же см. библиографию темы); М. М. Г у х м а н, Введение, сб. «Социальная и функциональная дифференциация литературных языков», М., 1977, стр. 5—6; В. Н. Я р ц е в а, Развитие национального литературного английского языка, М., 1969, стр. 5, 92. О роли письменности см.: Ф. П. Ф и л и н, О свойствах и границах литературного языка, ВЯ, 1975, 6, стр. 12; Н. С. Г р и н б а у м, Проблема древнегреческого литературного языка, ВЯ, 1977, 6, стр. 87.

языкового развития, наследование престижной традиции — существенный признак литературных языков вообще.

И. Р у н и ч е с к о е к о й н е — первый письменный литературный вариант. Обращаясь к языку крупных рунических памятников «орхонского» круга VI—VIII вв., нельзя не заметить его ярко выраженный наддиалектный характер, представляющий собой сплав двух (или более) начал: огузского, строевые элементы которого — вин. падеж с формантом *-уу*, прошедшее время с формантом *-туш*, форма на *-диу*, глагол *bul-* «находить», и уйгурского, конститутивные черты которого — наличие *d* в середине имен и глагольных основ, дат. падеж с формантом *-ра*, форма на *-дачу* глаголы *bar-* «идти», *bol-* «быть, становиться» и т. д. Свидетельством наддиалектности является и широкий пласт лексики рунических памятников: нейтральные к диалектам фразеологические сочетания и группа слов в метафорическом употреблении. Перечень подобных признаков можно продолжить, но и из приведенного ясно, что данное языковое образование возникло путем концентрации нескольких диалектов (или племенных языков).

Язык орхонских надписей к моменту фиксации его руническими знаками предстает в достаточно обработанном виде. Об этом свидетельствует богатый набор различного рода формул, устойчивых сочетаний слов. Наиболее обширен разряд поэтических формул, включающий в себя постоянный эпитет, описание внутреннего состояния предмета или лица, характеристику простого народа и высших должностных лиц, обороты речи для передачи сложных расчлененных представлений типа поговорок, афоризмов, сентенций и т. д. Выделяется слой ораторских формул — формулы начала речи, обращения, риторического вопроса и т. п. Есть некоторое количество правовых и обиходно-бытовых формул, а также стилистически окрашенная лексика — представления идеологического порядка и ряд глаголов с метафорическим значением. Насыщенный репертуар формул со всей очевидностью устанавливает связь языка текстов с языком фольклора, а также народного права.

При внимательном наблюдении улавливается функционально-стилистическая обособленность отдельных групп памятников, на что уже обратил внимание А. Н. Кононов<sup>2</sup>. Так, наибольшая стилистическая законченность, качества высокого стиля присущи орхонским памятникам: надписям Кюль-Тегину и Бильгя Кагану (автор текстов — лицо ханского рода Йолыг-Тегин), Тоньюкуку (автор текста — вельможа Тоньюкук), Онгинской, Моюн-Чуру и Кули-Чуру. Строго нормированный язык орхонских надписей, составителями которых были лица придворного круга, обслуживал высшие слои древнетюркского общества, выполнял функции литературного языка аристократического типа и потому, естественно, не допускал диалектных включений. Некоторые различия в языке орхонских памятников следует объяснить влиянием диалектной стихии и индивидуальными особенностями стиля или манеры письма составителей. Что касается енисейских надписей, фиксирующих поминальный стиль, то они принадлежат более широкому социальным слоям, чем орхонские, и несут на себе заметную примесь диалектизмов. Надписи из Алтая, содержащие представления бытового порядка, тяготеют явно к обиходному стилю.

Таким образом, язык тюркских рунических надписей в целом по сути своей есть запись древнетюркского койне, первый литературный вариант в истории тюркских языков. Языком рунических надписей как единым и общепонятным пользовались различные тюркские племена или союзы

<sup>2</sup> А. Н. Кононов, Из наблюдений над синтаксисом надписи Тоньюкук, сб. «Philologica. Исследования по языку и литературе», Л., 1970, стр. 90.

племен — огузы, уйгуры, киргизы, кипчаки и др. Каждое племя имело, разумеется, свой народно-разговорный язык для повседневного общения. Типологическую параллель к языку тюркских рунических надписей составляет широкий диапазон языков: германских рунических надписей, древнеисландского устно-литературного языка, древнерусского языка и койне северно-албанских горцев<sup>3</sup>.

II. Древнеуйгурский литературный язык. В середине VIII в. уйгуры, вытесненные киргизами из Монголии, переселились на юг и юго-запад в район Турфана и Ганьчжоу. Здесь впоследствии возникли два уйгурских государственных образования — Турфанское и Ганьчжоуское. Наибольший след в культурной истории уйгуров оставило Турфанское княжество. В начальный период нового государства уйгуры продолжали употреблять прежний литературный язык и руническое письмо. Руническая письменность применялась в религиозной и деловой сферах: таковы небольшая по объему «Книга гаданий» («Ырк битиг») шаманского содержания, несколько юридических документов и надписей на бытовых предметах. Однако руническое койне было для уйгуров архаичным и не обеспечивало потребностей общественных институтов государства. Это обстоятельство явилось толчком к созданию на базе рунического койне в исторически короткий срок нового литературного языка, понятного широкому слою народа. Из рунического койне была бережно сохранена его огузо-уйгурская основа. К этой традиционной части были прибавлены национальные, собственно уйгурские элементы всех уровней — фонетического, грамматического, лексического: *j* вм. *ñ*, исх. падеж на *-dyn*, «двойное склонение» местоимений, особые системы времен индикатива и личного оформления кондиционалиса, большое количество новых слов и терминов. Среди них особо следует отметить заимствования из санскрита, согдийского, среднеперсидского, тохарского и китайского языков. Так возник структурно смешанный язык, называемый в уйгурских рукописях *türk ujuur tili* (тюркско-уйгурский язык).

В. В. Радлов полагал, что этот язык окончательно сложился между VIII и IX вв. и потом уже употреблялся в монастырях без всякого изменения. Уйгурская письменность (у ганьжоуских уйгуров), судя по находкам С. Е. Малова, существовала до начала XVIII в. Кроме рунического алфавита, который был сравнительно небольшим эпизодом, уйгуры пользовались согдийским и адаптированным его вариантом (называемым уйгурским), манихейским и брахми шрифтами.

Небывалого расцвета литературный язык достиг в собственно уйгурский период. Общественное употребление литературного языка привело к созданию его функционально-стилевой системы, включающей стили религиозной (философско-дидактической) литературы, художественной литературы (прозы и поэзии), научных произведений, деловых документов и частной переписки. Основные лингвистические средства выражения стилистических вариантов приходятся на долю лексики и синтаксиса.

Стиль религиозной литературы у уйгуров был самым развитым. Наибольшее количество сохранившихся рукописей имеет буддийское содержание, затем идут рукописи шаманского, манихейского и христианского содержания. Для стиля буддийских трактатов, в основном переводных, характерно огромное количество терминов, словосочетаний и оборотов для передачи сложных представлений буддизма. Уйгурам было свойственно стремление освободиться от иноземной терминологии, прежде всего санскритской, и заменить ее своей тюркско-уйгурской.

<sup>3</sup> А. В. Десницкая, Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка, Л., 1970, стр. 86—98.

На основании сохранившихся легенд светского содержания можно полагать, что у уйгуров значительного развития достиг и стиль художественной литературы. Особенно процветала поэзия. Существовали различные стихотворные жанры, были свои известные поэты, имена которых сохранили рукописи. В стихах широко применялась вертикальная аллитерация. Поэты обращались и к такой редко встречающейся форме стиха, как трехстишия.

Уйгурский деловой стиль, представлен юридическими документами, ярлыками и записями хозяйственного содержания. В самой общей форме надо заметить, что стиль деловых документов отражает элементы народного языка в большей степени, чем стили религиозной или художественной литературы.

От назначения, формы документов и производящей их канцелярии зависит мера отражения народно-разговорной или, точнее говоря, устной разновидности литературного уйгурского языка. Древнеуйгурский литературный язык, несмотря на широкое общественное употребление, что подтверждают различные его стили, тем не менее был языком только письменного общения подобно древним литературным языкам Китая и Японии.

Для устного общения литературный язык уйгуров не был пригоден. В обиходно-разговорной практике уйгуры использовали язык, близкий, но не тождественный литературному. Этот язык в какой-то степени можно реконструировать, опираясь на часть литературного языка, свободную от архаизмов, на данные памятников на брахми, отражающих устную норму произношения, и привлекая материал диалектов современного уйгурского языка и языка родственных уйгурам сарыг-югуров. Подобный язык условно можно назвать говором (полудиалектом) древнего Турфана. Именно он питал древнеуйгурский литературный язык, вошел в диалектную систему современного уйгурского языка и получил отражение в тюркских языках Сибири.

Древнеуйгурский литературный язык, достигший блестящего развития, был чрезвычайно популярен и хорошо известен другим тюркоязычным народам. Позднее он был использован при формировании других вариантов литературных языков. Поэтому для углубленного понимания их структуры совершенно необходимы в первую очередь полная нормативная грамматика уйгурского языка и подробный уйгурский словарь.

III. К а р а х а н и д с к о - у й г у р с к и й ( х а к а н с к и й , б у г р а х а н с к и й ) л и т е р а т у р н ы й я з ы к . Вслед за уйгурским литературным языком на территории караханидского государства к XI—XII вв. при других исторических обстоятельствах сформировался свой литературный язык. Караханидское государство — первое в истории Средней Азии государство мусульманской культуры с центром в г. Кашгаре, западные границы которого доходили до Самарканда и Бухары. Когда возникла династия караханидов и какова ее этническая принадлежность — остается неясным. От караханидского периода сохранились поэмы «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагунского, «Атабат ал-хакаик» Ахмада Югнаки, «Диван лугат ат-турк» Махмуда Кашгарского и комментариев к Корану, из которого опубликован сюжет о семи спящих отроках «Асхаб ал-кахф». В процессе сложения язык данных произведений впитал в себя традиционную огузо-уйгурскую основу престижного древнеуйгурского языка, которая, несомненно, воспринималась как уйгурская в целом. Уйгурское влияние сказывалось и на внешней стороне — употреблении наряду с арабским и уйгурского алфавита (некоторые списки «Кутадгу билиг» и «Атабат ал-хакаик» переписаны уйгурским шрифтом).

Традиционная часть представлена вин. падежом с формантом *-уу*, старой формой исх. падежа на *-da* и уйгурской его разновидностью на

*-dyn*, в косвенных падежах перед падежным формантом присутствует *-n*, местоимения обладают двойным склонением, а в глаголе функционируют формы на *-muş*, на *-duq*, на *-γly*, на *-γuluq*, на *-dačy* и т. д.

С этим выбором старых языковых черт взаимодействуют в системе единого языка «новые», национальные элементы: звук *δ* в середине имен и конце глагольных основ, вин. падеж. с формантом *-ny*, исх. падеж с формантом *-dan*, повелительное наклонение с тремя видами формантов для 3-го лица: *-su*, *-sun-* *-sunny*, условное наклонение с формантом *-sa* + аффикс сказуемости, причастие настоящего времени на *-γan*, новая система количественных числительных и обильная арабская и персидская лексика, нейтральная в диалектном отношении. Таков явно наддиалектный характер данного языка. Как литературному языку ему свойственны высокая степень обработанности, шлифовки и жанрово-стилистическая модификация. Поэзия с ее разнообразными жанрами и видами представлена более полно, чем проза. Поэтические произведения хранят в себе старых элементов заметно больше, чем прозаические.

Типологически сходное явление (т. е. архаичный характер языка поэзии) обнаруживается в поэтическом творчестве многих народов мира: французского, итальянского, испанского, русского, арабского, таджикского и т. д. Научный трактат о тюркских языках Махмада Кашгарского следует выделить особо ввиду неоднородности приводимого материала: среди иллюстраций встречаются и образцы поэзии на литературном языке, на что давно уже указал В. В. Бартольд, и примеры с диалектными пометами, и немаркированные примеры, быть может, придуманные самим автором.

В научной литературе письменный язык караханидской поры принято именовать караханидско-уйгурским. Термин не обладает достаточной точностью. Первая часть его («караханидский») остается нераскрытой, а вторая («уйгурский») употребляется в самом общем смысле как нечто пришедшее из уйгурского по линии преемственности, но и для уйгурского языка эта часть не полностью своя. В этих обстоятельствах уместно вспомнить термины, использованные самими средневековыми авторами. В предисловии к «Кутадгу билиг» автор язык поэмы называет «буграханским», букв. «буграханов язык» (*buγrā hān tili*), подразумевая под этим династийным термином придворный, аристократический, высокий стиль языка.

Сходный термин употребляет и Махмуд Кашгарский — а именно «хаканский» (*hāqānīje* «царский»), в двух значениях: 1) «самый прозрачный и сладкий» из тюркских языков и 2) тот, на котором говорят жители Кашгара. Второе значение указывает на городской говор (полудиалект) Кашгара, который лег в основу высшего стиля литературного языка караханидов. Подтверждение этому дает Ахмад Югнаки, прямо указывая, что его поэма написана на «кашгарском языке» (*kāšγar tili bilä*).

Литературный язык и литература караханидов пользовались в свое время большой популярностью, имели они влияние и в последующий период. Это видно из того, что на нижнем течении Урала, в Сарайчике, был найден кувшин с надписью-стихами из «Кутадгу билиг», относящийся приблизительно к XIII в.<sup>4</sup>

IV. Х о р е з м с к о - т ю р к с к и й л и т е р а т у р н ы й я з ы к. В XIII—XIV вв. следующим после Кашгара очагом мусульманской тюркской литературы и соответственно литературного языка сделалась местность по нижнему течению Сыр-Дарьи вместе с Хорезмом, а также территория Золотой Орды. Еще недавно область проявления иранской культуры

<sup>4</sup> А. С а м о и л о в и ч, Среднеазиатско-тюркские надписи на глиняном кувшине из Сарайчика, ЗВО РАО, XXI, 1, СПб., 1912, стр. 046.

и иранского языка — Хорезм и культурно связанные с ним города — стала местом тюркской, весьма активной литературной и научной деятельности (как до монголов, так и после них), протекавшей на тюркском, арабском и персидских языках. В тюркизации Хорезма в XI—XII вв. деятельное участие принимали огузские и кипчакские племена, языки которых образовали основу литературного языка.

К памятникам данного периода относятся «Кысас ал-анбийа», Насирадина Рабгузи, «Муин ал-мурид» Шайха Шариф-Ходжа, «Хусраву Ширин» Кутба, «Мухаббат-наме» Хоразми, «Нахдж ал-фарадис» Махмуда ибн Али, анонимные «Мифтах ал-'адл» и «Ме'радж-наме». Традиционную, огузо-уйгурскую часть языка этих текстов составляет далеко не полный перечень форм литературного языка караханидской поры: наличие межзубного *δ* в середине имен и конце глагольных основ, исх. падеж, с формантом *-dyn*, причастие на *-γly*, причастие и одна из форм прошедшего времени на *-myš*, форма на *-duq*, редкая форма условного наклонения *-sa* + аффикс сказуемости. К этой части добавлены новообразования в значительной степени кипчакского происхождения: слова со среднеязычным *j* в середине имен и конце глагольных основ, вин. падеж с формантом *-ny*, дат. падеж на *-γa* с формами 3-го лица ед. числа принадлежности без промежуточного *-n-* (редко), мест. падеж на *-da* с формами 3-го лица ед. числа принадлежности без *-n-* (редко), ординарная система склонения местоимений, форма условного наклонения с аффиксом *-sa* + аффикс принадлежности, форма настоящего времени на *-a* + *turur*, форма прошедшего времени на *-p* + *turur*. В составе литературной лексики большое количество арабских и персидских слов.

Такова смешанная, наддиалектная природа языка указанных памятников. Хотя уйгурская часть в ней и невелика, но уйгурское влияние все еще сказывается на графике памятников, часть из них написана уйгурскими буквами. Наддиалектный язык сочетается с хорошей обработанностью, шлифовкой и наличием жанрово-стилистической вариативности — жанрами поэзии и прозы со стилистическими различиями (религиозного, философско-дидактического и светского характера). Сказанное убеждает в том, что это особый литературный язык, именуемый в восточных источниках «хорезмско-тюркским».

**V. Чагагайтский литературный язык.** Самым блестящим и вместе с этим завершающим периодом в истории тюркских литератур и литературных языков средневековья были XV—XIX вв. Начало периода совпало с эпохой тимуридского государства (XV—XVI вв.). Поразительный расцвет литературы и развитие литературного языка гармонизировали с творческим подъемом в области науки и искусства.

Источников литературного языка великое множество: называя их, пришлось бы перечислить все произведения поэтов, писателей, ученых. Полное представление об этом наследии можно получить из обзорных работ В. В. Бартольда, Ф. Кёпрелю и последней по времени работы Я. Экмана<sup>5</sup>. В языке письменных памятников указанного периода от традиционной, огузо-уйгурской основы осталось немного — дат. падеж на *-a*, *-yna*, мест. падеж на *-ynda*, исх. падеж на *-yndyn*, прошедшее время на *-myš*, деепричастие на *-ban*.

Основной же фонд строевых элементов языка памятников состоит из инноваций: среднеязычного *j* в середине имен и конце глагольных основ, систем косвенных падежей от форм принадлежности 3-го лица ед. числа

<sup>5</sup> В. В. Бартольд, Чагагайтская литература, «Сочинения», V, М., 1968, стр. 606—610; F. Köprülü, Çagatay edebiyatı, «İslam ansiklopedisi», с. 3, İstanbul, 1954, стр. 270—323; J. Eckmann, Die tschagataische Literatur, «Philologiae Turcicae Fundamenta. Tomum secundum», Wiesbaden, 1964, стр. 304—402.

с формантами, *-ya, -da, -dyn* без промежуточного *-n-*, причастия на *-yan*, настоящее время на *-a + dur*, будущее время — аффикс *-yu +* аффиксы лица *+ dur*, прошедшее время на *-p + dur*, условное наклонение с аффиксом *-s +* аффиксы принадлежности. Стихотворные произведения, как и в предыдущий период, насыщены архаизмами больше, чем прозаические. Уйгурское влияние все еще сказывается в том, что некоторые произведения имеют варианты на уйгурском шрифте. Следует отметить порой очень значительный пласт заимствованной арабской и персидской лексики. В основе литературного языка лежит говор (полудиалект) крупных центров городской жизни: Самарканда, Андижана.

В целом язык памятников носит смешанный, наддиалектный характер. Очень высок уровень его шлифовки, обработанности, художественной выразительности и терминологической полноты. Жанры поэзии и прозы включают в себя гамму стилевых модификаций (стили религиозной, философско-дидактической, научной, юридической, деловой, эпистолярной литературы). Язык памятников данного периода — очень богатый, гибкий и выразительный литературный язык. Тюркские авторы именуют его «чагатайским». У Алишера Навои встречается термин *çagataj lafzu* «чагатайская речь», у Мирзы Мехди-хана — *luçat-i çagataj* «чагатайский язык», у Абу-л-Гази — *çagataj türkisi* «чагатайский тюрки» или «чагатайско-тюркский».

В развитии чагатайского языка можно выделить несколько этапов. Прежде всего ранний этап — к нему относятся поэты до Навои. Второй этап классический: золотая пора чагатайского периода. Гениальный узбекский поэт и мыслитель Алишер Навои, пользуясь материалом предыдущего периода, создал в своих сочинениях понятный (хотя и требовавший комментариев) народным массам новый литературный язык и доказал, что по своим художественным потенциям он не уступает достоинствам такого прославленного языка восточной литературы, как персидский. По меткому выражению С. Е. Малова, Алишер Навои был не только фактом, но и фактором истории<sup>6</sup>. Созданное им было подхвачено и развито поэтами и писателями последующего этапа. Третий этап чагатайского языка — поздний классический — смыкается с периодом «тюрки».

Чагатайская литература и чагатайский язык достигли необычайной популярности — влияние их ощущается на обширном пространстве от Турции до Китая: у ранних турецких поэтов на западе и уйгурских писателей и историков на востоке.

VI. Л и т е р а т у р н ы й я з ы к « т ю р к и ». С появлением на исторической арене современных тюркоязычных народов до формирования их в отдельные нации чагатайский язык использовался как литературная форма. Постепенно он вбирал в себя местные народные элементы (городских говоров), что привело к появлению локальных вариантов письменного языка, которые в целом в отличие от чагатайского можно было бы называть литературным языком «тюрки». Известно несколько вариантов «тюрки»: среднеазиатский (узбекский, уйгурский), поволжский (татарский, башкирский), арало-каспийский (казахский, каракалпакский, киргизский), кавказский (карачаево-балкарский, кумыкский)<sup>7</sup>. С этого момента, можно говорить о начальной поре современных тюркских национальных литературных языков. Однако традиция бытования и хранения чагатайских и даже более ранних хорезмских памятников у тюркоязычных народов, можно думать, не прерывалась и дошла до наших дней.

<sup>6</sup> С. Е. Малов, Мир Алишер Навои в истории тюркских литератур и языков Средней и Центральной Азии, ИАН ОЛЯ, 1947, 6, стр. 480.

<sup>7</sup> C. B r o s k e l m a n n, Osttürkische Grammatik der islamischen Literatursprachen Mittelasiens, Leiden, 1954, стр. 1.

Так, фольклорная экспедиция Института языка, литературы и истории Казанского ФАН СССР обнаружила, что в селениях Татарской республики, а также Пермской, Ульяновской, Пензенской областей главным образом пожилые женщины в зимние вечера охотно поют или пересказывают отдельные отрывки из «Кысса-йи Юсуф» Али и «Кысас ал-анбийа» Рабгузи, сохраняя старый языковой колорит произведений. Слушатели нередко запоминают услышанное и стремятся рассказать другим. В процессе запоминания и пересказа совершается творческая переработка известных сюжетов. Литературоведы Казахстана отмечают подобное явление в казахской среде: казахские акыны исполняют в сопровождении домбры лирические фрагменты из «Кысас ал-анбийа» Рабгузи своим многочисленным слушателям. Запоминание и пересказ старых письменно-книжных сюжетов с сохранением языка оригинала отмечены у балкарцев и карачаевцев. Очевидно, такая практика существует и у других тюркоязычных народов, знаменуя конечный период развития старых литературных тюркских языков. Если в ранний период первый литературный вариант (рунического койне) проистекал из фольклора, то теперь остаточный вариант старотюркского литературного языка вливается в безбрежное море устного народного творчества.

VII. С е л ь д ж у к с к и й , м а м л ю к с к о - к и п ч а к с к и й и б у л г а р с к и й л и т е р а т у р н ы е я з ы к и. Кроме литературных языков Центральной и Средней Азии, известны тюркские литературные языки других географических ареалов: Закавказья и Малой Азии, Египта, Поволжья. Эти языки не связаны какой-либо единой традицией и сфера действия их во временном и пространственном измерении уже, чем у группы центрально- и среднеазиатских языков.

1. Памятники огузского цикла XIII—XIV вв. из Малой Азии и Закавказья. К ним принадлежат следующие арабографические памятники: поэма «Чарх-наме» Ахмада Факиха, стихи Джалаледдина Руми, «Ребабнаме» Султана Веледа, собрание стихов Шайада Хамзы и анонимная книга эпических сказаний огузов «Китаб-и Деде Коркуд». В структурном плане язык этих памятников представляет собою смешение огузских черт современных огузских языков с заметным влиянием уйгурской письменной традиции. Уйгурская традиция сохраняется в графике: выписываются буквы для гласных и диграф *ng*, служебные части слова пишутся отдельно от основы. Уйгурские элементы встречаются и среди строевых единиц языка: местн. падеж *-da* в значении исх. падежа, форма исх. падежа на *-dyn*, глагольная форма на *-daçy*, деепричастие с формантом *-uban*. В лексике памятников выделяется слой арабских и персидских слов.

Несомненно, что природа языка памятников структурно-смешанная, наддиалектная. Язык произведений красочный, очень богатый выразительными средствами — изобилуют метафоры, параллельные синтаксические конструкции, устойчивые словосочетания и речения, иными словами, являет образец тщательной обработки.

Отсюда следует, что в данной группе памятников воплощена литературная форма одного из средневековых огузских языков. За ним закрепилось название «сельджукский». Письменный сельджукский язык имеет отношение ко всем литературным языкам южной, огузской группы: турецкому, туркменскому, азербайджанскому, крымско-татарскому, гагаузскому.

2. Письменные памятники кипчакского цикла XIII—XVII вв. из Египта и Сирии периода правления тюркских династий айюбидов и мамлюков. Большинство это арабско-кипчакские глоссарии и грамматики кипчакского языка, составленные в духе арабской грамматической школы. Небольшое количество текстов религиозного, светского содержания.

Языку этих источников свойственна смешанность структурных признаков — совмещение северных и южных элементов: дат. падеж с формантами *-ya* и реже *-a*, причастие прошедшего времени на *-yan*, *-an* и *-myš*, настоящее время на *-adyr* и *-ajor*, прошедшее время на *-myš*. След уйгурского влияния засвидетельствован формой причастия будущего времени на *-daču*. В лексике памятников присутствуют нейтральные к диалектам арабские и персидские заимствования. Наряду с наддиалектностью языка памятников заметна языковая шлифовка, обработанность. Различаются стили научной, религиозной и светской литературы. Есть все основания считать язык указанных источников литературным. Основные строевые элементы его кипчакского типа, поэтому и язык именуется «мамлюкско-кипчакским».

По некоторым морфологическим признакам мамлюкско-кипчакский в группе современных кипчакских языков тяготеет к казахскому, каракалпакскому и ногайскому.

3. Эпитафийные надписи XIII—XIV вв. из Поволжья. В настоящее время насчитывается более двухсот памятников арабского письма эпитафийного содержания из района Казани и других мест по Волге.

Язык надписей характеризуется явлениями ротацизма, ламбдаизма и начальным *ž*. В морфологическом плане он имеет южную (огузскую) окраску: дат. падеж с формантом *-a*, местн. падеж на *-ynda*, форма на *-duvi* (< огуз. *-duq*). Огласовка местн. надежа на *-ran* (< общетюрк. *-dan*) свидетельствует о частной особенности. Язык в общем представляет собою смесь признаков разных языков — ему свойствен наддиалектный характер. Эпитафийный стиль надписей выражен канонической формой текстов и некоторой языковой обработкой.

Язык надписей — литературный вариант, получивший название «булгарского». Языки болгарский и современный чувашский соотнесены близким сходством материальных единиц. Более поздний эпитафийный болгарский материал являет собою тип языка кипчакизованного вследствие употребления ритуального языка в другой этнической среде (кипчакской).

VIII. О б р а з ц ы н а р о д н о - р а з г о в о р н ы х я з ы к о в. Среди тюркоязычных памятников средневековья имеются и такие памятники, которые отражают языки, не отвечающие критерию литературного языка.

Если нет достаточных данных, что язык памятника обработан, стилистически вариативен и совмещает в себе признаки различных диалектов, т. е. наддиалектен, его следует квалифицировать как диалектный. К такого типа представителям разговорных тюркских языков XIII—XIV вв. следует отнести язык лексикологического труда «Мукаддима ал-адаб» Замахшари и несколько дословных переводов Корана на тюркский язык. Ценными памятниками разговорных кипчакских языков или диалектов конца XIII — начала XIV в. является «Codex Cumanicus», а XVI—XVII вв. — судебные акты армянского письма из Каменец-Подольска.

IX. В о п р о с ы к л а с с и ф и к а ц и и и п е р и о д и з а ц и и д р е в н и х и с р е д н е т ю р к с к и х л и т е р а т у р н ы х я з ы к о в. В последнее время интерес у тюркологов к классификации ослаб, но это не означает, что сами вопросы классификации не заслуживают внимания.

А. Н. Самойлович считал, что существует один среднеазиатско-тюркский литературный язык и в истории его развития он выделял три периода: караханидский, хорезмский и чагатайский. Теория А. Н. Самойловича строилась на учете преемственности единой книжной традиции, видоизменяющейся в различные периоды под влиянием диалектной среды в крупных культурных центрах. Именно эта преемственность и вызвала кри-

тику А. К. Боровковым всей теории А. Н. Самойловича как построения, которое утрачивает историческую перспективу в развитии «диалектов», определявших особенности литературного языка в каждый период. Однако не принимать во внимание преемственность языковой традиции тоже нельзя, в противном случае формирование литературного языка будет приравняться к модификации лишь диалекта, связанного с определенным этносом, т. е. природа литературного языка не будет полностью раскрыта.

Представляется, что периодизация не может основываться на одном каком-либо признаке, а должна быть комплексной, учитывающей как собственно лингвистические, так и экстралингвистические факторы<sup>8</sup>. Среди внутривидовых факторов каждый раз необходимо «рассмотрение» совокупных разнодиалектных признаков, сочетающихся в тех городских койне, которые легли в основу национальных литературных языков<sup>9</sup>. От результатов этого рассмотрения зависит понимание того, с какой величиной приходится иметь дело — с самостоятельным литературным языком или с каким-либо его этапом.

В экстралингвистическом плане невозможно обойти вопрос о реальных носителях литературного языка, о тех социальных слоях, которые являются хранителями литературной нормы. Важно выяснение степени распространения грамотности, культурно-исторической ситуации и ведущих культурных стимулов развития литературного языка. Необходимо исследование видов письма и системы жанров в рамках отдельных видов письменности<sup>10</sup>.

Поскольку сочетание разнодиалектных признаков городских койне в каждый период позволяет говорить о статусе самостоятельных языков, то, очевидно, приходится иметь дело с классификацией литературных языков Центральной и Средней Азии, а не с периодизацией единого среднеазиатско-тюркского литературного языка.

Признавая обоснованным выделение А. Н. Самойловичем трех периодов в истории развития тюркских литературных языков, в то же время надо признать, что этой схеме не хватает исторической глубины. Она может быть создана добавлением двух литературных языков раннего периода: рунического койне и древнеуйгурского литературного языка.

**Т и п ы т ю р к с к и х л и т е р а т у р н ы х я з ы к о в.** Древне- и среднетюркские письменные памятники заключают в себе языки двух типов: литературные и народно-разговорные (диалектные). Литературные языки, как можно было видеть, представлены в двух разновидностях. Первый вид — языки большого пространственного охвата (Центральная и Средняя Азия) и продолжительного времени действия (VIII—XIX вв.), нанизанные на стержень единой письменно-языковой традиции (огузско-уйгурской). Традиция эта удивительно устойчива: влияние ее ощущается и в других отдаленных центрах литературных тюркских языков. Второй вид — литературные языки меньшего сравнительно с первым географического и временного масштаба, не связанные между собой языковой традицией (Закавказье, Малая Азия, Египет, Поволжье; XIII—XVIII вв.). Очень невелик фонд памятников с записью тюркской диалектной речи. Это — главным образом ареал кипчакских языков.

«Масштабность» одной группы литературных языков и более узкое поле действия другой группы стоят в прямой связи с интенсивностью историче-

<sup>8</sup> Н. А. Баскаков, О периодизации истории литературного языка «тюрки», сб. «Лингвогеография, диалектология и история языка», Кишинев, 1973, стр. 136—146.

<sup>9</sup> М. М. Гухман, Н. Н. Семенов, указ. соч., стр. 443.

<sup>10</sup> Там же, стр. 446.

ских, социальных и культурных процессов. Обилие образцов литературного языка сравнительно с текстами живой обиходно-бытовой речи связано, по-видимому, с уровнем развития государственных институтов и высокой степенью книжной грамотности и образованности тюрок, пониманием высокой ценности поэтического слова рядом с простой, необработанной речью.

Из всего изложения следует вывод: наряду со структурно-генетическим изучением языка тюркских письменных памятников необходимо исследование их в социально-историческом, культурном и функциональном аспектах.

КИСЕЛЕВСКИЙ А. И.  
**ОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯХ В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ  
 И ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ**

Приемы и средства описания энциклопедий в их сравнении с аналогичными приемами и средствами толковых словарей в отечественном языкознании еще не получили надлежащей характеристики<sup>1</sup>. Мы далеки от того, чтобы ставить знак равенства между энциклопедиями и толковыми словарями. Энциклопедии представляют собой важнейший источник информации во всех сферах человеческой деятельности, толковые словари — труды лингвистические, они дают информацию о слове. Таким образом, фундаментальные энциклопедии и толковые словари литературного языка различаются и своим предметом, и приемами описания, и некоторыми другими деталями формы и содержания. Однако это различие не бесконечно, как может показаться на первый взгляд, существующая лексикографическая практика знает многочисленные примеры создания комбинированных толково-энциклопедических словарей, где с успехом применяются смешанные приемы описания лингвистической и внелингвистической сфер действительности. Сама работа над созданием толковых и нормативных словарей языка представляет собой процесс, во многом зависящий от рационального использования того материала, который мы находим в энциклопедиях и энциклопедических словарях и справочниках. Картотеки, служащие основой для создания толковых словарей, пополняются не только за счет художественной литературы, диалектного и другого материала, но также и за счет той лингвистической части, которая содержится в энциклопедических статьях<sup>2</sup>. Можно говорить не только о некоторой зависимости материала толкового словаря от того запаса сведений, который имеется в энциклопедиях. Можно говорить и о встречном влиянии. Таким образом, вопрос состоит не только в том, что отличает энциклопедию общего типа от толкового словаря литературного языка, а также и в том, что их объединяет. Важность этой проблемы несомненна в практике подготовительной работы по созданию трудов обоих типов: необходимо выяснить, где и в каком случае можно найти рациональные пути и средства удешевления труда составителя, экономии его интеллектуальных и физических ресурсов.

В свое время Л. В. Щерба в работе «Опыт общей теории лексикографии», которая и в настоящее время является отправной точкой для многих семанто-лексикографических изысканий, указывал на такое важное для современной лексикографии противополжение: энциклопедический словарь — общий словарь (под общим словарем Л. В. Щерба понимал словарь толкового типа)<sup>3</sup>. Это не единственное противополжение, которо-

<sup>1</sup> В известной степени это сделано, например, в ПНР в работе А. Мельчарена, см. A. M i e l c z a g e k, *Z zagadnień leksykografii encyklopedycznej*, Warszawa, 1972.

<sup>2</sup> См. об этом: С. И. О ж е г о в, *Лексикология. Лексикография. Культура речи*, М., 1974, стр. 161.

<sup>3</sup> Л. В. Щ е р б а, *Опыт общей теории лексикографии*, ИАН ОЛЯ, 1940, 3, стр. 98.

му уделяет внимание Л. В. Щерба, однако в рамках данной дихотомии в первую очередь возникает проблема термина. Какие термины носят специальный характер и в связи с этим не входят в общелитературный язык нации? Какие приемы описания специальных терминов существуют в энциклопедиях общего характера? Что из сферы терминологии является компетенцией и толкового словаря? К этой проблеме примыкает проблема имен собственных и др.

В настоящей статье мы попытаемся показать то общее, что обнаруживается в исходных объектах описания энциклопедий и толковых словарей, а также — в конкретном инструменте описания, который используют эти разные по своему характеру труды<sup>4</sup>.

Предварительно заметим, что большинство энциклопедических статей имеет двойственную структуру: язык описания энциклопедической статьи включает в себя семантическую часть, служащую для характеристики понятия, и предметную часть, в которой в деталях раскрывается денотативная область с ее реалиями и отношениями между ними, ставшими базой для образования соответствующего понятия<sup>5</sup>. Такая организация энциклопедической статьи существенно отличается от принципов построения статьи толкового словаря или лингвистического словаря иного типа — это то, что характеризует только энциклопедические издания и что никогда не наблюдается в статьях толковых словарей, язык описания которых структурно всегда един. В связи с этим в дальнейшем анализе мы опираемся только на семантическую часть языка описания энциклопедической статьи, которая находит некоторое соответствие в языке описания значения слова статьи толкового словаря. Ярко выраженных и структурно развернутых предметных описаний толковые словари избегают. Двойственную структуру языка описания, свойственную энциклопедической статье, покажем на примере одной статьи, извлеченной из третьего издания Малой советской энциклопедии (МСЭ):

**«Бессонница** — нарушение сна, которое может иметь различное происхождение, неодинаковую выраженность и длительность. = Эпизодически бессонница возможна у всякого человека под влиянием волнения, психического возбуждения и т. п., мешающих возникновению торможения коры головного мозга, лежащего в основе сна. Бессонница наблюдается при разных заболеваниях...»<sup>6</sup>.

Для сравнения энциклопедического приема описания с описанием толкового словаря воспроизведем характеристику значения слова *бессонница* в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова: **«Бессонница** — мучительное отсутствие сна, состояние, когда не спится».

Рассмотрев характер семантического языка описания в статье энциклопедии и язык описания значения слова в статье толкового словаря, можно прийти к выводу, что это величины в общем-то сопоставимые и, как показывает наш материал, во многих случаях взаимозаменяемые. По нашим наблюдениям, такого рода субституции допустимы более в толковом словаре. Можно утверждать, что описание значения слова *бессонница* с помощью метаязыка энциклопедии («нарушение сна, которое может

<sup>4</sup> Текст, с помощью которого осуществляется описание исходных единиц в энциклопедиях и толковых словарях, организованный по так называемому логическому принципу, в некоторых случаях мы условно называем «языком описания».

<sup>5</sup> См. об этом подробнее: А. И. Киселевский, Языки и метаязыки энциклопедий и толковых словарей, Минск, 1977, стр. 23 и сл.

<sup>6</sup> Семантическая часть языка описания этой статьи отделена от последующего предметного описания с помощью знака =. Для разделения семантических и предметных описаний в энциклопедических статьях не требуется строгих процедур, их разделяет чаще всего первая точка (реже — точка с запятой, двоеточие) в тексте описания. В данной статье предметная часть языка описания дана в сокращенном виде.

иметь различное происхождение, неодинаковую выраженность и длительность») не вызовет у читателей никаких возражений. Энциклопедии посредством семантических описаний представляют читателю сущность понятий, характер которых может быть различным. Этот факт накладывает известные ограничения на инструмент описания энциклопедий: те подстановки, которые вполне возможны в описаниях толкового словаря, не всегда могут быть допустимы в семантических определениях энциклопедий.

Если принять во внимание круг исходных понятий, которыми оперируют энциклопедии и толковые словари, можно сказать, что общность материала ограничена в данных условиях только теми знаковыми единицами, которые относятся к разряду имен существительных. Энциклопедии не объясняют фактов действительности, выступающих под именами прилагательными, глаголами (за редким исключением), а также наречиями и т. п. Однако фундаментальные энциклопедии и толковые словари оперируют обширным материалом, для которого могут быть выработаны некоторые общие принципы описания, разумеется, в известных пределах. Общность исходного материала в энциклопедиях и толковых словарях определяется не только сферой специальных отраслей терминологии. Как будет показано ниже, энциклопедии описывают не только термины различных областей знания, но и другие понятия, функционирующие в обычных бытовых, общепроизводственных и общекультурных сферах коммуникации.

Можно предположить, что в последнем случае, когда речь идет о содержательной стороне знаков, имеющих общефункциональную основу, в сущности описания значений слов в толковых словарях и соответствующих им понятий в энциклопедиях должны каким-то образом совмещаться в главном, поскольку здесь представлены родственные категории в диалектическом процессе взаимодействия языка и мышления. Это совмещение может определяться одинаковым внутренним содержанием обоих видов описаний и в первую очередь достаточно четко выраженными смысловыми параллелями в главных компонентах описаний — их предикативных структурах. Для иллюстрации воспользуемся материалом второго издания Большой советской энциклопедии (БСЭ) и Малого академического словаря русского языка в 4-х томах (МАС). В качестве примеров воспроизводятся описания весьма нестрогих терминов, которые бытуют и в сфере конкретной терминологии и в некоторых функциональных стилях литературного и разговорного языков (№ 1 — примеры толкового словаря, № 2 — примеры энциклопедии, в дальнейшем порядок такой же): 1) **балалайка** — русский народный музыкальный инструмент с тремя струнами и корпусом треугольной формы; 2) **балалайка** — русский народный музыкальный инструмент с тремя струнами и корпусом треугольной формы; 1) **бапмак** — приспособление, накладываемое на рельс для затормаживания железнодорожных вагонов; 2) **бапмак** — приспособление, накладываемое на рельс для затормаживания железнодорожных вагонов; 1) **белоглазка** — рыба из семейства карповых, близкая к лещу; 2) **белоглазка** — рыба семейства карповых, близкая к лещу.

Мы встретились в этом случае с полными совпадениями в конструкциях описания значения слова в толковом словаре и соответствующего ему понятия в энциклопедии (одно непринципиальное структурное отличие содержится в языках описания только последней пары объектов). Это весьма интересное явление в практике построения описаний значений слов и понятий, которое свидетельствует не только о возможности корректного использования адекватных средств метаязыка, но в известной мере ставит вопрос о самой природе объектов, подлежащих толкованию в одном и другом случае. Не имеет смысла делать акцент на том, кто у кого позаим-

ствовал способ определения. Представляется, что не это главное. Важно, что это в принципе возможно, потому что такого рода языки описания толковых словарей и энциклопедий не вызывают никаких неудобств в практике их использования. Во всяком случае в обширной литературе, которая написана о характере толковых словарей русского языка и средств их описания, возражения по поводу таких определений не встречаются.

Интересно то, что такую же картину мы наблюдаем и при сравнении средств описания таких терминологических единиц, которые являются принадлежностью одной, строго определенной сферы терминологии. Воспользуемся примерами из указанных выше источников: 1) **бак** — носовая часть верхней палубы судна; 2) **бак** — носовая часть верхней палубы судна; 1) **ба́ня** — прибор для нагревания веществ, которые необходимо защитить от непосредственного воздействия огня; 2) **ба́ня** — прибор для нагревания веществ, которые необходимо защитить от непосредственного воздействия огня.

Целостная структура описывающего текста статьи энциклопедии сопоставима в принципе с описываемым текстом статьи толкового словаря, ибо большинство энциклопедических статей включает еще предметные описания, как правило, весьма развернутые. Именно в этом состоит одна из особенностей энциклопедического описания, которому свойственны свои отличительные признаки<sup>7</sup>. Таким образом, в данном случае налицо совпадения языков описания, употребляемых в словарях и энциклопедиях при характеристике значения слова, с одной стороны, и соответствующего ему понятия, с другой.

На практике данная группа «совпадения» имеет свои разновидности, проявляющиеся в интересных формальных, а в некоторых случаях и содержательных вариантах. Такого рода родственные варианты обнаруживаются при характеристике содержательной стороны объектов различного характера: сюда можно отнести и функционально свободную лексику, а также и термины, ограниченные рамками некоторой специальной сферы. Так, при сопоставлении материала БСЭ и МАС мы обнаруживаем: 1) **ба-ла́нс** — равновесие, уравнивание; 2) **ба-ла́нс** — буквально равновесие, равенство; 1) **ба-р** — единица измерения атмосферного давления; 2) **ба-р** — единица атмосферного давления в метеорологии; 1) **ба-раба́н** — цилиндрическая или многогранная верхняя часть здания, поддерживающая купол; 2) **ба-раба́н** — цилиндрическая или многогранная верхняя часть здания, на которой возводится купол; 1) **ба-ссéйн** — большой искусственный водоем; 2) **ба-ссéйн** — искусственный водоем; 1) **ба-та-ре́я** — артиллерийское подразделение, имеющее в своем составе несколько орудий; 2) **ба-та-ре́я** — артиллерийское подразделение из 2—4 и более орудий; 1) **бе-ко́н** — малосольная свинина особой обработки; 2) **бе-ко́н** — полтуши малосольной свинины особой обработки.

В этом ряду примеров, как видно, полного совпадения в описаниях значений слов и соответствующих им понятий нет. Однако легко можно заметить, что основные дифференциальные признаки значений слов и понятий, которые отражены в языках описания каждой пары, в известных пределах совпадают. Наблюдаемая разница скорее относится к некоторым фактам структуры и формы описаний, нежели к отображению принципиальных элементов содержания, которые могут быть обнаружены в данных конструкциях. Так, можно отметить незначительные перестановки компонентов одного языка описания в отношении противопоставленного ему

<sup>7</sup> См. упомянутую работу: А. И. К и с е л е в с к и й, Языки и метаязыки энциклопедий и толковых словарей.

другого (см. *бар*), некоторое непринципиальное введение в том или ином случае атрибутивных и обстоятельственных элементов в описание (см. *баланс*, *бассейн*) и т. п. Все это в сущности не придает общей реме высказывания каждой пары ничего принципиально нового.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что в иллюстрациях мы ограничились весьма незначительным количеством примеров такого рода. Фактические возможности здесь гораздо шире. Последнее обстоятельство не требует особых доказательств, достаточно принять во внимание то, что все исходные объекты, в описаниях которых обнаружилось такое поразительное сходство, объединены весьма близким алфавитным соседством в общей системе исходных объектов толкового словаря и энциклопедии. Интересно здесь и то, что такого рода аналогии в лексикографических описаниях свойственны не только узкоспециальным терминам, но зачастую это наблюдается при описании обычной лексики нейтрального функционального стиля литературного языка. О том, что в научных и научно-технических терминах объем значения и соответствующего ему понятия совпадает, говорится и пишется давно. На базе рассмотренного материала можно только подтвердить эту мысль. А как же быть со словами обычного нейтрального функционального стиля? Что можно сказать в отношении слов *балалайка*, *баланс*, *бассейн* и др., содержательная сторона которых совершенно одинаково описывается как в энциклопедиях, так и в толковых словарях?

Ответ, по-видимому, зависит от того, насколько можно доверять семантическим определениям энциклопедий и толковых словарей, как адекватно одни труды освещают основные и отличительные признаки понятия, а другие — основные элементы значения слова. Разумеется, бывают и неудачные определения. Что касается практики построения определений в толковых словарях, то такие случаи уже рассматривались в обширной лингвистической литературе. Но не это характеризует словарную работу в целом. У нас имеются фундаментальные труды в области лексикографии, которым целиком и полностью доверяет читатель, в этих трудах использованы богатые традиции в создании отечественных энциклопедий и толковых словарей. Отдельные неувязки в определениях не могут поставить под сомнение корректный подход в описании содержания подавляющего числа знаковых единиц в энциклопедиях и толковых словарях. Учитывая такого рода совпадения средств описания, мы склонны признать, что по своей сути лексические значения (основные, прямые) соответствуют тем же сложившимся понятиям, которые выражаются большим числом слов — имен существительных и которые относятся к нейтральному функциональному стилю литературного языка. Общеупотребительные слова литературного языка и термины специальных отраслей знаний, подобные тем, которые рассмотрены выше, а также все другие, которые в принципе могут получить адекватные описания в энциклопедии и толковом словаре без ущерба для понимания в обоих отмеченных случаях, представляют собой тот материал, которым в равной степени должны оперировать и энциклопедии, и толковые словари. В этом состоит ответ на один из вопросов, поставленных Л. В. Щербой в упомянутой выше работе.

Рассмотренный материал и обнаруженные факты совпадения в описаниях понятий и значений слов позволяют уточнить следующий вопрос. Некоторые исследователи, основываясь на различии в восприятии конкретных фактов действительности, указывают на то, что многие термины имеют разные значения в общелитературном и специальном языках. Так, семантика языкового знака отражает наивное понятие о вещи, свойстве, действии и т. п. В отличие от этого, специальный язык дает описание

научному понятию; логическая, научная картина мира существенным образом отличается от наивной. Нам представляется, что подобные соображения искажают действительную картину, поскольку здесь все очень общо. Бесспорно, мыслить о предметах и явлениях окружающего нас мира можно по-разному, по-разному оформляя эти мысли с помощью средств естественного языка. Все зависит от времени, места, условий такого рода деятельности и т. п. Рассматривая данный тезис с таких общих позиций, трудно что-нибудь доказать или опровергнуть. Но при такой постановке вопроса важно все-таки знать, о каких специальных терминах идет речь. Специальных терминов очень много в системе развитого языка, и хотя они и составляют некоторый замкнутый круг лексики, но в принципе могут характеризоваться различными отличительными свойствами в зависимости от того, как они существуют, в каких условиях используются и т. п. Поэтому многие специальные термины для грамотного носителя языка ничего наивного в своем содержании не представляют, он прекрасно может разобраться в действительной сути некоторого понятия, не будучи специалистом в данной отрасли знания. В этом ему помогают существующие энциклопедические и лингвистические словари и справочники. В последнем случае весьма существенным является то, что научные определения понятий в энциклопедии, воплощенных в специальных терминах, зачастую совпадают с описанием их значений в толковом словаре. Однако иногда от толкового словаря требуют своеобразного способа определения некоторого специального значения, которое якобы должно быть «сугубо языковым». Такой подход в наше время мы считаем неосновательным, и вряд ли он найдет свое применение в будущем. Принцип научности в определениях — это бесспорный принцип, отрицание его бесперспективно в любой науке, в том числе и в лингвистической. Если в этом вопросе отталкиваться от действительно существующих и общепризнанных средств описания значений слов и соответствующих им понятий, то о какой-либо наивности значения не может быть и речи. Настаивать на этом — означает отнимать право называться научными не только у всех определений подобного рода толковых словарей, но и у фундаментальных энциклопедий, чего, по-видимому, делать нельзя. Вопрос заключается не в наивных свойствах мышления носителей языка, а в некоторых других условиях, присущих процессу познания в целом<sup>8</sup>.

Если же на эту проблему взглянуть в другой плоскости, то оказывается, что некоторые далеко не специальные слова, содержательная сторона которых хорошо знакома большинству носителей языка, слова, составляющие во многом их активный запас лексики, в энциклопедиях и научных справочниках, с одной стороны, и в толковых словарях, с другой, определяются по-разному. Эти определения отличаются не только с точки зрения структуры и формы языка описания, но и со стороны его глубинных, содержательных элементов. Правда, и в этом случае мы не стали бы употреблять эпитет «наивный» по отношению к инструменту толкового словаря. Обратим внимание на следующие примеры, взятые из указанных выше источников: 1) **барсу́к** — хищный лесной пушной зверь из семейства куниц; 2) **барсу́к** — млекопитающее семейства куных отряда хищных; 1) **ба́рхатцы** — травянистое декоративное растение с желтыми и красновато-желтыми цветками; 2) **ба́рхатцы** — род травянистых растений семейства сложноцветных; 1) **га́га** — полярная морская нырковая утка с нежным, легким и ценным пухом, 2) **га́ги** — род птиц семейства утиных отряда гусеобразных; 1) **глуха́рь** — крупная лесная птица из

<sup>8</sup> Подобного рода условия, существенные для развития понятия, излагаются в работе: Л. С. В ы г о т с к и й, Мышление и речь, М.— Л., 1934. стр. 147 и сл.

семейства тетеревов; 2) **глухарь** — птица семейства тетеревиных отряда куриных; 1) **крóблик** — небольшой зверек из отряда грызунов, похожий на зайца; 2) **крóблик** — род животных семейства зайцев отряда грызунов. Нетрудно обнаружить, что в этом случае описания значений слов в толковом словаре (№ 1) и научных понятий в энциклопедии (№ 2) построены с использованием различных по своему характеру дифференциальных признаков в структуре описаний. Это тот случай, когда определения толкового словаря и энциклопедии не только никогда не совпадают, но часто расходятся довольно далеко с точки зрения формы и содержания средств метаязыка (см. описание понятия *бархатцы*). В основе описаний каждого вида — ориентация на разные свойства, признаки и отношения, существующие в действительном мире и присущие в равной степени данному предмету. Толковый словарь ориентирован более на наглядную, чувственно-воспринимаемую сторону действительности (однако отнюдь не наивную), энциклопедия — на ту сторону действительности, которая хорошо воспринимается только подготовленными лицами. В последнем случае речь идет о научной систематике в биологии. Однако не верно было бы утверждать, что она понятна только специалистам узкого профиля. В принципе такие отношения в описаниях существуют не только в биологии, но и в химии и некоторых других отраслях знаний.

Интересен вопрос, как строили бы свои определения биологи, если бы у них с давних пор не была бы выработана четкая классификация и систематика своих понятий. А ведь такой классификации нет и сейчас во многих специальных сферах. Система номенклатуры биологии в принципе закрыта, в наше время она развивается слабо. В этих условиях легко строить действительно системные определения, используя такие отличительные признаки в описаниях, как, например, признаки типа, класса, отряда, семейства, рода, вида и т. п. Но вот вопрос, как представляет читателю сущность понятия такое сугубо системное определение его, нет ли здесь своего рода неудобств? В научности таких определений сомневаться не следует, однако, по нашему мнению, это своего рода вторичные метаопределения, они основываются на действительных существенных признаках первичных понятий живого мира, т. е. на содержательной сути основных понятий системы: типа, класса, отряда, семейства и т. п.

Энциклопедии и специальные справочники выходят из этого положения довольно просто. В каждой статье энциклопедии такое метаопределение дополняется предметным описывающим текстом, о чем упоминалось выше. Последующее предметное описание ликвидирует специфическую закрытость первичного определения понятия выходом в реальный, чувственно-воспринимаемый мир предметов и отношений между ними, ставший базой для образования данного понятия. Такое описание действительно предметно. Покажем это на одном из примеров МСЭ: «Канарейка — птица семейства вьюрковых отряда воробьиных. = Название от Канарских островов, откуда канарейка впервые была завезена в Европу испанцами в конце 15 в. Длина тела 12—14 см. Самец — желто-зеленый; самка буро-серая...».

Здесь следует напомнить, что толковые словари в своих описаниях не имеют так называемой предметной части. Это усложняет весь процесс выработки языка описания основных элементов значения слова. Слова по своему значению весьма разнообразны, здесь много такого, что очень трудно учесть в какой-то исходной дедуктивной теории, а описание значения слова одновременно должно быть и достаточно «языковым», и достаточно научным, и достаточно предметным. Поэтому язык описания толкового словаря при весьма ограниченных размерах должен отличаться

такой гибкостью, которая способна удовлетворять всем указанным требованиям. К чести составителей толковых словарей надо сказать, что в подавляющем большинстве случаев они успешно справляются с этой задачей. Еще раз посмотрим на описание значения слова *кролик*, взятое из МАС: «Крблик — небольшой зверек из отряда грызунов, похожий на зайца».

При внимательном прочтении мы обнаруживаем в этом весьма лаконичном определении и элементы системы, в которой размещается данное понятие, и предметную часть, и отношения, существующие между некоторыми предметами в объективном мире.

Итак, в определениях биологических исходных единиц имеются большие расхождения в средствах описания энциклопедий и толковых словарей. В этом случае не приходится говорить о таких сближениях, которые мы наблюдали на примере терминов других разрядов. Однако в языках описания исходной единицы номенклатуры биологии в толковых словарях есть нечто, что подтверждает перспективность таких описательных конструкций, которые разработаны с опорой на некоторый научный признак в содержании термина. Подробнее рассмотрим приведенные уже описания из МАС исходных понятий биологии: *барс* — крупное хищное животное из семейства кошек; *барсук* — хищный лесной пушной зверь из семейства куниц; *глухарь* — крупная лесная птица из семейства тетеревов; *крблик* — небольшой зверек из отряда грызунов, похожий на зайца.

В целом, как отмечалось, данные конструкции толкового словаря по многим своим показателям значительно отличаются от семантических конструкций энциклопедических статей, где такого рода понятия всегда описываются с акцентом на отличительные и существенные признаки биологической систематики. Тем не менее оказывается, что в толковых словарях при описании значительной части исходных единиц биологии в тексте языка описания содержится специфический компонент, отражающий научный признак систематики биологии: «барс — из семейства кошек», «барсук — из семейства куниц», «глухарь — из семейства тетеревов», «кролик — из отряда грызунов» и т. п. Правда, этот семантический признак значения не занимает в языке описания центрального места, он отмечен за пределом общего предиката языка описания. Тем не менее он является важной составной частью в общей конструкции описания. Нельзя утверждать, что в языках описания толковых словарей этот признак научной систематики биологии проявляется регулярно и последовательно. В результате изучения материала толковых словарей установлено, что указанная особенность свойственна в большей степени понятиям зоологии. Подсчитано, что в языках описания номенклатуры зоологии она наблюдается в среднем в 89—91 случаях из 100. В свою очередь в описаниях толковых словарей, которые соотносятся с исходными понятиями ботаники, мы встречаемся с более предметными конструкциями, элементы значения ботанических терминов толковый словарь связывает с отличительными признаками, носящими более наглядный, чувственно-воспринимаемый характер. То же самое наблюдается и в случае описания исходной номенклатуры ихтиологии, некоторых терминов из разряда наименований низших, беспозвоночных и т. п. В качестве примера приводится несколько описаний такого рода, извлеченных из МАС: *бархатцы* — травянистое декоративное растение с желтыми и красновато-желтыми цветками; *батат* — травянистое южное растение, разводимое из-за клубней, идущих в пищу; *сладкий картофель*; *гамбузия* — мелкая живородящая рыбка, уничтожающая личинок малярийного комара; *гиацинт* — травянистое декоративное растение с продолговатыми

листьями и душистыми цветками; *гидра* — мелкое беспозвоночное кишечнополостное пресноводное животное со щупальцами вокруг рта.

Как видим, в этих описаниях нет указаний на признаки систематики, существующей в сфере биологии, или же классификации иного рода. Основные элементы значения, которые проявляются в такого рода конструкциях, описываются с помощью средств, весьма напоминающих характер языковых средств, употребляемых в предметных описаниях энциклопедических статей, а именно: здесь обнаруживается указание на практическое применение реалии, ареал распространения ее, некоторые другие свойства. Все эти приемы в языках описания толкового словаря сочетаются с отражением таких признаков предмета, которые, может быть, не всегда релевантны для описания понятия в плане отображения наиболее важных отличительных признаков его. Но эти предметные описания толкового словаря нельзя назвать ненаучными в силу того, что в них отражаются действительно присущие предмету признаки, которые освещаются в любом другом предметном описании научного понятия<sup>9</sup>.

В таких описаниях толкового словаря, где отражается научный признак систематики понятий в биологии, между отдельными компонентами языка описания проявляются следующие отношения. В языке описания чаще всего отражается один более высокий признак биологической систематики путем указания на название семейства, отряда или других единиц систематики, соотносимых с данным понятием. В семантической части языка описания статьи энциклопедии, как правило, отмечаются два (иногда три) признака системы (низший и высший). Здесь могут быть такие отношения: род и семейство, семейство и отряд и т. п. Характерно то, что в языке описания толкового словаря один из признаков биологической систематики заменяется специфическим предметным описанием. Обратим внимание еще раз на примеры из МАС и МСЭ: 1) *глухарь* — крупная лесная птица из семейства тетеревов; 2) *глухарь* — птица семейства тетеревиных отряда куриных; 1) *крблик* — небольшой зверек из отряда грызунов, похожий на зайца; 2) *крблик* — род животных семейства зайцев отряда грызунов. Таким образом, в описании, например, термина *глухарь* и толковый словарь, и энциклопедия отметили признак «семейство тетеревиных», в описании термина *кролик* — признак «отряд грызунов». Вместо других признаков, содержащихся в энциклопедии («отряд куриных» и «семейство зайцев»), в толковом словаре даются специфические предметные описания, которые представляют собой некоторый эквивалент второй (предметной) части языка описания энциклопедической статьи. По замыслу составителей такие лаконичные предметные описания, которые всегда имеют свой развернутый антипод в энциклопедиях, научных справочниках и пособиях, и представляют собой пример сугубо языкового описания определенного компонента значения. Таким образом, ко многим определениям толкового словаря более подходит эпитет «предметный», но не «наивный», хотя и эта рекомендация не является окончательной.

Здесь возникает вопрос: почему в описаниях родственных исходных объектов в одном случае в толковом словаре дается просто предметное описание, а в другом — предметное в сочетании с семантическим (см., например, описание терминов *бархатцы* и *глухарь*)? Ответ на этот вопрос надо искать, по-видимому, в том, что традиционно лексические значения слов каким-то образом противопоставлялись понятиям, которые выра-

<sup>9</sup> См. мысли В. З. Панфилова о соотношении абстрактного, обобщенного и чувственно-наглядного мышления: В. З. П а н ф и л о в. Философские проблемы языкознания, М., 1977 стр. 49—50.

жаются этими словами. Этот вопрос сложный, и, как видно, полного согласия здесь нет и в наше время. Однако, как показывает рассмотренный материал, такое противопоставление на практике не всегда обнаруживается, в иных случаях оно просто излишне. Описание значительной части исходных объектов может быть унифицировано в трудах различного типа. Наличие в толковых словарях описаний смешанного вида только подтверждает высказанную мысль, практика уже давно идет по пути своеобразной унификации. Разумеется, на практике еще не все последовательно, и приемы описаний такого рода родственных исходных объектов еще ждут своего упорядочения. В процессе решения этой проблемы должно быть точно установлено место определений на основе научной систематики (другими словами — семантических определений), а также и предметных определений. Однако нам кажется, что большой массив исходного материала в толковом словаре может получить адекватное описание с помощью таких строго организованных и предельно кратких конструкций, которые в обязательном порядке включают и семантическую, и предметную части.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

МУРЬЯНОВ М. Ф.

К СЕМАНТИЧЕСКИМ ЗАКОНОМЕРНОСТЯМ В ЛЕКSIКЕ  
СТАРΟΣЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА (РОГЪ И ЕГО СВЯЗИ)

В словаре И. И. Срезневского (III, 131) статья *рогъ* имеет семь рубрик, в последней из них дефиницией является (?), за которым следуют два примера (контекст сокращаю): 1. Из новгородской служебной Минееи 1095/96 г.: *бъ рогъ възнесъ*<sup>1</sup>; 2. Из старославянской Супрасльской рукописи XI в. (с корректурой по ее изданию): *даудѣ рогомъ ѡвьѣнны*<sup>2</sup>. Число таких примеров нетрудно увеличить; в частности, в неопубликованной служебной Минеее XI/XII в. за август (ЦГАДА, фонд 381, № 125) одна из стихир Успения Богородицы содержит выражение *въпиемъ ти приѣта Ахръсть Аньскыи рогъ възнеси и спси дша наша* (л. 37 об.), в каноне Нерукотворенному образу феотокион пятой песни сравнивает с *рогом* икону: *твои снѣ и бѣ рогъ спсени А вѣрнымиъ днсь даровалъ естъ свои бжствьныи образъ* (л. 46), а второй тропарь восьмой песни начинается призывом *Възнеси рогъ бжие слово* (л. 47).

Можно добавить суждение Э. Кошмидера о фразе *вънесе с А рогъ мои о бозѣ можъ*, иногда встречающейся в древнейшем новгородском Ирмолонии: «*тѣ хѣрас ѣмѣн ...* во всех случаях переведено как *рогъ мои*, что в отношении понятности тоже выглядит сомнительно, фатально напоминая известный шуточный перевод *das Pferd stand Eiche am Horne der Straße* польской фразы *koń stanął dęba na rogu ulicy*. Срезневский по праву ставит (?) при значении этого слова. Речь идет о секундарном смитизме из древнееврейского»<sup>3</sup>.

Все эти примеры зависимы от Лк I, 69: *бѣ... въздвиже рогъ спень нашего*<sup>4</sup> *ἠγέρειν хѣрас σωτηρίας ἡμῶν*. А ведь именно по поводу славянского перевода Евангелия отмечено, что «проповедники стремились быть понятыми»<sup>5</sup>; Лк I, 68—69 полностью цитируется в чуде св. Вита<sup>6</sup>, где

<sup>1</sup> «Служебные Минееи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095—1097 г.». Труд И. В. Ягича, СПб., 1886, стр. 022 (девятый феотокион канона св. Маманту, 2 сентября).

<sup>2</sup> «Супрасльская рукопись». Труд С. Северьянова, СПб., 1904, стр. 238. Ср.: «Altkirchenslavisch-griechisches Wörterbuch des Codex Suprasliensis», von K. H. Meyer, Glückstadt — Hamburg, 1935, стр. 219, 290.

<sup>3</sup> «Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente», hrsg. von E. Koschmieder, 2. Lfg., München, 1955, стр. 59.

<sup>4</sup> «Зографское Евангелие», изданное И. В. Ягичем, Берлин, 1879, стр. 83. Ср.: P. A u f f e t, Note sur la structure littéraire de Lc I, 68—79, «New Testament studies», 24, London, 1978, стр. 248—258.

<sup>5</sup> Л. П. Жуковская, Текстология и язык древнейших славянских памятников, М., 1976, стр. 349.

<sup>6</sup> «Успенский сборник XII—XIII вв.», М., 1971, стр. 226; А. И. Соболевский и й, «Мучение св. Вита» в древнем церковнославянском переводе», ИОРЯС, т. 8, вып. 1. СПб., 1903.

литературная отделка тщательна и каждая частность не разрушает, а усиливает художественный эффект целого.

И все же Э. Кошмидер в чем-то прав, хотя еще правильнее было бы говорить не о специфически славянских недоразумениях, а о более общих, накопившихся тысячелетиями семантических сдвигах, в самое последнее время давших переход количества в качество: в латинской Неовульгате (1964) пришлось отказаться в ряде случаев от образности традиционного *cornu* «рог» и выразить мысль древнееврейского и греческого подлинников с помощью других слов. В средние века непонятность сакрального текста не вызвала особого сопротивления. В Минее 1095/96 г. между словами *бѣ* и *рогъ* писец поставил знак препинания, это говорит не в пользу того, что он вполне понимал переписываемое<sup>7</sup>. Трудности славянского усвоения библейской образности становятся еще виднее, если обратиться к «Песни о винограднике» (Ис 5, 1—7). Она возглашалась в паримии — значит, ее слышали присутствующие в храме и, казалось бы, понимали: *Ἄισω δὴ τῷ ἡγαπημένῳ ἄσμα τοῦ ἀγαπητοῦ τῷ ἀμπελῶνι μου. ἀμπελῶν ἐγενήθη τῷ ἡγαπημένῳ ἐν χέρατι ἐν τοῦ πόνι (Ис 5, 1; в Елизаветинской Библии: *Воспою нынѣ возлюбленномъ пѣснь, возлюбленнаго моего винограда моего, виноградъ бысть возлюбленномъ въ розѣ, на мѣстѣ тѣхныѣ*<sup>8</sup>.*

И. Е. Евсеев дал справку по лексике древних переводов<sup>9</sup>:

Паримейник Толковые Пророчества  
*хѣрас* 5,1 рогъ

Справка неверна в обоих отношениях. Древнейший Григоровичев Паримейник (XII/XIII в.) передает *ἐν χέρατι* через *на лозѣ*, Ляпуновский Паримейник (1511 г.) — через *в зорѣ*<sup>10</sup>. Редакция Ис 5,1 по Толковым Пророчествам еще не могла быть известна И. Е. Евсееву, ее обнаружил Н. К. Никольский в списке XV в., но восходящем к первому русскому списку Упирия Лихого (1047 г.), представляющему собой копию болгарского перевода эпохи царя Симеона (ум. 927): *виноград дамъ възлюбленномъ в розѣ на мѣсти блазѣ*. Здесь же дано толкование со ссылкой на Феодорита Киррского (ум. 458): *Виноградом нарицаетъ жидовскія люди..., рогомъ жесказъеть силъ бжю, мѣстом, же блгимъ иерслмъ и сишню горъ*<sup>11</sup>.

Разночтения древнеславянского Паримейника извинительны, его авторам неоткуда было понять, что же это за *рог*, на котором (или в котором?)

<sup>7</sup> В издании И. В. Ягича исправлены некоторые описки и нормализована пунктуация. В рукописи (ЦГАДА, фонд 381, № 84, лл. 15 об.— 16): *Гъръдннѣ и шетаниѣ. звкоупѣ нечстивъ. рожѣ сѣ ѿ двѣ низълочи. и свѣтъ. и зловѣрннхъ сънмище. сѣтаврѣди недвижимо. ꙗко бѣ. рогъ възнесѣ. и вѣроу оукрѣпнѣ. да. вси тѣ величаѣмъ (низълочи: второе и изъ; свѣтъ. и : первоначально было конечное ѣ, затем между обоими элементами буквы поставлена точка; възнесѣ: второе ѣ из е.— М. М.).*

<sup>8</sup> По семантике компонентов соответствующее только готскому *weinagards* и поэтому считающееся заимствованием из готского (с равным основанием можно принять и обратное, так как нет данных судить, кто кого учил культуре виноградарства), сложение *виноградъ* имеет, в отличие от однозначного готского слова, два значения — первичное «виноградник» и вторичное «растение; его плод». В данном случае подразумевается первичное значение.

<sup>9</sup> И. Е. Евсеев, Книга пророка Исаии в древнеславянском переводе, СПб., 1897, стр. 100.

<sup>10</sup> Григоровичев Паримейник в сличении с другими Паримейниками. Издал Р. Ф. Брандт, вып. 2. М., 1894, стр. 129. Ср. цитату Ис 5, 1 в кн.: В. Погорелов, Чудовская Псалтырь XI в., СПб., 1910, стр. 30: *виноградъ бысть възлюбленхоумоу на розѣ на мѣстѣ мастнѣ*.

<sup>11</sup> Н. К. Никольский, Материалы для истории древнерусской духовной письменности, СПб., 1907 (= Сб. ОРЯС, т. 82, № 4), стр. 43. «Удивительная сохранность текста» Упирия Лихого в столь поздних списках отмечена Н. Л. Туницким («Книги XII малых пророков с толкованиями в древнеславянском переводе», вып. 1, изд. ОРЯС, Сергиев Посад, 1918, стр. 1). О греческом оригинале Толкования Феодорита см.: A. M ö h l e, Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens, 5, Berlin, 1932.

может вместиться виноградник. Толковые Пророчества объясняют, что это слово значит в христианском переосмыслении, но не рассматривают его мотивированность в языке первоисточника VIII в. до н. э., дошедшего до нас в этом стихе без искажений, *textkritisch einwandfrei*<sup>12</sup>. В новое время немецкий, французский, а за ними и русский переводы Ветхого завета искусно отредактировали Ис 5,1 — непонятный *rog* исчез бесследно, вместо него называется *гора*, или еще более удобный *холм*<sup>13</sup>, затем этот *холм*, не получив ни малейшего обоснования, по странной логике стал основой рассуждений на тему, где и как располагались виноградники Палестины во времена пророка Исаии<sup>14</sup>.

Исаия владел поэтической техникой<sup>15</sup>, в том числе существенной для архаического стихосложения консонантной аллитерацией. Его виноградник на пики (*roge*) горы — счастливая находка, где аллитерация соединила др.-евр. *keren* «рог»<sup>16</sup> и *krtm* «виноградник» (ср. аккад. *karani* «вино») в то же смысловое целое, каким являлось поэтическое *šikar šadi* «пьянящий напиток горы»<sup>17</sup>. На Ближнем Востоке, наиболее вероятной родине виноделия<sup>18</sup>, склоны гор — не пики, конечно — возделывались, но еще важнее, что таким словосочетанием вовлекалось в игру ассоциаций понятие высоты<sup>19</sup>, ср. горделивую красу невесты в Песни песней 7,6: *глава твоя на тебѣ какъ Кармилъ гора*. При переводе на другие языки эффект аллитерации исчез, а с ним и основной мотив выбора слова. Остались главным образом недоразумения, живописно воплощенные мозаичистом V в. в апсиде анконского храма — он изобразил вазу, из которой разветвляется лоза, и придал ей надпись *Vinea facta est dilecta in cornu in loco uberi*<sup>20</sup>.

Наблюдения над Ис 5,1 дают возможность по-новому подойти к расшифровке семантики слова *рогъ* в примерах, о которых речь шла вначале.

<sup>12</sup> «Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament», hrsg. von G. Botterweck und H. Ringgren, 2., Stuttgart, 1977, стлб. 160.

<sup>13</sup> «Толковая Библия», т. 5, СПб., 1908, стр. 269—270. Нем. *Weinberg* (ср.-в.-нем. *wīnbērc* < *wīngartibērc*), букв. «гора, на которой растет виноград», не является общенемецким словом и парадоксальным образом может обозначать равнинный виноградник. Не есть ли это поэтическая фикция, возникшая под впечатлением стиха Ис 5, 1? Латинским богослужением он издревле выдвинут на самое видное место — поется в Пасхальную ночь (J. D a n i é l o u, *Etudes d'exégèse judéo-chrétienne*, Paris, 1966, стр. 106). Православная традиция отвела ему скромный момент — понедельник второй недели великого поста.

<sup>14</sup> Недавно обнаруженный коптский комментарий подчеркивает разницу между сельскохозяйственным угодьем и виноградником Ис 5,1 — он не стареет и плодоносит не раз в год, а ежедневно, см.: P. D e v o s, *Une histoire de Joseph le Patriarche dans une oeuvre courte sur le Chant de la Vigne*, «Analecta Bollandiana», 94, Bruxelles, 1976, стр. 146—147.

<sup>15</sup> H. J u n k e r, *Die literarische Art von Is 5,1—7*, «Biblica», 40, Roma, 1949, стр. 259—266; T. de O r b i s o, *El Cántico à la viña del amado*, «Estudios Eclesiásticos», 34, Madrid, 1960, стр. 715—731; D. L y s, *La vigne et le double je. Exercice de style sur Esaie 5,1—7*, «Vetus Testamentum», Suppl. XXVI, Leyden, 1974, стр. 1—16.

<sup>16</sup> «Hebräisch-deutsche Präparation zu Jesaja», hg. von R.-F. Edel, Marburg, 1964, стр. 10.

<sup>17</sup> M. D e l c o r, *De l'origine de quelques termes relatifs au vin en hébreu biblique et dans les langues voisines*, «Actes du I Congrès International de linguistique sémitique et chamito-sémitique», The Hague, 1974, стр. 231—233.

<sup>18</sup> M. D e l c o r, указ. соч., стр. 224—227; A. v a n S e l m s, *The etymology of yayin «wine»*, «Journal of Northwest semitic languages», 3, Leyden, 1974, стр. 76—84; G. N e u m a n n, *Das Zeichen vinum in den ägäischen Schriften*, «Kadmos», 16, Berlin — New York, 1977, стр. 124—130.

<sup>19</sup> Об иудейско-христианском символизме высоты см.: М. Ф. М у р ь я н о в, *Статья Тита Вострского*, сб. «Изборник 1073 г.», М., 1977.

<sup>20</sup> «Lexikon der christlichen Ikonographie», 4, Freiburg, 1972, стр. 487. В Вульгате Ис 5, 1: *Vinea facta est dilecto meo in cornu filio olei*; Иерониму был известен вариант *in cornu in medio olivarum*: J. Z i e g l e r, *Textkritische Notizen zu den jüngeren griechischen Übersetzungen des Buches Isaias*, Göttingen, 1939, стр. 79.

Найден ключ к этой расшифровке, им является замечание Феодорита, сводящееся к тому, что *рогъ* в Ис 5,1 не есть понятие геометрическое, а имеет размерность с и л ы: *бѣѡѡ ѡбо сила виноград изведеѡ землѣ египетѣскѡѡ, и всади их на мѣсти блазѣ*<sup>21</sup>. Этими словами псалма 79,9 Феодорит объясняет возвращение иудейского народа из египетского плена (XIII в. до н. э.), т. е. он видит в *рогъ* д в и ж у щ у ю с и л у и с т о р и и, как можно было бы выразить эту мысль на современном русском литературном языке; дефиницию с и л ы в таком выражении философия истории нам не дает, она усматривает здесь переносное словоупотребление<sup>22</sup>, при этом подразумевадается, что прямое значение слова с и л а относится к компетенции физики. Физика, однако, тоже отказалась от попыток определить, что такое с и л а<sup>23</sup>, поэтому нельзя требовать невозможного от Феодорита и его предшественников. Их мышление искало в с и л е некую осязаемость — и нашло ее в объединении понятий с и л а и р о г ж и в о т н о г о, объединении, которое совершилось на более древней стадии культуры, нежели письменность. Древние греки верили, что если зерно соприкоснется с рогом быка, то оно становится таким жестким, что его невозможно разварить<sup>24</sup>. Рога были атрибутом силы у месопотамских божеств<sup>25</sup>. В иврите *keren* (ср. *karnu* в клинописи Эль-Амарны, угарит. *qrn*) имеет значения предметное — «рог животного» и абстрактное — «сила», даже «излучение». В греч. *κέρας* значение «сила» развилось под влиянием Септуагинты, передавшей этим словом *keren* масоретского оригинала<sup>26</sup>, из Пс 17,3 и заимствован *κέρας σωτηρίας* в Лк 1,69<sup>27</sup>.

Соответственно абстрактному значению *κέρας* «сила» связанный в Лк 1,69 с этим именем глагол необычен, никогда в таком словосочетании ранее не употреблявшийся. Семантически *ἐγείρω* означало прежде всего «пробуждать от сна», «возбуждать, зажигать», «воскрешать из мертвых» (ср. санскр. *jāgāra*, авест. *ja-gara* «я бодрствую»)<sup>28</sup>. Значение пространственной направленности вверх вторично, оно развилось в *ἐγείρω* под воздействием антитезы *спящий лежит — бодрствующий стоит*, а затем распространилось на случаи, когда речь идет о неодушевленном предмете — статуе, столбе, здании<sup>29</sup>. В Лк 1,69 *ἐγείρω* пространственной ориентированностью не обладает. Бог направляет историю, он делает так, что события «наступают», его волей факты из спячки небытия оживают, пре-

<sup>21</sup> Н. К. Никольский, указ. соч., стр. 43.

<sup>22</sup> «Словарь современного русского литературного языка», 13, М.—Л., 1962.

<sup>23</sup> М. Бунге, *Философия физики*, М., 1975, стр. 27. Еще Ф. Энгельс указывал: «... прибегая к понятию силы, мы этим выражаем не наше знание, а *недостаточность* нашего знания о природе закона и о способе его действия. В этом смысле, в виде краткого выражения еще не познанной причиной связи, в виде уловки языка слово „сила“ может допускаться в повседневном обиходе», но «... в любой области естествознания, даже в механике, делают шаг вперед каждый раз, когда где-нибудь избавляются от слова *сила*» (К. Маркс и Ф. Энгельс, *Собр. соч.*, 20, стр. 403, 473).

<sup>24</sup> Theophrastus. *De causis plantarum* 4.12.13.

<sup>25</sup> R. Boehmer, *Die Entwicklung der Hörnerkrone von ihren Anfängen bis zum Ende der Akkad-Zeit*, «Berliner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte», 7, 1967; T. Soluman, *Die Entstehung und Entwicklung der Götterwaffen im alten Mesopotamien*, Bonn, 1968.

<sup>26</sup> Pseudo-Philon. *Les antiquités bibliques*, t. 2. p. p. Ch. Perrot et P.-M. Bogaert, Paris, 1976, стр. 217.

<sup>27</sup> Ср.: D. de Chapeaurouge, *Die Rettung der Seele. Genesis eines mittelalterlichen Bildthemas*, «Wallraf-Richartz-Jahrbuch», 35, Köln, 1973.

<sup>28</sup> P. Chantraine, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, 2, Paris, 1970, стр. 309—310.

<sup>29</sup> A. Oepke, *ἐγείρω*, «Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament», 2, Stuttgart, 1935, стр. 332—337.

вращаются в жизненную реальность — вот что хотел сказать Лука<sup>30</sup>. Глагол *въздвигнѣти*, употребленный здесь славянским переводчиком, имеет исходное значение «движения в пространстве». Значениями «пробуждать», «воскрешать» глагол *въздвигнѣти* тоже обладает, но они, в отличие от того, что есть в *ἐγείρω*, являются вторичными<sup>31</sup>. Такая разница в семантических акцентах глагола должна была дать разницу в смысле всего словосочетания: можно предположить, что словосочетание *въздвигнѣти рогъ съпасени А* вызывало в воображении конкретный движущийся предмет<sup>32</sup>, символ — то, что не было обязательным в представлениях византийца, читающего греческий оригинал Лк 1, 69, говоривший ему скорее о такой абстракции, как «божественный план спасения рода человеческого». В этом отношении славянский перевод близок к Вульгате, где выражение *erexit cornu salutis* содержит глагол, имеющий главное значение «поднимать», «придавать вертикальное положение», «вести вверх», а также к др.-в.-нем. *arrihta horn heili*<sup>33</sup>. В сирийско-армянском «Диатессароне» Ефрема Низибийского (ум. 373) передается содержание Лк 1,69 — без буквализма, но вполне правильно: *Il nous a suscité une puissance de vie dans la maison de David son fils*<sup>34</sup>.

И. Огиенко (митрополит Иларион, автор перевода Библии на украинский язык) отмечал: иногда др.-евр. *keren* имеет значение «нечто вроде луча», *manchmal bedeutet Horn auch soviel wie Strahl*, что привело к расхождениям — например, в переводе Авв 3,4. В русском синодальном тексте: *от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы*; в церковнославянском: *рози въ рѣкахъ его*; в оригинале: *karnajim mij-jādō lō*<sup>35</sup>. Для уяснения существа этой семантической трудности целесообразно переключить воображение на Исх 34,29, где повествуется о таинственном преображении лица Моисея на горе Синай. *Лице его стало сиять лучами*, в Острожской Библии (1581) — *прославис А обличје плоти лица его* (здесь *слава* = «сияние», как в иконописи). В Коломенской Палее (1406) даны пояснения: *и не въѣд Аше моиси· како прославилъс А бѣ· обличикъ плоти лица его· когда бо глѣше бѣ къ моистю· тѣ и прослави плоть лица его*<sup>36</sup>. Дополнительные подробности находим в старшем списке Исторической Палеи (1440-е годы — Библиотека им. Лецина, фонд 247, № 253)<sup>37</sup>: *просѣтис А лице моисеоваче слнца· и не можаах зрѣти снове илеви на лице его* (л. 57 об.); *зане же не можаах зрѣти на лице моисеово· видѣх некадоущаго· и пост А щазос А· како юудее кадша, а моиси пощъс А· и просѣтис А лице его* (л. 57 об. — 58). Эти подробности, коих нет в Библии, выдают в авторе Исторической Палеи отличного знатока литургии: структура греческого Паримейника предусматривает чтение Исх 34,4—8 на всенощной Преобра-

<sup>30</sup> W. Foerster, *κέρας*, «Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament», 3, Stuttgart, 1938, стр. 669.

<sup>31</sup> «Slovník jazyka staroslověnského», 6, Praha, 1962, стр. 265.

<sup>32</sup> К конкретности образа подталкивал и смысл созданного из праславянского материала неологизма *съпасениж*, в кирилло-мефодиевскую эпоху имевшего живые ассоциации с пастушеским бытом. На этой же семантической основе — сущ. *съпасъ*, его внутренняя форма не имеет ничего общего с греч. σωτήρ, лат. salvator, гот. *nasjands*, др.-в.-нем. *heilant*.

<sup>33</sup> Лк 1,69 по «Диатессарону» Татиана, см.: F. Tschirch, Frühmittelalterliches Deutsch, Halle, 1955, стр. 25.

<sup>34</sup> Ephrem de Nisibe, Commentaire de l'Évangile concordant ou Diatessaron, p. p. L. Leloir, Paris, 1966, стр. 58.

<sup>35</sup> I. Ohjeko, Die Hebraïsmen in der altkirchenslavischen biblischen Sprache, «Münchener Beiträge zur Slavenkunde. Festgabe für P. Diels», München, 1953, стр. 177—178.

<sup>36</sup> Палея Толковая. Труд учеников Н. С. Тихонравова, М., 1896, стлб. 544.

<sup>37</sup> См.: Т. А. Сумникова, К проблеме перевода Исторической Палеи, сб. «Изучение русского языка и источниковедение», М., 1959, стр. 31.

жения, сюжетные мотивы которого легко экстраполируются на Исх 34,29 — стих, в Паримейник не входящий<sup>38</sup>. Заметим, однако, что в Вульгате этот стих сообщает нечто иное: *videbant faciem Moysi esse cornutam*, букв. «видели, что лик Моисея был рогатым». Могучая мраморная фигура Моисея, изваянная Микеланджело (1516), изображает его рогатым, следуя иконографической традиции, которая сейчас прослеживается до середины XII в. Фра Анжелико и Рафаэль заменили Моисею рога двумя пучками лучей<sup>39</sup>. Но К. Ярош установил, что хотя вавилонский Талмуд, комментируя Исх 34,29, говорит о *лучах*, у Моисея были все-таки *рога* — приближаясь к божеству, он надел рогатую маску, чтобы «уподобиться» ему, как того требовали архаические представления о правилах безопасного общения жреца с жуткими сверхъестественными силами<sup>40</sup>. Мифейные поэты обошли трудность: в каноне Моисею пророк *каменью покрывъ сѧ*<sup>41</sup>, во втором каноне Преображению он *яко камъньмъ тѣломъ покрывъ сѧ*<sup>42</sup>, *ως πέτρα τῆ σωματι σκαπέδεις*<sup>43</sup>. Этим выражена нестигаемость человеческого характера — как в Ис 50,7 (*положихъ лице свое аки твердый камень*) и в апокрифическом Послании Варнавы (I в.), где *каменным* названо лицо Христа<sup>44</sup>. Без этого текста вряд ли можно понять тропарь в каноне Преображению, написанном Иоанном Дамаскиным: *Жслышавъше вѣдоко изъ оца съвѣдѣтельствоуема и яко члвческаго тврѣдѣтиша обличѣя (стерѣотерау ѡфѣоу) зърѣти лица твоего блистанѣя не трѣплице оученици ти на землю падахоу* (Минея XI/XII в. ЦГАДА, № 125, л. 1 об. — 2).

Теперь посмотрим, чем располагали первые славянские переводчики библейских и литургических текстов, чтобы выразить на своем языке эти достаточно сложные понятия, что представляло собой слово *рогъ*, почему-то находящееся вне гнезда *keren*, *κέρας*, *cornu*<sup>45</sup>. По А. Мейе, слова *рогъ* не было в общеиндоевропейской лексике, оно возникло в контактной славяно-балтийской зоне как одно из новшеств: слав. *рогъ*, литов. *rāgas*<sup>46</sup>. Хронологии А. Мейе не дал, но В. Кипарский относит *рогъ* — *rāgas* к группе слов, имеющих возраст по меньшей мере 2500 лет<sup>47</sup>. Действительно ли рождение слова *рогъ* должно быть приурочено к этим условиям, остается недоказанным предположением, ср. замечание Э. Бенвениста по более общему поводу: «В лексике индоевропейского хозяйства, которое было хозяйством пастушеским, есть главный термин, \**ресу-* „скот“, засвидетельствованный тремя большими диалектными зонами — индо-иранской, итальянской, германской... Мы оставляем в стороне балтийские формы, которые подозреваются в том, что они заимствованы из германского или из какого-то другого западного языка»<sup>48</sup>. Видимо, «пред-

<sup>38</sup> A. Rahlfs, Die alttestamentlichen Lektionen der griechischen Kirche, «Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-hist. Klasse», 1915, Hf. 1, стр. 51, 128.

<sup>39</sup> R. Mellinkoff, The Horned Moses in medieval art and thought, Berkeley, 1971.

<sup>40</sup> К. Јагоš, Des Moses «strahlende Haut». Eine Notiz zu Ex 34, 29, 30, 35, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft», 88, Berlin — New York, 1976, стр. 275—280. Ср.: К. Керényi, Mensch und Maske, «Eranos-Jahrbuch», 16, Zürich, 1948.

<sup>41</sup> И. В. Ягич, указ. соч., стр. 040.

<sup>42</sup> Второй тропарь первой песни, утраченной в древнейшей славянской рукописи Минея за август (ЦГАДА, ф. 381, № 125).

<sup>43</sup> Минея XI в. Иерусалимской патриаршей библиотеки, № 71, л. 112.

<sup>44</sup> «Neutestamentliche Apokryphen», hrsg. von E. Hennecke, Tübingen, 1924, стр. 508; В. Алтанер, Patrologie, Freiburg, 1966, стр. 53.

<sup>45</sup> В. М. Иллич-Свитыч, Опыт сравнения ностратических языков, М., 1971, стр. 350—351.

<sup>46</sup> А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 404.

<sup>47</sup> V. Kiparsky, Russische historische Grammatik, 3, Heidelberg, 1975, стр. 40.

<sup>48</sup> E. Benveniste, Les valeurs économiques dans le vocabulaire indo-européen, сб. «Indo-European and Indo-Europeans», Philadelphia, 1970, стр. 307, 320.

стоит еще проделать огромную работу по изучению того, какие именно балтийские факты в состоянии прояснить темные элементы славянской лексики слово- и формообразования и — наоборот»<sup>49</sup>. Инструмент для такой работы теперь имеется — это словари литовского языка. С их помощью вскрываются реальные признаки архаичности литов. *rāgas* «рог» — наличие таких производных как *rāganauti* «колдовать», *ragānius* или *regys* «заклинатель; ясновидец»; *rāgana* «ведьма», на другой ступени аблаута — *regėti* «видеть»<sup>50</sup>; последнее, возможно, находится в генетическом родстве с гомеровским сравнением *roga* с глазом, которое выражает жесткость, неподвижность взгляда («Одиссея», 19, 211).

Но все же — зачем славянам вдруг понадобилось в первые века н. э. новое слово для обозначения не подверженного изменениям предмета, почему *rogъ* вытеснил своего праславянского предшественника, все родные братья которого по ностратической семье живы, какая сила осуществила это переименование? Ведь *rogy* принадлежало ключевое положение в культовой символике народов Евразии, что прослеживается на археологическом материале всех тысячелетий человеческой культуры, начиная с палеолита<sup>51</sup>. Когда начались славяно-литовские контакты, то ничего нового в этом отношении возникнуть уже не могло, тем более что метаморфозами культовых отправлений эти контакты, кажется, не сопровождались. А если бы и сопровождались, то, как показывает германская историческая параллель, в переименованиях рога необходимости в связи с этим не возникло, исконное герм. *horn* (этимологически родственное с лат. *cornu*) есть и в языческой рунической надписи на позолоченном роге из Галлехуза<sup>52</sup>, и в готской Библии епископа Вульфилы. Правда, разница между германской и славянской ситуациями по интересующему нас признаку все же есть. После того как в IV в. Вульфила вписал варварское *haur̥n* в священный текст Лк 1,69, в IX в. немецкие переводчики Вульгаты были вправе употреблять в этом же стихе *horn*; слово, однажды став сакральным, в рамках этой же религии им и останется. Когда создавалось славянское Евангелие, Кириллу и Мефодию пришлось считаться с новым обстоятельством: теперь, в отличие от времен Вульфилы, существовала христианская демонология<sup>53</sup> и высокоразвитая система церковной живописи. *Rogъ съпасениа* и нарост на голове антропоморфного демона<sup>54</sup> — такая поляризация семантемы между мирами горным и преисподним создавала потребность в двух, различающихся словах. Древнейшее слово, вероятно, стало атрибутом демонов, подпало под действие табу и вследствие этого исчезло из языка, а для библеизма *хѣрас* было принято новое слово. Со временем забвение табуированного слова привело к тому, что нарост на голове демона тоже стал называться *рогом*.

По В. И. Далю (IV, 99), который, как известно, был не только великим лексикологом, но и авторитетным врачом, еще в XIX в. в народной медицине существовало понятие «пускать подрожечную кровь». При этом подразумевалась кровь подкожная; иначе говоря, в более или менее сгершемся языковом сознании этого факта кожа была своего рода роговой обо-

<sup>49</sup> О. Н. Трубачев, Славянские и балтийские этимологии, сб. «Этимология 1975», М., 1977, стр. 4.

<sup>50</sup> A. K u r s c h a t, Litauisch-deutsches Wörterbuch. Thesaurus Linguae Lituanicae, 3, Göttingen, 1972, стр. 2048—2071; E. F r a e n k e l, Litauisches etymologisches Wörterbuch, 9, Lfg., Heidelberg — Göttingen, 1959, стр. 684.

<sup>51</sup> M. L u r k e r, Zur Symbolbedeutung von Horn und Geweih, «Symbolon», 2, Köln, 1975, стр. 83—104.

<sup>52</sup> W. K r a u s e, Die Runeninschriften im älteren Futhark, Göttingen, 1966.

<sup>53</sup> D. W a l z e l, Sources of medieval demonology, «Rice University studies», 60, Houston, 1974.

<sup>54</sup> «Lexikon der christlichen Ikonographie», 4, Freiburg, 1972, стр. 297.

лочкой, что, между прочим, является одним из бесчисленных примеров поразительной меткости народного языка, биологическая сущность кожного покрова схвачена этим выражением очень верно. «Ороговение кожи» — корректный термин современной науки, но уже Иоанн ексарх Болгарский знал, что можно обобщить *ногъть же и рогъ и власть и съвоузь и ино еже подобно к тому* (Срезневский III, 665).

В германском героическом эпосе, переживавшем в V—VI вв. свою творческую юность, Зигфрид искупался в крови дракона, отчего его тело покрылось «роговой оболочкой» — магической, а потому незаметной, неосязаемой. Перечисляя параллели к этому мотиву магической неуязвимости, В. М. Жирмунский назвал пята Ахилла, славянские аналогии в этом перечислении отсутствуют<sup>55</sup> — их нет, на осведомленность В. М. Жирмунского в мировом фольклоре можно положиться. Заметим, что ахиллесовой пяты нет у Гомера, ее первое упоминание зафиксировано лишь в I в. н. э., у римского поэта П. Папиния Стация. «Fabulae» Псевдо-Гигина (II в. н. э.) поясняют: переида Тетис окунула младенца Ахилла в воды Стикса, держа его за пятку<sup>56</sup>.

Такова поэтическая фантазия. Но и из реальной истории древнейшего воинского доспеха известны некоторые факты, имеющие прямое отношение к мотиву роговой оболочки. В I в. н. э. в Северном Причерноморье мигрировали роксоланы (Roxolani, Ρωξολανοί — самоназвание этого ираноязычного племени), Страбон и Гипсикрат отметили, что их доспех представляет собой шлем и панцирь из толстой воловьей кожи<sup>57</sup>. Для сарматской эпохи в Восточной Европе, продолжавшейся от последних веков до н. э. и до конца IV в. н. э., характерен панцирь из чешуек, нарезанных из рогов или концы и прикрепленных к полотняной подкладке, этот доспех описали Павсаний и Аммиан Маркеллин<sup>58</sup>. В VII—III вв. до н. э. обитателями Северного Причерноморья были скифы, их твердые кожаные панцири имели такое качество выделки материала, что оно «отвечало даже высоким требованиям современного стандарта»<sup>59</sup>. В древней Месопотамии кожаные панцири делались не только для всадников, но и для их коней, такой доспех назывался *sariam*, это слово считается заимствованием из хурритского языка<sup>60</sup>, но, кажется, неплохо вписывается в гнездо слов, обозначающих понятие *рог*. С точки зрения истории доспеха было бы заманчиво связать этимологически месопотамское *sariam* и германское название панциря — др.-в.-нем. *saro* (ср. гот. *sarwa* = *блѣа, ꙗволꙗ*) в «Песни о Гильдебранде» на архаический сюжет о смертном бое между отцом и сыном<sup>61</sup>: «Sunufatarungo iro saro riltun» «Сын и отец свои панцири оправили».

Какими специфически славянскими чертами можно дополнить общую картину? Археолог А. Н. Кирпичников, специализировавшийся по этой

<sup>55</sup> В. М. Жирмунский, Примечания редактора, в кн.: А. Хойслер, Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах, М., 1960, стр. 405.

<sup>56</sup> «Der kleine Pauly», 1. Lfg., Stuttgart, 1961, стр. 47.

<sup>57</sup> Paulus-Wissowa, Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft, Supplementbd. VII, Stuttgart, 1940, стр. 1196.

<sup>58</sup> А. М. Хазанов, Очерки военного дела сарматов, М., 1971, стр. 58.

<sup>59</sup> Е. В. Черненко, Скифский доспех, Киев, 1968, стр. 13—54.

<sup>60</sup> A. Salonen, Hippologica Accadica, Helsinki, 1955, стр. 146—149; E. Salonen, Die Waffen der alten Mesopotamier. Eine lexikalische und kulturgeschichtliche Untersuchung, Helsinki, 1965, стр. 105—106.

<sup>61</sup> Словарь Ю. Покорного (I, 911) возводит *saro* к и.-е. *ser-* «присоединять одно к другому в ряд, завязывать в узелки», ср. лат. *lorica sarta* «кольчуга». Об исторических взаимосвязях «Песни о Гильдебранде» (рукопись IX в.) см.: W. Hoffmann, Das Hildebrandslied und die indogermanischen Vater-Sohn-Kampf-Dichtungen, «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», 92, Tübingen, 1970, стр. 26—42; S. Gutenbrunn, Von Hildebrand und Hadubrand, Lied — Sage — Mythos, Heidelberg, 1976.

проблематике, начинается изложение с византийских свидетельств VI в., согласно которым тогдашние славяне «даже не знали, что такое настоящее оружие, за исключением двух или трех дротиков»: «вступая в битву, большинство из них идет на врага со щитами дротиками в руках, панцирей же никогда не надевают; за этим следует в 805 г. запрещение Карла Великого продавать славянам панцири, *brunjas*<sup>62</sup> — как раз из этого франкского слова и произошла праслав. *brъn'a* «броня»<sup>63</sup>. Лишь в IX—X вв. на Руси произошел такой сдвиг в развитии орудий войны, который «можно назвать технической революцией»<sup>64</sup>, основанной на собственном производстве.

«Корень слова *оржжик* восходит к \**rong-*, который в виде *ръгам* „ударить чем-либо острым“, если это не от *rogъ*, дошло до нас в болгарском языке»<sup>65</sup>. Если следовать такой этимологии, то *оржжик* (вариант: *орожье* — Минея XI/XII вв., ЦГАДА, фонд 381, № 99, л. 84 об., *оржил* — № 125, л. 61) по первоначальному смыслу слова — это ороговение или его результат, т. е. роговая оболочка, оборонительный доспех, то ли реальный, наподобие скифского, то ли магический, как у Зигфрида и Ахилла. Отсюда — грамматическая точность предложного управления в выражении *обълъченоу быти въ ороужик* (Изборник 1076 г., 106 об., 13—107,1). Быть может, далеким рефлексом этой архаической семантики, забытой к началу славянской письменности, являются эпическое отчество новгородца, упомянутого в Лаврентьевской летописи под 1097 г.: *Гюратъ Роговичъ*, или былинная гипербола в записи под 1000 г. в Никоновской летописи: *Того же лѣта преставися Рагдай Удалой, яко навъзжаше сей на трписта воинъ, и плакася о немъ Володимерь*<sup>66</sup>. С другой стороны, возможно, что имя *Рогдая* произошло от *рога* в значении «горн», которому героический эпос отводил важную роль:

Rollant ad mis l'olifan a sa bouche,  
Empoint le ben, par grant vertut le sunet.  
Halt sunt li pui et la voiz est mult lunge,  
Granz trente liwes l'oïrent il respundre.  
Свой Олифан Роланд руками стиснул  
Поднес ко рту и затрубил с усилием.  
Высоки горы, звонок воздух чистый  
Протяжный звук разнесся миль за тридцать.

(Песнь о Роланде, стихи 1753—1756)

Этимологизируя *блѣоу* «доспех», Я. Фриск отметил «формально близкую связь» этого слова с *блѣгъ* «копыто», которая однако «семантически недостаточно обоснована»<sup>67</sup>. Э. Бенвенист указывает на слово *Ῥαλγῆτες*, которое засвидетельствовано с V в. до н. э. как исконное, восходящее к индоевропейской эпохе название одной из четырех фил ионийского общества, предположительно ремесленников<sup>68</sup>; П. Шантрен больше склоняется к тому, что это не ремесленники, а воины, но считает помехой та-

<sup>62</sup> А. Н. Кирпичников, Древнерусское оружие, 3. Доспех, комплекс боевых средств IX—XIII вв., Л., 1971, стр. 11, 70—71.

<sup>63</sup> «Этимологический словарь славянских языков», под ред. О. Н. Трубачева, 3, М., 1976, стр. 55.

<sup>64</sup> А. Н. Кирпичников, указ. соч., стр. 71.

<sup>65</sup> А. С. Львов, Лексика «Повести временных лет», М., 1975, стр. 290.

<sup>66</sup> Ср. данные о словообразовательной роли герм. *horn* «рог» в личных именах: G. Gillespie, A catalogue of persons named in German heroic literature (700—1600), Oxford, 1973.

<sup>67</sup> H. J. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, 15. Lfg., Heidelberg, 1965, стр. 404.

<sup>68</sup> E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, I, Paris, 1969, стр. 290—291.

кому отождествлению то, что рукописи содержат написание  $\delta\lambda\lambda\tau\alpha\iota$ <sup>69</sup>. Противоречия снимутся, если предположить, что доспех ( $\delta\beta\lambda\omicron\nu$  — слово, обозначавшее большой круглый щит, употреблявшийся в греческом войске с 700 г. до н. э., а у фиванцев — нагрудник панциря<sup>70</sup>) изготовлялся из «копытного», т. е. рогового вещества, как это имело место позже у сарматов. « $\omicron\beta\lambda\omicron\nu$  — обобщающее слово<sup>71</sup>».

Если в письменную эпоху можно было выразиться по-славянски, что животные *кстаствомъ въ оржжю мѣсто рогы имоуть* (Толкование Феодорита Киррского на Пс 43,6 в древнеболгарском переводе)<sup>72</sup>, то какой смысл вкладывали в понятие *оржжю* как «воинское снаряжение»? Словарь Чехословацкой АН дает следующий ряд соответствий: *оржжю* —  $\mu\acute{\alpha}\chi\alpha\iota\rho\alpha$ ,  $\delta\beta\lambda\omicron\nu$ ,  $\rho\omicron\mu\phi\alpha\iota\alpha$ ,  $\xi\iota\phi\omicron\varsigma$ ; *gladius, ensis, arma, lancea, framea, hasta*<sup>73</sup>. Выдвинутое на первый план сообразуется с наблюдением И. В. Ягича, писавшего, что вначале через *оржжю* передается мн. число от  $\mu\acute{\alpha}\chi\alpha\iota\rho\alpha$ , причем в этой функции оно менее точно, нежели *меч* или *ножь*; впоследствии это различие не ощущалось<sup>74</sup>.

В классическом греческом языке  $\mu\acute{\alpha}\chi\alpha\iota\rho\alpha$  (< $\mu\acute{\alpha}\chi\omicron\mu\alpha\iota$  «бороться, сражаться, биться») имело основное значение «нож» — для жертвоприношений, обычного заклания, охоты, кухни, ремесленных занятий, даже бритья. Начиная с Геродота появляется воинское значение — «малый меч» (в отличие от большого,  $\rho\omicron\mu\phi\alpha\iota\alpha$ ), «кинжал». В словаре Септуагинты  $\mu\acute{\alpha}\chi\alpha\iota\rho\alpha$  встречается более 180 раз и почти никогда не значит «нож», а почти всегда — «кинжал, малый меч». В греческом языке Нового завета  $\mu\acute{\alpha}\chi\alpha\iota\rho\alpha$  — тоже «кинжал; меч»<sup>75</sup> (в повествованиях о взятии Христа под стражу — *народъ многъ съ оржжи·и др'кол'ми*, Мф 26,47), но на первый план выдвигаются образные значения — Мф 10,34; Еф 6,17; Евр 4,12. Наибольшее внимание отцов церкви привлекал стих Лк 22,38, положивший начало средневековой теории соотношения государственной и церковной власти (Zweischwertertheorie). Его комментировали Тит Бострский и Кирилл Александрийский, над ним размышляли отцы-пустынники Синайского патерика<sup>76</sup>. Однако здесь, как и во всех перечисленных местах Нового завета (кроме Мф 26,47),  $\mu\acute{\alpha}\chi\alpha\iota\rho\alpha$  передано в славянских текстах не через *оржжю*, что нужно учесть как поправку к семантическим акцентам, расставленным И. В. Ягичем. В сфере значений слова *оржжю* уже в первые века письменности важнейшая роль принадлежала — как и поныне! — значению обобщающему, абстрагированному<sup>77</sup>, которое могло быть как положительным — если, например, в каноне св. Дометию говорилось, что он *силою бжиею оуруживъ сѧ* (Минея XI/XII в., ЦГАДА, № 125, л. 9), так и отрицательным — если в каноне Усекновению главы Иоанна Предтечи сказано, что погубивший его Ирод *злымъ же пльнствомъ въоруживъ сѧ* (там же, л. 107 об.). В объяснение ветхозаветного *меч пожрет вас*,  $\mu\acute{\alpha}\chi\alpha\iota\rho\alpha$   $\delta\mu\acute{\alpha}\varsigma$   $\kappa\alpha\tau\acute{\epsilon}\delta\epsilon\tau\alpha\iota$  (Ис 1.20) Юстин Философ дал в «Апологии» (152—154) образ, показывающий семантические возможности этого слова:  $\eta$   $\mu\acute{\alpha}\chi\alpha\iota\rho\alpha$   $\tau\omicron\upsilon$   $\theta\epsilon\omicron\upsilon$   $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$   $\tau\omicron$   $\pi\upsilon\rho$  «меч Божий есть пламя»<sup>78</sup>.

<sup>69</sup> P. Chantraine, указ. соч., 3 (1974), стр. 809.

<sup>70</sup> P. Cartledge *Hoplites and heroes; Sparta's contribution to the technique of ancient warfare*, «The Journal of Hellenic studies», 97, London, 1977, стр. 12—13.

<sup>71</sup> P. Chantraine, указ. соч., 3, стр. 809.

<sup>72</sup> В. Погорелов, Чудовская Псалтырь XI века, СПб., 1910, стр. 25.

<sup>73</sup> «Slovník jazyka staroslověnského», 23 (1972), стр. 556—557.

<sup>74</sup> V. Jagič, Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache, Berlin, 1913, стр. 373.

<sup>75</sup> «Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament», 4 (1942), стр. 530.

<sup>76</sup> «Синайский патерик», под ред. С. И. Коткова, М., 1967, стр. 90—91.

<sup>77</sup> Ср. у Пушкина: «Мятежники защищались отчаянно, но принуждены были уступить силе правильного оружия» («История Пугачева»).

<sup>78</sup> «Die ältesten Apologeten», hg. von E. Goodspeed, Göttingen, 1914, стр. 57.

Особняком стоит значение *оржжик* = *ѡрма*, букв. «колесница»: словари не объясняют, почему переосмысление могло зайти так далеко. Речь идет прежде всего о контексте Исх 15,1—21. Этим стихам отведено важнейшее место в византийском богослужении и дворцовом церемониале, хор прославлял ими победу императорского войска во время триумфов<sup>79</sup>; они же поставлены во главу схемы многих канонов служебной Минеи, являясь тематической основой соответствующих ирмосов, например: 'Αρματῆλάτην Φαραὼ ἐβόηθις, τερατουργοῦσα ποτέ, Μωσαϊκῆ ῥάβδος σταυροτύπως πλῆξασα, καὶ διελούσα θάλασσαν. Ἰσραὴλ δὲ φυγάδα, πεδὸν ὁδίτην διέσωσεν, ἄσμα τῷ θεῷ ἀναμέλλοντα. В новгородском списке XII в. этот ирмос читается так: *Въоружена фараона погроузи чюдотвори древле·моуискии жьзль крѣстообразно прорази· и раздѣли же море·избраила же бѣжаша· пѣша ходища съпасе·пѣсны богови въсылаюу*<sup>80</sup>. В примечании Э. Кошмидер указывает, что в печатной редакции Ирмология зачало переведено лучше: *колесницегонителѣ фараона...* Но уже в Минее 1096 г. есть этот вариант, данный только как зачало: *колесницѣ*<sup>81</sup>; слово не; дописано, что является обычным приемом сокращения в старших рукописях Минеи.

Славянским переводчикам реалия «колесницы фараона» (*оржжик* фараоне, *ѡрма* Φαραὼ<sup>82</sup>) причиняла немало затруднений. Сейчас мы знаем, что египетская колесница представляла собой запряженную парой жеребцов легкую двуколку, в которой стояли боец с луком и копьями и возница<sup>83</sup>, но по книгам того времени это установить было невозможно, колесничное войско было легендарным прошлым даже для античной Греции, уже тогда само понятие колесницы принадлежало мифологии<sup>84</sup>. Когда в IV в. зарождающаяся христианская живопись поставила себе задачу изобразить Исх 15,1—21, то фараон оказался на мощной квадриге римского образца<sup>85</sup>, византийские миниатюры, современные Кириллу и Мефодию, вообще избегали изображения этих подробностей<sup>86</sup>. Из византийских текстов можно было извлечь только то, что *ѡрма* означает не только колесницу, но и — под явным влиянием созвучного лат. *арма* — щит (у Анастасия Синаита), войско (у Иоанна Малалы), вооружение (у Феофана Исповедника), даже монашеское одеяние (у Пахомия)<sup>87</sup>. Не приходится удивляться, что в старославянских текстах там, где должна быть колесница, встречается также *арма*, *арама*, *ѡжденик*, *кола* (мн. ч.).

Максимум абстрагированности понятия *оржжик* имеет место в тех случаях, когда это слово применялось к главному символу христианства — кресту: *выхваляемъ въсѣгда· образъ крѣста твоѣго· жегоже*

<sup>79</sup> K. W e s s e l, *Durchzug durch das Rote Meer*, «Reallexikon zur byzantinischen Kunst», 9. Lfg., Stuttgart, 1967, стлб. 1—9.

<sup>80</sup> E. K o s c h m i e d e r, указ. соч., стр. 250—252. Фараоном средневековые авторы образно называли несправедливого преследователя христиан (ср. в стихире мученику Андрею Стратилату: *съ врагомъ сълетъ сѣ и сего раздроишиль еси· яко друаго фараона· течениемъ крѣви твоѣиъ· погроузиль еси вся воля достославьне* — Минея ЦГАДА № 125, л. 59 об.), отсюда и переносное значение этого слова в русском языке XIX—XX вв. — ироническое название полицейского.

<sup>81</sup> И. В. Я г и ч, указ. изд., стр. 191. Ср. разночтения в ст.-слав. тексте Пс 19,8 — *въ оржжыхъ* — на колесницахъ: «Psalterium Bononiense», ed. V. Jagič, Wien, 1907, стр. 86.

<sup>82</sup> E. K o s c h m i e d e r, указ. изд., стр. 6, 150, 218, 252, 256.

<sup>83</sup> «Культура древнего Египта», М., 1976, стр. 141—142.

<sup>84</sup> J. S m o l i a n, *Vehicula religiosa. Wagen in Mythos, Ritus, Kultus und Mysterium*, «Numen», 10, Amsterdam, 1963; M. C i v i l, *Isme — Dagan and Enlil's Chariot*, «Journal of the American Oriental Society», 88, 1, Baltimore, 1968.

<sup>85</sup> A. F e r r u a, *Le pitture della nuova catacomba di Via Latina, Città del Vaticano*, 1960, стлб. 37, 105.

<sup>86</sup> H. O m o n t, *Miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale*, Paris, 1929, табл. 42.

<sup>87</sup> G. L a m p e, *A patristic Greek lexikon*, Oxford, 1969, стр. 227.

*даль же си намъ на помощь оружик*<sup>88</sup>. При этом обращает на себя внимание случай, когда в XVII в. протопоп Аввакум применил слово *рог* для обозначения оконечностей креста: «Егда Нерон повеле его (апостола Петра. — М. М.) в Риме распяти на такове же кресте, яко на Христове, Петр же не восхоте подобитися Христове смерти, повеле себя вверх ногами поставить. И поворотиша крест: верхним рогом водрузиша в колоду... Широта прекое древо, к нему же прибиты быша рuce. А долгота долгое — и сам разумееш. Высота же и глубина, подножие: высота верхний рог, а глубина нижний рог»<sup>89</sup>. В другой версии этого высказывания Аввакума формулировка иная: «Распинатели же поворотя вверх ногами Петра и в колоду вдолбиша верхний конец креста, по прошению его»<sup>90</sup>. По данным картотеки Словаря XI—XVII вв. Института русского языка АН СССР других случаев такого значения слова *рог* нет. Но можно доказать, что Аввакум точно следовал древнеславянской традиции, сейчас утраченной из-за лакуны в Чудовской Псалтыри XI в. с толкованиями Феодорита Киррского. В греческом тексте его толкований на псалмы 88, 18 и 91, 11 *рогом* называется не только оконечность креста, но и крест в целом<sup>91</sup>.

В «Слове о полку Игореве» есть трудное место, всегда привлекавшее внимание исследователей и как раз имеющее отношение к рассмотренной нами лексике. Смутно угадывается его важная, если не главнейшая роль в полных трагизма строках, описывающих горечь поражения: «*А Игорева храбраго плъку не крѣсити. За нилъ кликну Карна, и Жля поскочи по Руской земли, смагу людемъ мычючи въ пламянъ розѣ. Жены Руския въсплакашась*».

Попробуем представить себе, что может значить *пламенный рог* и в какой связи с ним находится Жля. У специалистов по «Слову о полку Игореве» Жля считается именем нарицательным<sup>92</sup>, связанным с *желя* «скорбь, плач», и «речь идет о том, что из огненных труб метали жар на людей»<sup>93</sup>; образ как будто навеян военной тайной византийцев — г р е ч е с к и м о г н е м, самовозгорающейся смесью, струями которой греки поливали корабли противника, а материал для создания этого образа «кроется в фольклоре русском и восточном»<sup>94</sup>; впрочем у *рога* эпитет *пламянъ*, «чуждый устной традиции»<sup>95</sup>. По другой версии, *рог* в данном контексте — «сосуд, сделанный из рога животного или подобный ему по форме»<sup>96</sup>.

Убедительность этих смысловых сцеплений не настолько велика, чтобы не возникало желание искать какие-то другие интерпретации — тем более, что *рогъ* не есть «нарост из костного вещества»<sup>97</sup>, а состоит из вещества рогового. Огнестрельное оружие как фактор в художественном мышлении автора «Слова о полку Игореве» тоже не выдерживает критики, прежде

<sup>88</sup> E. Koschmieder, указ. изд., стр. 230.

<sup>89</sup> «Сказания о распрах, происходивших на Керженце из-за Аввакумовых догматических писем», сб. «Материалы для истории раскола», под ред. Н. И. Субботина, 8, М., 1887, стр. 222—223.

<sup>90</sup> «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения», под ред. Н. К. Гудзия, М., 1960, стр. 130.

<sup>91</sup> «Patrologia Graeca», 80, Paris, 1860, стлб. 1584, 1620. Ср.: *Сѣньи въста рогъ болоудрымъ главѣ въмъ крстѣ* (И. В. Ягич, указ. изд., стр. 0125. С. Н. Азбелев, Отрывок славянской служебной Минеи, ТОДРЛ.15, М.—Л., 1958, стр. 435).

<sup>92</sup> В. А. Козырев, Словарный состав «Слова о полку Игореве» и лексика современных русских народных говоров, ТОДРЛ, 31, Л., 1976, стр. 102.

<sup>93</sup> В. П. Андрианова-Перетц, «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII вв., Л., 1968, стр. 117.

<sup>94</sup> Там же, стр. 37.

<sup>95</sup> «Словарь-справочник „Слова о полку Игореве“», 4, Л., 1973, стр. 81—82.

<sup>96</sup> «Словарь-справочник „Слова о полку Игореве“», 5, Л., 1978, стр. 47.

<sup>97</sup> Там же.

всего с точки зрения реальной истории военной техники<sup>98</sup>. Существует «Хроника» Неплаха — латинский текст, написанный около 1360 г., где сообщается, что первые богемские герцоги были язычниками, «habebant enim quoddam ydolum, quod pro deo ipsorum colebant, nomen autem ydoli vocabatur Zelu», т. е. «имели же они некоего идола, которого почитали как божество своего племени, а по имени этот идол назывался Zelu». В свое время Л. Нидерле полагал, что славянская богиня *Zelu* подозрительна, так как засвидетельствована лишь в XIV в., однако после этих сомнений «*Idolatria veterum Prussorum*» (конец XVII в.) дала другое свидетельство — прусско-литовское божество зеленой растительности, имеющее имя *Zelus*. По логике реконструкции, коль скоро оба свидетельства независимы, они взаимно доказывают свою достоверность, и неизбежен вывод, что речь идет о реликтах архаического культа с обширным славяно-балтийским ареалом<sup>99</sup>. Возможно, сюда же вписывается интересующая нас *Жля* [единственный список, благодаря которому известно «Слово о полку Игореве» (его датируют XVI в.), хронологически занимает промежуточное положение между «Хроникой» и «Идолатрией»]. Этимологическая связь *Zelu(s)* с цветообозначением *зеленого* ясна, мена начального согласного может соответствовать смене ипостаси божества, говорить о семантическом сдвиге в другой цвет, *желтый*, имеющий ту же этимологию, но противоположный символический смысл — отрицательный, по ассоциации с пожухлостью, увяданием<sup>100</sup>. Гибель Игоревы полка произошла в мае, сражение началось под знаком молодой зелени, но когда оно стихло — *ничить трава жалоцями, а древо с туюю къ земли преклонилося*. Все выжжено пламенным рогом божества, связанного с солнцем (солнце — слово того же корня, что и цветообозначения *зеленого*, *желтого*). Ср. образ Атхарваеды VIII, 3,25: «Твоими обоими рогами, о Ятаведас (= Агни), которые непреходящи, остры и отточены, проткни врага, мчащееся на тебя чудовище, твоим пламенем»<sup>101</sup>. В этом санскритском заклинании *пламенное оружие* бога огня Агни тоже не поддается рационалистической дефиниции, уяснению конструктивных признаков и принципа действия — четкое понимание здесь и не требовалось по самой специфике жанра<sup>102</sup>. Что славянскому мышлению представления о *пламенном роге* были не чужды, можно видеть по оригинальному памятнику кирилло-мефодиевской эпохи — канону св. Димитрию Солунскому: *всьика рогъ дбрьжавьныи дьмитриа днсь*<sup>103</sup>.

«Слово о полку Игореве» содержит еще одну неясность по нашей теме, в описании последствий поражения, когда пришло время *стонати Руской земли*. Дается странное сочетание воинских реквизитов: *нынѣ стаща стязи Рюриковы, а друзии — Давидовы, нъ розно ся имъ хоботы пашуть. Копиа поють!* Это — канонический текст, но в аппарате отмечено, что в обоих источниках, первопечатном тексте и Екатерининской копии, фи-

<sup>98</sup> Ср.: Th. Fuchs, *Geschichte des europäischen Kriegswesens*, 1, München-Wien, 1972, стр. 232—233.

<sup>99</sup> J. Hanika, *Nomen ydoli vocabatur Zelu*, «Münchener Beiträge zur Slavenkunde. Festgabe für P. Diels», München, 1953, стр. 213—227. Ср.: F. Rapp, *Der alttschechische Götze Zelu*, *ZslPh*, 25, 1956.

<sup>100</sup> Ср.: М. Ф. Мурьянов, К интерпретации старославянских цветообозначений, ВЯ, 1978, 5.

<sup>101</sup> I. Scheffelowitz, *Das Hörnermotiv in den Religionen*, «Archiv für Religionswissenschaft», 15, Leipzig — Berlin, 1912, стр. 457.

<sup>102</sup> Ср.: «Sprache und Sprachverständnis in religiöser Rede», hg. von Th. Michels, A. Pauls, Salzburg — München, 1973.

<sup>103</sup> И. В. Ягич, указ. изд., стр. 189. О славянском происхождении этого памятника: см.: L. Mokry, *Der Kanon zur Ehre des Hl. Demetrius als Quelle für die Frühgeschichte des kirchenslavischen Gesanges*, сб. «Anfänge der slavischen Musik». Bratislava, 1966.

гурирует *рози нося*, теперь исправленное в *розно ся*. Конъектура не встретила возражений, всем нравится получившийся из нее образ врозь развеваящихся стягов, двух ветров на одном поле, напоминающий князьям о вреде междоусобиц. Но если *рози*, мн. ч. от *рогъ*, сейчас, действительно, представляются в этом контексте бессмыслицей, то автору конъектуры нужно было бы доказать, что так было и для современников сторевшего единственного списка «Слова». Между тем, они не считали бессмыслицей, например, упоминание *рога инорога* в пышном, начинавшемся так называемым богословием, царском титуле Ивана Грозного<sup>104</sup>, их не удивляла и крестовоздвиженская стихира, хорошо известная грамотным современникам князя Игоря: *Четвероконьчюу възвышаемоу твоемоу крстоу, хѣ бѣ нашъ и рогъ вѣрнааго съвъзвышаетъ сѧ кнѧзѧ нашего, на томъ вражиемъ съкроушенъмъ рогъмъ*<sup>105</sup>.

<sup>104</sup> Данные картотеки Словаря XI—XVII вв. Института русского языка АН СССР. Вероятно, обоснование этой риторической фигуры было близким к комментарию на Пс 91, 11 в рукописи Гос. исторического музея XV в. (Чудовское собрание 7/1177, л. 225): *И взнесетъ ѧко инорога рогъ мой. Инорога бо сде помянуулъ естъ да единѣмъ рогомъ единого ба оукажетъ ѧко же бо тъ звѣрь единъ рогъ ѿ естъства имать тако же блочтыѧ питомици.единому бжтвоу поклоняютсѧ*. Вместе с тем, здесь могли быть и фольклорные корни, ср.: В. В. Иванов, Русс. *индрик, индер*, «Этимология 1975», М., 1977, стр. 148—153. По замечанию толковника Венской глаголической Псалтыри, *инорог* — это «конец всех таин»: J. H a m m, Psalterium Vindobonense. Der kommentierte glagolitische Psalter, Wien, 1967, стр. 235. Ср.: J. W. E i n h o r n, Spiritalis Unicornis. Das Einhorn als Bedeutungsträger in Literatur und Kunst des Mittelalters, München, 1976.

<sup>105</sup> И. В. Я г и ч, Служебные Миней..., стр. 0121. См. также Стихирарь XII в. БАН СССР, № 34.7.6, л. 14.

БЕЗБОРОДЬКО Н. И.

МОРФОСИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЛАТИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Необходимым условием принятия той или иной синтаксической конструкции является наличие в заимствующем языке соответствующих внутренних тенденций, которым не должна противоречить заимствуемая конструкция.

Латинизмы в медицинской литературе — это признак «интеллектуализации» речи, который кладется в основу любого прагматического стиля. Как фактор развития эта «интеллектуализация» ведет к свободе синтаксиса и лексики, хотя традиционные формально-функциональные ограничения еще остаются.

Латинизация в медицинских книгах абсолютизировалась, превратилась в конструктивный принцип. Стремление употреблять латинский термин вместо русского объясняется тем, что, во-первых, латинский термин — больше знак, чем родное слово, во-вторых, тем, что этого требует в некоторых случаях врачебная этика. Тем не менее такие принципы книжности, как стремление к четкости, достаточности и однозначности выражения, остаются необходимыми для нужд современной научной революции, в частности для медицины. В этой связи следует подчеркнуть, что почти каждое языковое явление, будь то слово или синтаксическая конструкция, может стать находкой или оказаться сорняком, ибо все в конечном счете зависит, по меткому выражению А. С. Пушкина, от «соразмерности и сообразности», от вкуса, языковой культуры говорящего. Это тем более относится к научной прозе, которая в настоящее время стремится к стандартизации синтаксиса. Отличительной чертой последнего является логичность грамматического состава, ибо языковая форма научного стиля подчинена основной цели — логике мысли<sup>1</sup>.

Латинская литературная морфологическая норма, осуществляясь в пределах книжности, непосредственно связывается с эффективностью выражения в конкретном акте речи, в каждом высказывании. Именно в этом, по нашему мнению, заключается причина склоняемости латинских слов в отечественной медицинской литературе. Они изменяются по падежам и числам. Из падежных формантов остались окончания именительного и родительного падежей единственного и множественного числа. Приведем примеры. «В этих частях *tecti*»<sup>2</sup> — «... крыши»; «на уровне *clavae*» (С., стр. 49) — «... булав»; «в области *areae striatae*»<sup>3</sup> — «... полосатого поля»; «расположение *cisternae magnaе*» (С., стр. 292) — «... большой цистерны»; «клетки *substantiae nigrae*» (С., стр. 381) — «... черного вещества»; «поражение нисходящего корешка тройничного нерва и его *substantiae gelatinosae*» (С., стр. 507) — «... студенистого вещества»; «распространяясь на

<sup>1</sup> А. Н. Гвоздев, Очерки по стилистике русского языка, М., 1958, стр. 262.

<sup>2</sup> Е. К. Сепц, М. Б. Цукер, Е. В. Шмидт, Нервные болезни, М., 1950, стр. 142 (далее — С.).

<sup>3</sup> Е. В. Шмидт и др., Справочник невропатолога, М., 1976, стр. 100 (далее — Ш.).

кору *cunei* и *lobuli lingualis*» (С., стр. 140) — «...клина и язычной дольки»; «у верхнего края *pancreatis*»<sup>4</sup> — «...поджелудочной железы»; «мышцы *eminentiae hypothenaris*» (С., стр. 624) — «...возвышения мизинца»; «путем денервации *sinus carotici*» (С., стр. 566) — «...каротидного синуса»; «резко выраженные *impressiones digitatae*» (С., стр. 483) — «...пальцевидные углубления»; «Алкогольные инъекции применяются с успехом в *foramina supraorbitale, infraorbitale, mandibulare, mentale, ovale*» (С., стр. 320) — «...в отверстия надглазничное, подглазничное, нижнечелюстное, психическое и овальное»; «*aa. paramedianae* питают» (С., стр. 156) — «лежащие вблизи срединной линии артерии...»; «*Folliculi lymphatici solitarii* разбросаны по всей тонкой кишке»<sup>5</sup>, — «отдельные лимфатические фолликулы...»; «*haustra coli* заметны изнутри» (Пр., стр. 348) — «гаустры ободочной кишки...». Латинские термины ставятся в родительном падеже, если зависят от глагольной формы с отрицанием, как это характерно для русского языка, например, «не захватывая *intimae* и *adventitiae*» (С., стр. 352) — «...интимы и адвентиции». Приименные словосочетания бывают и предложными, причем латинский термин иногда ставится в падеже, с которым употребляется русский предлог, например, «ремешками из *fasciae latae*» (Ю., стр. 30) — «...из широкой фасции». Изменяемость латинской флексии является традиционной в медицинской литературе. Ср. «сухожильное влагалище двуглавой мышцы (*capitis longi bicipitis*)»<sup>6</sup> — «... (головки длинной двуглавой мышцы)»; «припухлости сухожильных влагалищ *mm. tibialium* и *peroneorum*» (П., I, стр. 67) — «...большеберцовых и малоберцовых мышц»; «в центр *fossae jugularis*» (П., I, стр. 145) — «...яремной ямки»; «поражения *pallidi*» (П., II, стр. 389) — «...бледного шара»; «волокна *splenii capitis*» (П., II, стр. 411) — «...валика головы».

Родительный падеж латинских терминов обычно выполняет функцию несогласованного определения. Он способствует более прочной позиции несогласованного определения, содействует развитию атрибутивных словосочетаний и замещает соответствующие формы русских терминов.

Однако в условиях русской языковой стихии латинская морфологическая форма, преимущественно 3—5 склонений, оказалась неустойчивой, поэтому часто в этих случаях употребляется именительный падеж вместо родительного: «при поражении *radiatio optica* и коркового зрительного центра...» (С., стр. 121) вместо *radiationis opticae* — «...зрительной лучистости...». Здесь *radiatio optica* и *коркового зрительного центра* — однородные члены предложения; «...из волокон *tractus olfactorius*» (С., стр. 132) вместо *tractus olfactorii* — «...обонятельного тракта»; «снижением *libido*» (П., II, стр. 388) вместо *libidinis* — «...влечения»; «над местом прикрепления *m. sterno-cleido-mastoideus* к ключице»<sup>7</sup> вместо *m. sterno-cleido-mastoidei* — «...грудинно-ключично-сосцевидной мышцы...»; «Это ветви *n. vagus* et *tr. sympathicus*» (Пр., стр. 340) вместо *n. vagi* и *tr. sympathici* «...блуждающего нерва и симпатического пути».

По отношению к существительному латинское несогласованное определение может занимать только постпозитивное положение в соответствии с общими принципами употребления атрибута в русском языке: «в области гассерова узла *n. trigemini*» (С., стр. 663) — «...тройничного нерва»;

<sup>4</sup> С. С. Юдин, Этюды желудочной хирургии, М., 1965, стр. 190 (далее — Ю.).

<sup>5</sup> М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович, *Анатомия человека*, Л., 1968, стр. 346 (далее — Пр.).

<sup>6</sup> Н. Пирогов, Начала общей военно-полевой хирургии, ч. I—II, М.—Л., 1941, стр. 67 (далее — П.).

<sup>7</sup> П. Н. Напалков, А. В. Смирнов, М. Г. Шрайбер, *Хирургические болезни*, Л., 1976, стр. 65 (далее — Н.).

«наступает сокращение *tibialis anticus*» (С., стр. 174) — «...передней большеберцовой»; «идущие в составе *radiatio optica*» (С., стр. 140) — «...зрительной лучистости»; «это область *gyrus supramarginalis*» (С., стр. 143) — «...надкраевой извилины».

Особенно часто латинские термины являются приложением как к русским, так и к латинским словам: «Зрительный путь от сетчатки до хиазмы называется зрительным нервом, *n. opticus*, а после перекреста — зрительным трактом, *tractus opticus*» (С., стр. 154); «нужно указать на часто встречающееся незаращение дужек — *spina bifida occulta*» (С., стр. 302) — «... скрытую расщепленную ость»; «перекрест петли *decussatio lemniscorum*» (С., стр. 152) — «...перекрест петли лент»; «переходят через переднюю белую спайку спинного мозга — *commissura alba anterior* на противоположную сторону» (С., стр. 149) — «...передняя белая спайка».

Приложение, выраженное существительным 3—5 склонений, часто не согласуется с определяемым латинским существительным, стоящим в форме родительного падежа, например, «в области *eminentiae thenar* отмечается выраженная агрофия» (С., стр. 627) — «...возвышения большого пальца руки...». Таким образом, именительный падеж по своей семантике стал общим падежом, ибо служит для выражения синтаксических функций родительного и других падежей, как увидим далее.

Одной из важнейших внутриязыковых тенденций в развитии атрибутивных словосочетаний является тенденция к морфологизованному согласованию как главному средству выражения атрибутивных связей в предложении. Однако почти полная несклоняемость латинских составных терминов, т. е. отсутствие падежных флексий у существительных и прилагательных, кроме флексии родительного падежа, препятствует формальному скреплению членов атрибутивных словосочетаний, вследствие чего бытуют параллельные формы типа: *...eminentiae thenar* и *.. eminentiae thenaris*. Обе формы выражают родительный падеж: «возвышения тенара».

Несклоняемый термин в форме именительного падежа, являющийся логико-грамматическим объектом, выражает свою синтаксическую функцию имплицитно, а не экплицитно, как это свойственно русскому языку. В зависимости от позиции он может быть объектом или субъектом, например, «...какую часть области, снабжаемой *a. cerebri media*, — занимает очаг размягчения» (С., стр. 448) — «...средней мозговой артерией». Здесь постпозитивное *a. cerebri media* — объект, по семантике соответствующий аблативу; «*Plexus chorioideus* не поражается» (С., стр. 451) — «сосудистое сплетение...». Препозиция *plexus chorioideus* указывает на субъект.

Для форм латинского именительного падежа основной является функция беспредложного или предложного дополнения, например, «...поражение *m. tibialis anticus* вызывает *pes valgus*» (С., стр. 416) — «...передней большеберцовой мышцы ... кривую ногу»; «волокна достигают *funiculus solitarius*» (С., стр. 86) — «...единичного канатика»; «Передний его конец имеет отношение к *n. glossopharyngeus*, задний — к *n. vagus*» (С., стр. 86) — «...к языкоглоточному нерву, ... — к блуждающему нерву»; «образуя *fasciculus vestibulo-spinalis*» (С., стр. 89) — «...остистовестибулярный пучок»; «давлением на *n. vagus*» (С., стр. 88) — «...на блуждающий нерв». Из приведенных примеров видно, что именительный падеж латинских терминов используется в функции дополнений к глагольным формам и именам существительным.

В функции дополнения и обстоятельства именительный падеж несклоняемых латинских терминов приобретал свои грамматические значения в зависимости от глаголов различной семантики, сочетаясь с ними аналитически, с помощью примыкания и управления. В последнем случае стоят предложные сочетания.

В соответствии с общими принципами употребления дополнения в русском предложении предложное сочетание с общим (именительным) падежом латинских терминов может занимать по отношению к глаголу как постпозитивное, так и препозитивное положение, беспредложный общий (именительный) падеж — только постпозитивное положение, например, «связана с *area striata*» (С., стр. 140) — «...с полосатым полем»; «для *striatum* характерны» (С., стр. 128) — «для полосатого тела...», но «Оба иннервируются *n. medianus*» (С., стр. 170) — «...срединным нервом».

Когда термин в форме именительного падежа служит подлежащим, порядок слов бывает не только прямым, но и инвертированным, например, «показанием к наложению свища является *ischuria paradoxa* (С., стр. 614) — «...парадоксальная ишурия»; «В заднем мозгу поражается преимущественно *locus coeruleus*» (С., стр. 381) — «...голубое место». Широкое применение винительного падежа в русской научной речи, стремящейся к максимальной точности выражения мысли<sup>8</sup>, увеличивало количество терминов-дополнений, выраженных латинским именительным-общим падежом. Для ясности мысли за ними закрепляется постпозитивное положение после сказуемого.

Используются латинские термины-существительные и в роли именной части составного сказуемого, например, «она называется *valvula pylorica*» (Пр., стр. 335) — «...заслонкой привратника».

Однако синтаксические функции именительного-общего падежа латинских терминов этим не ограничиваются. Он может быть также обстоятельством места, например, «Волокна оканчиваются в *thalamus*, в *hypothalamus*» (С., стр. 128) — «...в таламусе, в гипоталамусе»; «...берущие начало в *nucleus fastigii* мозжечка» (С., стр. 89) — «...в ядре шатра»; «Меланин существует... в *locus coeruleus* среднего мозга» (С., стр. 107) — «...в голубом месте...»; «пересаживают его в *colon descendens*» (Н., стр. 114) — «...в исходящую оболочную кишку»; «Гнойные очаги обнаруживаются и в *plexus chorioideus*» (С., стр. 376) — «...в сосудистом сплетении».

С русскими предлогами латинские термины обычно употребляются в форме именительного-общего падежа, например, «через *rami communicantes*» (С., стр. 247) — «...соединительные ветви»; «за *ichorothorax*» (П., I, стр. 119) — «...гнойной грудью»; «для *striatum*» (С., стр. 128) — «...полосатого тела»; «с *thalamus*» (С., стр. 128) — «со зрительным бугром»; «через *thalamus*» (С. стр. 124) — «через зрительный бугор».

Продуктивность такой синтаксической конструкции объясняется, по нашему мнению, ее логической целесообразностью, обусловленной определенностью семантико-синтаксической функции русских предлогов и неизменяемостью графического облика термина.

Латинские предлоги в медицинской литературе употребляются значительно реже русских, причем аргументация ведется с использованием предложных оборотов ограниченного значения: «*per granulationem, per primam*» (П., II, стр. 78) — «путем гранулирования, путем первого (заживления)»; «*per continuitatem*» (С., стр. 100) — «путем непрерывности»; «*per diapedesin*» (Н., стр. 296) — «путем диапедеза»; «*pneumonia cum hepatitis*» (П., II, стр. 46) — «пневмония с гепатитом»; «*haemorrhagia ex ulcere*» (Н., стр. 296) — «кровотечение из язвы».

Вследствие того, что русские прилагательные, причастия и местоимения оформлены аффиксально, они детерминируют падеж несклоняемых латинских терминов, выполняя при них атрибутивную функцию. Именно об этом свидетельствуют сочетания типа: «обращенную в преддверие рта

<sup>8</sup> Ср.: К. С. Горбачевич, О норме и вариантности на синтаксическом уровне, ВЯ, 1977, 2, стр. 71.

*facies vestibularis*) (Пр., стр. 311) — «...вестибулярную поверхность»; «продольная *plica longitudinalis duodeni*» (Пр., стр. 345) — «...складка двенадцатиперстной кишки»; «регулируется *valvula ileocecalis*, расположенной в *sacum*» (Пр., стр. 347) — «...подвздошно-слепок кишечной за-  
словкой».

Исследование грамматического окружения несклоняемых терминов помогает правильно понять научную мысль путем вычленения из многозначной грамматической формы латинского термина значения, соответствующего его падежному значению в данном предложении.

Следует отметить, что в XIX в. интерференция русского и латинского языков была более полной. Так, при согласовании латинского термина существительного с русским прилагательным, причастием, местоимением, глаголом учитывался род латинского существительного, а не русского дублета: «развившаяся *osteomyelitis*» (П., II, стр. 180), ср. «развившийся остеомиелит»; «госпитальную *diphtheritis*» (П., II, стр. 251), ср. «госпитальный дифтерит»; «какая бы ни была *diphtheritis*» (П., II, стр. 315), ср. «какой бы то ни было дифтерит»; «*phlebitis* развилась» (П., II, стр. 321), ср. «флебит развился»; «*prima intentio* не удавалась» (П., II, стр. 72), ср. «первое заживление не удавалось». В современной медицинской литературе согласование с латинским термином в роде является непродуктивным и предоставлено единичными случаями, например, «вдоль всего *sulcus*» (Пр., стр. 643), ср. «вдоль всей бороздки». Обычно же прилагательное, стоящее при латинском термине, согласуется в роде с его русским дублетом, например, «Аксоны ... спускаются... в *crus cerebri* (срединный *ее* отдел...)». *Crus* — среднего рода, русский дублет *голень* — женского рода, поэтому употреблена форма женского рода *ее*. Это не что иное, как согласование *ad sensum*.

Латинские термины соединяются при помощи сочинительных союзов, указывающих на семантику соединительных отношений. Слова, соединяемые союзом *et*, однофункциональны. Это означает, что *et* одинаково относит два каких-то члена к третьему, например, «*mm. adductor magnus, longus et brevis*» (С., стр. 67) — «мышцы отводящая большая, длинная и короткая». Слова же, соединяемые русским союзом *и*, являются разнофункциональными<sup>9</sup>, например, «*tractus rubro-spinalis* и *tractus spinothalamicus*» (С., стр. 83) — «красноядерно-спинномозговой путь и спинно-таламический путь»; «*nucleus funiculi gracilis* и *nucleus funiculi cuneati*» (С., стр. 83) — «ядро тонкого канатика и ядро клиновидного канатика».

В условиях преимущественной неизменяемости латинских терминов возрастает роль порядка слов, детерминирующего их синтаксическую функцию. Прямое дополнение в общем (именительном) падеже занимает постпозитивное положение по отношению к сказуемому, подлежащее — препозитивное, как это характерно для русского языка, например, «*Fascia iliaca* покрывает *m. psoas* и *m. iliacus*» (Пр., стр. 332) — «Подвздошная фасция покрывает поясничную мышцу и подвздошную мышцу», ср. русск. *мать любит дочь*.

Известно, что в основе способа изложения научного материала лежит универсальность, которая позволяет использовать данные одних языков для выявления и описания закономерностей научного стиля любого языка. При этом латинский язык служит посредником, позволяющим сделать максимально близкий перевод с одного языка на другой<sup>10</sup>. Сравнивая немецкую медицинскую литературу с русской, мы усматриваем, общее в том,

<sup>9</sup> Н. Н. Холодов, О семантике соединительных отношений и союзе *и*, «Р. яз. в шк.», 1976, 5, стр. 89.

<sup>10</sup> G. D. А г н а у д о в, Terminologia medica polyglotta, Sofia, 1969, стр. VII. Ср.: Л. В. Щ е р б а, Опыт общей теории лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1940, 3, стр. 114.

что в немецком языке к латинским терминам приставляется артикль, который согласуется в роде с латинским термином-существительным, например, *die Polycythaemia vera*<sup>11</sup>, причем падеж латинского существительного определяется артиклем или прилагательным, например, *Bei manifester Meningosis leucaemica sind Dosen von 2000—3000 R erforderlich*<sup>12</sup> «При проявлении лейкозного менингизма требуются дозы в 2000—3000 Р».

Благодаря артиклям в немецком языке отпадает необходимость в латинских флексиях, однако, как и в русском языке, отдается предпочтение латинским терминам и иногда графике, которые обеспечивают более точную дифференциацию научной мысли, например, предпочитается латинский синоним<sup>13</sup> *Pneumonie*<sup>14</sup> немецкому *Lungenentzündung* «воспаление легких».

Исследованные нами труды характеризуются высокой напряженностью<sup>15</sup> изложения, показателем которой является, в частности, количество терминов в единице текста. Так, на отдельных страницах учебника «Нервные болезни» находим до 50 латинских терминов (стр. 132 и др.). В среднем количество латинских терминов, в том числе и в русской транскрипции, составляет 13%. Напряженность текста уменьшают краткие этимологические характеристики терминов, которые способствуют лучшему запоминанию и усвоению их, например, «астения (от греч. *a* — отрицание, *sthenos* — сила)<sup>16</sup>; «Дыхание... стергоровозное (*sterto* — храпеть)»; «развивается окклюзионная (*occludo* — запирать) внутренняя головная водянка» (С., стр. 163); «*polios* — по-гречески — серый, полимиелит — воспаление серого вещества спинного мозга» (С., стр. 409—410). Однако этимологическая справка не должна быть развернутой, чтобы не отвлекать внимания от основного содержания. Неточная же этимология ведет к неточному пониманию термина.

Такие свойства латинского языка, как лаконичность и экономность выражения, сделали его незаменимым источником образования терминов, отличительной чертой которых является внутренняя и внешняя системность<sup>17</sup>. Однако узус латинских медицинских терминов нуждается в унификации.

Несмотря на то, что медицинские термины являются лексическими интернационализмами, им присуща национальная специфика. Как справедливо заметил В. В. Акуленко, было бы ошибкой выводить интернациональные элементы за пределы национального<sup>18</sup>, т. е. нельзя абсолютизировать факт интернациональности латинских медицинских терминоэлементов. В частом употреблении конструкций, в которых имеет место согласование *ad sensum*, сказывается тесная связь языка с потребностями мышления<sup>19</sup>. Именно в процессе эволюции синтаксических форм и кон-

<sup>11</sup> «Innere Medizin», Leipzig, 1976, 8, стр. 222.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> А. Д. Х а ю т и н, Термин, терминология, номенклатура, Самарканд, 1972, стр. 103.

<sup>14</sup> См., например: «Deutsche Medizinische Wochenschrift», Stuttgart, 1973, 30, стр. 1436; А. Ю. Б о л о т и н а и др., Немецко-русский медицинский словарь, М., 1970, стр. 478.

<sup>15</sup> А. А. П о л и к а р п о в, Лингвистические эффекты исторического возрастания сложности социальных систем, сб. «Предмет семантики», М., 1975, стр. 339.

<sup>16</sup> Е. В. Ш м и д т и др., Справочник невропатолога, стр. 163.

<sup>17</sup> Ср.: Л. А. К а п а н а д з е, О понятиях «термин» и «терминология», сб. «Развитие лексики современного русского языка», М., 1965, стр. 79.

<sup>18</sup> В. В. А к у л е н к о, Лексические интернационализмы и методы их изучения, ВЯ, 1976, 6, стр. 62.

<sup>19</sup> Ф. П. Ф и л и н, Л. И. С к в о р ц о в, Культура русской речи, «Вестник АН СССР», 1975, 5, стр. 99.

струкций находит отражение общее развитие человеческого мышления по пути к абстрактному.

Итак, диахронно-синхронный подход к описанию узуса терминов в медицинской литературе способствовал более полному раскрытию их особенностей в современном русском литературном<sup>20</sup> языке, тенденций развития, выявлению активных и отживших грамматических явлений, их соотношения, освещению их синтаксических функций. Было установлено, что непродуктивными оказались категория рода и окончания дательного-творительного падежей. Только при фиксированном порядке слов не возникает сомнения в правильном языковом употреблении того или иного термина, т. е. в его логической структуре и грамматической форме.

Как показало наше исследование, язык медицинской литературы, как, впрочем, всякий научный язык<sup>21</sup>, — это особый тип выражения. В пределах изученных медицинских текстов обнаруживаются следующие продуктивные специфические черты в области сочетания латинских и русских лексем: 1) употребление словоизменяемых латинских морфем (именительный и родительный падежи единственного и множественного числа); 2) употребление именительного падежа в значении дательного, винительного и творительного падежей и на этой основе возникновение общего падежа (следовательно, латинские термины уже не подчиняются общим правилам морфологии латинского языка: разграничение их падежных значений осуществляется на основании контекстуальных связей, так как различие между падежными вариантами латинских терминов находит свое выражение в разной их сочетаемости с русскими словами); 3) употребление латинских и русских терминов как однородных членов предложения; 4) тенденция к употреблению согласования *ad sensum*; 5) фиксированный порядок компонентов, образующих объектные и атрибутивные словосочетания.

Употребление латинских терминов — закономерное явление в языке русской медицинской литературы. Причина такого узуса заключается в сильной морфологизации и емкости латинских терминов, в установлении прочной формально выраженной синтаксической связи латинских слов в атрибутивных и объектных словосочетаниях. Термины национального происхождения часто проигрывают по сравнению с латинскими в краткости обозначения и возможности создания производных форм. Кроме того, изолированность заимствований в лексике чужого языка как бы охраняет их от воздействий его лексико-семантической системы, усложняет выход за пределы терминологического поля, способствуя тем самым сохранению их точности. В научной литературе краткие и точные латинские термины не препятствуют восприятию информации.

Факты диахронического характера показывают, что современное функционирование медицинской латыни обусловлено языковым прошлым. В этом проявляется влияние целесообразности выражения с точки зрения специальной сферы общения, а именно, при развитии науки возникает необходимость в сохранении графического образа термина. Обеспечивая таким образом сохранение роли книжности, иногда в своеобразных трансформациях, ученые укрепляют единство литературного языка, умножая его полифункциональность.

<sup>20</sup> Ср.: Н. А. К а т а г о щ и н а, Исторические предпосылки развития французского письменного-литературного языка, сб. «Язык и общество», М., 1968, стр. 216.

<sup>21</sup> Ш. Б а л л и, Французская стилистика. М., 1961, стр. 143, 271, 272.

ЧХАИДЗЕ М. П.

О ДВУХ АСПЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАММАТИКИ

Нахождение субъекта и объекта в структуре предложения представляет собой важнейшую задачу исследователя не только потому, что «субъектно-объектные отношения являются одной из самых универсальных категорий языка, поскольку они связаны с выражением в языке универсальнейших категорий человеческой мысли»<sup>1</sup>, но и потому, что без их четкого разграничения нередко невозможно понять смысл высказывания. Субъект и объект вместе с предикатом образуют ядро предложения, и малейшая неточность в понимании их соотношения в структуре предложения может толкнуть нас на ошибочный перевод фразы, когда, например, вместо *the man kills the lion* «человек убивает льва» в переводе получим *the lion kills the man* «лев убивает человека». Этого тем более можно ожидать в английском предложении, так как в нем часто, кроме синтаксического признака (словопорядка), никакие морфологические признаки не отличают субъект от объекта.

Работая над проблемами автоматического анализа и перевода, я стал наталкиваться на трудности в деле создания автоматически действующей процедуры отыскивания смысловых соответствий между глаголами разных языков, даже однотипных. Было установлено, что глагольные соответствия разных языков, точно сопоставленные друг с другом по формально-грамматическим признакам, сплошь и рядом противоречат друг другу по функционально-семантическому и, в конечном счете, лексическому признаку. Как правило, трудности перевода вызываются расхождениями именно в структуре предложения, в первую очередь расхождениями в структуре глагола.

Пришлось искать пути преодоления этих трудностей и осуществления такой формализации языковых явлений, при которой каждая структурно-синтаксическая единица по присущим ей морфологическим, синтаксическим и функционально-семантическим признакам получает точное определение.

В поисках этих путей и опираясь главным образом на материалы картвельских языков, в первую очередь грузинского, я пришел к выводу о необходимости различения двух аспектов исследования языковых данных — внутреннего и внешнего. Внутренний аспект описания должен быть нацелен на изучение и изложение фактов, исходя из интересов самих носителей данного языка, обучения в национальной школе и т. д., словом — для внутреннего потребления. Внешний аспект должен быть нацелен на изложение тех же фактов для не знающих данный язык, исходя из их интересов, равно как и для автоматического перевода, словом — для внешнего потребления. Соответственно с этим будем иметь двойное освещение фактов языка: освещение фактов и внутри и освещение тех же фактов и внешне.

<sup>1</sup> В. М. Жирмунский, О целесообразности применения в языкознании математических методов, «Лингвистическая типология и восточные языки», М., 1965, стр. 109.

История изучения картвельских языков показывает, что для исследования языковых явлений изнутри основным диагностирующим признаком служит морфологическое строение языка, тогда как для исследования тех же явлений извне необходимо опираться на функционально-семантические признаки. Это не значит, что проводя анализ с одной из этих точек зрения, исследователь совсем не должен считаться с другой стороной того же явления. Но интересы науки всегда требовали, чтобы, начав исследование под определенным углом зрения, вести его последовательно и до конца; а во всех тех случаях, когда противоречивые языковые факты поставят исследователя перед необходимостью выбирать одну из нескольких возможностей, — решать альтернативу в пользу взятого принципа. Поэтому и в нашем случае в виду имеется последовательный морфологический принцип исследования, с одной стороны, и последовательный функционально-семантический принцип, с другой. Надо полагать, что синтез обоих принципов исследования дал бы более ощутимый результат в деле полного понимания жизни языка, но пока, в условиях картвелистики, такой синтез не достигнут.

Блестящую реализацию последовательного морфологического принципа мы имеем в грамматических исследованиях по картвельским языкам, прежде всего — по грузинскому языку. Среди этих работ в первую очередь следует назвать грамматические исследования А. Г. Шанидзе и А. С. Чикобава<sup>2</sup>. Именно благодаря им и их отечественным и зарубежным ученикам картвелистическая грамматическая наука достигла огромных успехов. Эти успехи широко известны и их изложение не входит в мою задачу. Отмечу только, что в названных работах (особенно у А. Г. Шанидзе) грамматические категории грузинского языка освещены исчерпывающе и с предельной ясностью и з н у т р и.

Однако определенные вопросы грузинской грамматики вызывали и все еще вызывают споры. Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы показать, что эти споры в значительной степени могут быть сняты, если наряду с принципом освещения грамматических явлений грузинского языка и з н у т р и попытаться осветить их также и з в н е, с позиции передачи их смысла на другие языки.

Рассматривая явления именно с этой точки зрения, мы не можем пройти мимо того факта, что существующая классификация морфологических признаков грузинского глагола не всегда обеспечивает точный перевод смысла фразы на другие языки. Например, в грамматиках указано, что признаком 1-го лица субъекта в глаголе является префикс *v-*, а признаком 1-го лица объекта — префикс *m-*. Но это верно только в отношении таких глаголов, как «работать», «строить», «ждать» и т. д. Так, в глаголе *lodini* «ждать» имеем форму *velodebi* «я его жду» (основа *-lod-*), где отчетливо видно, что подлежащее — это «я» (как оно сигнализуется показателем 1-го лица субъекта *v-*), а дополнение — это «он». Но это неверно в отношении таких глаголов, как *šecodeba* «пожалеть», образованных совершенно так же, как первый: *vte-cod-eb-i* (основа *-cod-*), где префикс *v-* указывает на совершенно противоположное, а именно «он меня жалеет» (подлежащее «он», дополнение «меня»). Также противоречат друг другу образованные по одному образцу глаголы, с одной стороны, *vesiqvarulebi* «я любезничаю с ним», *veubnebi* «я говорю ему» и т. п., и, с другой стороны, *vezizyebi* «он ненавидит меня», *venatzebi* «он скучает по мне» и т. п. Особенно разитель-

<sup>2</sup> А. Ш а н и д з е, Основы грамматики грузинского языка, Тбилиси, 1973 (на груз. яз.); А. Ч и к о б а в а, Общая характеристика грузинского языка, «Толковый словарь грузинского языка», I, Тбилиси, 1950 (на груз. яз.).

ны противоречия и непоследовательности в использовании признаков грамматических лиц и вызываемые этими непоследовательностями затруднения в размежевании субъекта и объекта в одной группе глаголов, в которой принятый за признак 1-го лица объекта *m-* выступает в функции весьма сомнительного объекта; *maxsors* «я помню его» (ср. *tamkobs* «он украшает меня» — здесь *m-* действительно показатель объекта), *mqavs* «я имею его» (ср. *mgavs* «он похож на меня»).

В свое время Н. Я. Марр и И. Кипшидзе<sup>3</sup> выделяли в картвельских языках небольшую группу глаголов, называя их глаголами объективного строя (в противовес основной группе глаголов субъективного строя), которые характеризуются тем, что показателем объекта (*m-*) они выражают субъект (как в вышеприведенных случаях). И в самом деле, как это отмечено и у А. С. Чикобава, в этих глаголах «...в формах *takvs* „имею“ (неодушевленный предмет), *mqavs* „имею“ (одушевленный предмет), *mzuls* „ненавижу“, *miqvars* „люблю“, *mšia* „хочу есть“, „голоден“, *mčquria* „жажду“, *minda* „хочу“... реальный субъект везде передан префиксом объекта *m-*, у к а з ы в а ю щ и м н а л и ц о, которое имеет, любит, голодно, жаждет, хочет и т. д., а реальный объект выражен показателем субъекта *-s-* в конце слова»<sup>4</sup>.

На это утверждение А. Г. Шанидзе возразил, опираясь на доводы, вполне убедительные с точки зрения исследователя языка по последовательно-морфологическому признаку: «Принятое Марром и другими деление грузинских глаголов на субъектные и объектные возможно и не так плохо для целей обучения европейцев грузинскому языку, однако оно по существу неверно, так как при таком делении игнорируется формальная сторона спряжения...»<sup>5</sup>.

В принципе трудно возражать против требования автора, чтобы «при переводе на русский язык морфологическая природа грузинского языка была отражена»<sup>6</sup> (исходя из чего автор считает более подходящим, например, для *akvs* «он имеет то», перевод «то имеется у него»). Но справедливо и то, что грамматические показатели лиц указанная группа глаголов использует в ином (если не сказать в противоположном) значении, чем они используются в основной группе глаголов.

А различие, как видим, весьма существенное. Речь идет о глаголе, всегда определяющем всю конструкцию предложения. А неразличение субъекта и объекта, как уже указывалось, может легко создать скользкую ситуацию, когда в переводе получается «все наоборот», когда вместо *the dog bites the man* «собака кусает человека» в переводе получим *the man bites the dog* «человек кусает собаку».

В связи с этим встает другой вопрос: насколько мы правомочны при грамматической классификации глаголов по их морфологическим признакам опираться на явления лексико-семантического характера? Принимая во внимание достижения современного, главным образом отечественного языкознания, мы с полной убежденностью можем ответить на этот вопрос утвердительно.

В связи с типологическими исследованиями языков мира установлено, что если номинативная типология современных европейских языков характеризуется сведением лексических различий в спряжении на нет (или

<sup>3</sup> Н. Я. Марр, Грамматика древнелитературного грузинского языка, СПб., 1923; И. Кипшидзе, Грамматика мегрельского (иверского) языка, СПб., 1914.

<sup>4</sup> А. С. Чикобава, указ. соч., стр. 058.

<sup>5</sup> А. Г. Шанидзе, Грамматический субъект при некоторых непереходных глаголах в грузинском, «Труды кафедры древнегрузинского языка», 7, Тбилиси, 1961, стр. 212—213 (на груз. яз.).

<sup>6</sup> Там же.

почти на нет) за счет усиления роли формообразующих элементов глагола, то языки других типологий, — одни в большей степени, другие в меньшей, — выражение тех или иных грамматических категорий возлагают (опять-таки, в одних в большей степени, в других в меньшей) на лексику, используя деление слов на лексические классы, на одушевленность и неодушевленность референта и т. д.

На основании типологических исследований картвельские языки определяются как «обнаруживающие признаки активной типологии, с одной стороны, и номинативной, — с другой»<sup>7</sup>. Характерной особенностью активной типологии, активного строя в его чистом виде, является: а) деление слов на активные и пассивные группы (имен — на одушевленные и неодушевленные классы, глаголов — на классы активных и неактивных, стативных), б) на уровне синтаксиса имеем «специфическую типологию предложения, которую образует оппозиция активной и инактивной конструкций, первую из которых обуславливают активные глаголы, вторую — стативные»<sup>8</sup>.

Это противопоставление активных и стативных глаголов, характерное для языков активного строя, нетрудно усмотреть в оппозиционных рядах форм глаголов субъектного строя, с одной стороны, и глаголов объектного строя, с другой. Тем более, что глаголы объектного строя являются стативными, в большинстве своем они выражают чувственные восприятия человека (*verba sentiendi*). При них закономернее вопрос «Каково мое состояние?», чем «Что я делаю?» (*mascaxaxebis* «дрожу», *mzinavs* «сплю», *mecodeba* «мне жаль его» и т. п.). И этой особенностью указанные глаголы перекликаются со словами категории состояния в русском языке: именно слово категории состояния в русском языке, подобно грузинским глаголам объектного строя, «не допускает подлежащего в именительном падеже, и сочетается... с субъектом в дательном падеже»<sup>9</sup> (ср. *mrcxvenia* «мне стыдно», *mixaria* «мне весело», *gcxela* «тебе жарко» и т. п.). В то же время, так как для этой цели в грузинском используются именно глаголы, перевод этих слов с помощью соответствующих русских глагольных конструкций вполне закономерен и в то же время точен: *mrcxvenia* «я стыжусь», *mixaria* «я радуюсь», *gcxela* «ты испытываешь жар» («тебе жарко») и т. п.<sup>10</sup>

Продолжая анализ с применением того же последовательного функционально-семантического принципа, я оказываюсь перед необходимостью сделать рекомендации, которые сводятся к признанию трех категорий в грузинских глаголах (*mutatis mutandis* и в глаголах других картвельских языков). Причем они могут быть только добавлениями к уже существующим и описанным категориям и ни в коей мере не про-

<sup>7</sup> Г. А. Климов, Вопросы континентально-типологического описания языков, в кн.: «Принципы описания языков мира», М., 1976, стр. 143.

<sup>8</sup> Там же, стр. 134.

<sup>9</sup> «Современный русский язык», ч. II, под ред. Е. М. Галкиной-Федорук, М., 1962, стр. 203.

<sup>10</sup> Этот факт лишний раз показывает, насколько важно при сопоставлении конструкций разных языков пользоваться (для логического контроля) понятиями субъекта и объекта как основными элементами глубинного синтаксиса, которые в поверхностном синтаксисе могут варьироваться до бесконечности, порой ставя исследователя в тупик при определении их языковых аналогов — подлежащего и дополнения. В грузинской грамматике признано удобным подлежащее определять по субъекту действия, который может быть выражен грамматически тремя разными падежами в зависимости от времени, вида и залога: именительным, дательным или эргативным. Правда, субъект, если его понимать (как обычно) как лицо, от которого исходит действие, переходящее на другое лицо, — не вполне ясен в некоторых глагольных образованиях (типа *monçons* «мне нравится она»), тем более, что действие в них ни на кого не «переходит». В таких случаях субъект я понимаю более общо, как некую единицу «а», о которой что-либо сообщается в связи с объектом «б»: *me mrcxvenia misi* «мне стыдно его; я стыжусь его», *me monçons is* «мне нравится он/она», и т. д.

тиворечащими и тем более не отменяющими последние. Эти рекомендации сводятся: 1) к признанию существования двух строев грузинского глагола (в смысле Марра и Кипшидзе) — субъектного и объектного; 2) к признанию в грузинских глаголах категории функционально-семантической инверсионности или реверсионности (по принятой ниже терминологии) наряду с морфологической инверсионностью, уже описанной в существующих грамматиках; 3) к введению понятия партнерства, используемого для характеристики особых отношений между субъектом и объектом в грузинском предложении<sup>11</sup>.

Эти нововведения имеют значение, в конечном счете, для более углубленной характеристики тех особых форм глаголов картвельских языков, которые носят название «релятивных» и которые характеризуются выражением субъекта действия в глаголе формами, отличными от форм объекта действия. Эти релятивные формы глаголов описаны в грамматике А. Г. Шанидзе<sup>12</sup>.

В качестве иллюстрации воспроизводим здесь данную у А. Г. Шанидзе<sup>13</sup> таблицу спряжения в сокращенном виде, снабдив ее русским переводом.

Легко заметить, что, если не считать некоторых совпадений, в грузинском эти формы различны для каждого лица не только субъекта, но и объекта. В европейских языках (также и во многих других, например, в уральских, тюркских, монгольских) форма «хвалят» не меняется по лицам объекта; так, в русск. *хвалят меня, хвалят тебя, хвалят его, хвалят нас, хвалят вас, хвалят их* форма *хвалят* везде остается без изменения при смене объекта: *меня, тебя, нас, вас*. Такая же картина в других европейских языках, например, в немецком: *sie loben mich, sie loben dich, sie loben uns, sie loben euch* и т. д.<sup>14</sup>.

Разумеется, кроме переходных и непереходных релятивных глаголов, в грузинском имеются и непереходные нерелятивные глаголы, называемые абсолютными. В парадигме спряжения у этих глаголов может быть только шесть форм (*vtbebi, tbebi, tbeba, vtbebit, tbebit, tbebian* «согреваюсь, согреваешься, согревается, согреваемся, согреваетесь, согреваются»). А релятивных форм в глаголе может быть до семнадцати и более. Это и понятно, если учесть, что у релятивного глагола форма меняется при каждом изменении лиц не только субъекта, но и объекта.

Чтобы представить полнее в сводном виде картину формообразования релятивных глаголов, следует руководствоваться рекомендованным выше делением глаголов на глаголы субъектного построения

<sup>11</sup> Учитывая, что термины «субъектный строй», «объектный строй», как и «инверсия», уже использованы в грузинской грамматической литературе, но в ином значении, чем то, которое я хотел бы им здесь придать, и поэтому, предвидя опасность нежелательного перекрещивания значений терминов, отныне вместо марровских терминов «субъектный строй», «объектный строй» в данной статье будут употреблены «глаголы субъектного построения» и «глаголы объектного построения», а вместо «функционально-семантической инверсии» — «реверсия» (от лат. *reversus* «обращенный назад», англ. *reversible* «обратимый в обе стороны», «обратного действия»).

<sup>12</sup> А. Г. Ш а н и д з е, Грамматика грузинского языка, I, Морфология, Тбилиси, 1955 (на груз. яз.).

<sup>13</sup> Там же, стр. 139.

<sup>14</sup> В некоторых финно-угорских языках, например в венгерском, мордовском, известно так называемое объектное спряжение (наряду с субъектным). Но оно отражает лишь одно частное явление из всей системы релятивности глаголов, представленной в нашей схеме для грузинского спряжения. Например, в венгерском объектным спряжением выражается факт наличия в глагольной форме специального указания на знакомый объект, не подразумеваемый в субъектном спряжении: *én hívok* «я зову» (вообще), *én hívom* «я зову его» (Д е а к Ш а н д о р, Учебник венгерского языка, II, Будапешт, 1961, стр. 77).

Таблица спряжения <sup>1</sup>

		Obiektis pirebi («Объектные лица»)					
		<i>me</i> «меня»	<i>šen</i> «тебя»	<i>mas</i> «его»	<i>šven</i> «нас»	<i>tkven</i> «вас»	<i>mat</i> «их»
Subiektis pirebi («Субъект- ные ли- ца»)	<i>me</i> «Я»	№ <sub>2</sub>	<i>gakeb</i> «я хвалю тебя»	<i>vakeb</i> «я хвалю его»	№ <sub>2</sub>	<i>gakebt</i> «я хвалю вас»	<i>vakeb</i> «я хвалю их»
	<i>šen</i> «ты»	<i>makeb</i> «ты хвалишь меня»	№ <sub>2</sub>	<i>akeb</i> «ты хвалишь его»	<i>gvakeb</i> «ты хва- лишь нас»	№ <sub>2</sub>	<i>akeb</i> «ты хвалишь их»
	<i>is</i> «он»	<i>makebs</i> «он хва- лит меня»	<i>gakebs</i> «он хва- лит тебя»	<i>akebs</i> «он хвалит его»	<i>gvakebs</i> «он хва- лит нас»	<i>gakebs</i> «он хва- лит вас»	<i>akebs</i> «он хвалит их»
	<i>šven</i> «мы»	№ <sub>2</sub>	<i>gakebt</i> «мы хва- лим тебя»	<i>vakebt</i> «мы хва- лим его»	№ <sub>2</sub>	<i>gakebt</i> «мы хва- лим вас»	<i>vakebt</i> «мы хва- лим их»
	<i>tkven</i> «вы»	<i>makebt</i> «вы хва- лите меня»	№ <sub>2</sub>	<i>akebt</i> «вы хвалите его»	<i>gvakebt</i> «вы хва- лите нас»	№ <sub>2</sub>	<i>akebt</i> «вы хвалите их»
	<i>isini</i> «они»	<i>makeben</i> «они хва- лят меня»	<i>gakeben</i> «они хва- лят тебя»	<i>akeben</i> «они хва- лят его»	<i>gvakeben</i> «они хва- лят нас»	<i>gakeben</i> «они хва- лят вас»	<i>akeben</i> «они хва- лят их»

<sup>1</sup> Таблица читается так: требуемую форму грузинского глагола надо искать в клетке на пересечении горизонтальной линии (т. е. строки), указывающей на соответствующий субъект действия («я», «ты», «он», «мы», «вы», «они») и вертикальной линии (т. е. графы), указывающей на объект, на который переходит («падает») действие («меня», «тебя», «его», «нас», «вас», «их»). Например, форма *gvakeben*, помещенная в клетке на пересечении горизонтальной линии «они» и вертикальной «нас», означает «они хвалят нас».

Возвратные формы образуются особо, описательным путем, с использованием сочетания *tavis tavs* «сам себя» (буквально «свою голову»): *me vikeb tavis tavs*, *šen ikeb tavis tavs*, *is ikebs tavis tavs*, *isini ikeben tavis tavs* «я хвалю самого себя, ты хвалишь самого себя, он хвалит самого себя, они хвалят самих себя» и т. п. В таблице эти формы не занесены как требующие особой формализации в дополнительном распределении; их места в схеме помечены знаком пропуска (№<sub>2</sub>).

ния и глаголы объектного построения, с одной стороны, и различиями между ординарными и реверсионными формами релятивных глаголов — с другой.

О различии между глаголами субъектного и объектного построения уже говорилось. Глаголы обнаруживают его уже на лексическом уровне и сохраняют на уровне морфологическом в виде различий в формах спряжения.

Приступая к характеристике различий между ординарными и реверсионными формами глаголов, следует прежде всего сказать, что термин «реверсионный» употреблен для обозначения форм, обратных по отношению к ординарным (исходным) формам глагола в выражении субъекта и объекта. Схематически это можно представить себе так: при исходной (ординарной) форме глагола действие субъекта «а» переходит/направлено

на/к объект/у «б», а при реверсии — наоборот, субъектом становится «б», а действие от «б» направлено к «а». Ср.: ординарное *vakeb* «я его хвалю», реверсионное *makebs* «он меня хвалит».

Реверсионными являются все те (и только те) формы релятивных глаголов, в которых объектом выступает 1 или 2-е лицо (не 3-е лицо) единственного или множественного числа, т. е. конструкции «он — меня», «он — тебя», «он — нас», «он — вас», «они — меня», «они — тебя», «они — нас», «они — вас», «я — тебя», «ты — меня», «мы — тебя», «вы — меня», «мы — вас», «вы — нас». Причем падежом объекта в соответствующих русских переводах может оказаться не только винительный (как здесь), но любой, с предлогом и без предлога (см. ниже).

Важно учесть, что реверсионные формы образуются от форм ординарных (как их трансформ) не только у глаголов субъектного построения, но и у глаголов объектного построения, что явствует из следующих примеров:

Реверсия в глаголах субъектного построения

<i>vakeb</i>	«я его хвалю»	~	<i>makebs</i>	«он меня хвалит» <sup>15</sup>
<i>vxařar</i>	«я его рисую»	~	<i>mxařars</i>	«он меня рисует»
<i>vistumreb</i>	«я его отпускаю»	~	<i>mistumrebs</i>	«он меня отпускает»
<i>veperebi</i>	«я его ласкаю»	~	<i>mepereba</i>	«он меня ласкает» и т. п.

Реверсия в глаголах объектного построения

<i>maxsovs</i>	«я помню его»	~	<i>vaxsovar</i>	«он помнит меня»
<i>miqvars</i>	«я люблю его/ее»	~	<i>vuqvarvar</i>	«он/она любит меня»
<i>menatreba</i>	«я скучаю по нем»	~	<i>venatrebi</i>	«он скучает по мне»
<i>mimqars</i>	«я веду его»	~	<i>miqavar</i>	«он ведет меня» и т. п.

Реально употребляемых реверсионных форм глагола больше, чем ординарных, так как ординарных форм может быть только шесть, а реверсионных — больше 18 (считая и повторения). Примеры:

Ординарные формы	Реверсионные формы
1. <i>vxařav</i> «я рисую его (ее, их, то)»	1. <i>mxařav</i> «ты рисуешь меня»
2. <i>xařav</i> «ты рисуешь»	2. <i>mxařars</i> «он рисует меня»
3. <i>xařars</i> «он рисует»	3. <i>gxařavs</i> «он рисует тебя»
4. <i>vxařart</i> «мы рисуем»	4. <i>gxařav</i> «я рисую тебя»
5. <i>xařart</i> «вы рисуете»	5. <i>mxařart</i> «вы рисуете меня»
6. <i>xařaven</i> «они рисуют»	6. <i>gvxařart</i> «вы рисуете нас»
	7. <i>gvxařaven</i> «они рисуют нас»
	8. <i>gxařaven</i> «они рисуют вас»
	9. <i>gvxařav</i> «ты рисуешь нас»
	и т. д. (см. выше).

Разумеется, каждая из этих форм имеет свои морфологические характеристики, которые здесь не затрагиваются.

Естественно возникает вопрос о соотношении категории ординарности/реверсионности с другими категориями глагола, прежде всего с категориями переходности/непереходности, его активности/пассивности. Для освещения этих вопросов мне представляется крайне необходимым введение в грамматику понятия партнерства.

Партнерство всегда имеет в виду отношение между двумя или более элементами. В предложении оно подразумевает определенные отношения между субъектом и объектом. Отношения субъекта и объекта, четко выраженные морфологически в картвельских языках, напоминают партнерство в смысле согласованного изменения показателей лиц субъекта и объ-

<sup>15</sup> Знак ~ обозначает реверсию; форма глагола, помещенная от этого знака слева, является ординарной формой, помещенная справа — реверсионной.

екта при замене ординарных форм реверсионными как в глаголах субъектного построения, так и в глаголах объектного построения. Согласованность этих изменений видна как по линии чередования (взаимозамены) признаков лиц субъекта и объекта (по требованию смысла), так и их функционального взаимозамещения. В целях наглядности ниже ординарные и реверсионные формы снабжаем соответствующими цифровыми индексами перед и после глагольной формы. Причем цифра, помещенная перед глаголом, будет указывать на лицо о б ъ е к т а действия (дополнения), а цифра, помещенная после глагола, — на с у б ъ е к т действия (подлежащее). При этом для обозначения множественного числа применяем: 4 — для 1-го лица мн. числа, 5 — для 2-го лица мн. числа и 6 — для 3-го лица мн. числа. Итого получим следующие значения чисел: 1 — я, 2 — ты, 3 — он, 4 — мы, 5 — вы, 6 — они. Примеры:

В глаголах субъектного построения<sup>16</sup>

<sup>3</sup> vesiqvarulebi <sup>1</sup>	«я любезничаю с ним»	<sup>1</sup> mesiqvaruleba <sup>3</sup>	«он любезничает со мной»
<sup>3</sup> vežibrebi <sup>1</sup>	«я соревнуюсь с ним»	<sup>1</sup> mežibreba <sup>3</sup>	«он соревнуется со мною»
<sup>3</sup> vuberdebi <sup>1</sup>	«я старею у него»	<sup>1</sup> miberdeba <sup>3</sup>	«он стареет у меня»
<sup>1</sup> miberdebi <sup>2</sup>	«ты стареешь у меня»	<sup>2</sup> giberdebi <sup>1</sup>	«я старею у тебя» и др.

В глаголах объектного построения

<sup>3</sup> miqvars <sup>1</sup>	«я люблю его»	<sup>1</sup> vuqvarva <sup>3</sup>	«он любит меня»
<sup>3</sup> mžuls <sup>1</sup>	«я ненавижу его»	<sup>1</sup> vžulva <sup>3</sup>	«он ненавидит меня»
<sup>3</sup> maxsovs <sup>1</sup>	«я помню его»	<sup>1</sup> vaxsovva <sup>3</sup>	«он помнит меня»
<sup>1</sup> gaxsovva <sup>2</sup>	«ты помнишь меня»	<sup>2</sup> maxsovva <sup>1</sup>	«я помню тебя» и др.

В примерах даны в основном противопоставления только 1 и 3-го лиц: «я — его» ~ «он — меня». Если дать развернуто все возможные формы, то одних реверсионных образований (на «я — тебя», «ты — меня», «мы — вас», «вы — нас», «он — меня», «вы — меня» и т. п.) получим добрый десяток как минимум. Вот и они: <sup>2</sup>maxsovva<sup>1</sup> «я тебя помню», <sup>1</sup>gaxsovva<sup>2</sup> «ты меня помнишь», <sup>5</sup>gvaxsovva<sup>4</sup> «мы вас помним», <sup>4</sup>gaxsovva<sup>5</sup> «вы нас помните», <sup>1</sup>vaxsovva<sup>3</sup> «он меня помнит», <sup>4</sup>vaxsovva<sup>6</sup> «они нас помнят», <sup>5</sup>axsovva<sup>6</sup> «они вас помнят» и некот. др.

Целый ряд особенностей употребления выделяет партнерство как категорию от всех остальных грамматических категорий.

Во-первых, следует отметить, что партнерское распределение форм налицо во всех словоизменительных рядах глаголов во всем временам и наклонениям. Например, настоящее время: *vežibrebi* «я соревнуюсь с ним» ~ *mežibreba* «он соревнуется со мной»; прошедшее длительное: *vežirebodi* «я соревновался с ним» ~ *mežireboda* «он соревновался со мной»; аорист: *ševežibre* «я посоревновался с ним» ~ *šemežibra* «он посоревновался со мной»; заочное прошедшее: *ševžirebivar* «оказывается, я соревновался с ним» ~ *šemžirebia* «оказывается, он соревновался со мной»; конъюнктив III: *ševžirebodi* «чтобы я соревновался с ним» ~ *šemžireboda* «чтобы он соревновался со мной» и др.

Грамматическая категория партнерства в грузинском выявляется в наличии непосредственной синтаксической связи между субъектом (подлежащим) и объектом (дополнением). Принято считать, что зависимость между подлежащим и дополнением осуществляется только через сказуемое (глагол): подлежащее определяет лицо и число глагола («я говор-ю», но «ты говор-ишь»), глагол же в свою очередь управляет дополнением, его

<sup>16</sup> С целью экономии места берем только ряд «я — его» ~ «он — меня». Все сказанное о нем относится и к противопоставлениям других рядов: «я — тебя» ~ «ты — меня», «мы — вас» ~ «вы — нас» и т. п.

падежом (*рисую картину* — винительного падежа требует переходный глагол *рисую*). Но не обращалось должного внимания на активную синтаксическую роль субъекта, устанавливающего в некоторых языках тесную связь с объектом и использующего для этой цели глагол, приспособившая последний к несению этой службы и в отношении оформления, и в отношении валентности. Устанавливаются партнерские отношения первого актанта со вторым актантом, или первого с третьим (если он имеется) <sup>17</sup>.

Морфологически, в структуре предложения, казалось бы, нет непосредственных показателей партнерства как особой категории с особыми, только ему присущими окончаниями. Но этот факт не является достаточным основанием для того, чтобы отрицать существование такой синтаксической категории. Она бытует как закономерно меняющиеся структурные отношения между субъектом и объектом, выраженные и морфологически строго стандартно: все без исключения грузинские непереходные глаголы, имеющие при себе косвенный объект, подчиняются общему структурному закону партнерства, выражающемуся в постановке партнеров в определенном падеже, а именно: при глаголах субъектного построения — первого партнера в именительном падеже, второго партнера в дательном; при глаголах объектного построения — наоборот: первого партнера в дательном, второго партнера в именительном. Эта морфологическая черта при непереходных релятивных глаголах (т. е. при глагольных формах с наиболее ярко выраженными чертами партнерства) присуща партнерам во всех видо-временных массивах <sup>18</sup>: *vesaubrebi* «я беседую с ним» ~ *mesaubreba* «он беседует со мною», *vesaubrebodi* «я беседовал с ним» ~ *mesaubreboda* «он беседовал со мной», *gavsaubrebi var* «я, оказывается, беседовал с ним»; *totsons* «мне нравится она» ~ *totson var* «ей нравлюсь я», *totsonebia* «оказывается, мне понравилась она» ~ *totsonebivar* «оказывается, я понравился ей». Эту стандартность образования можно считать структурно-синтаксическим показателем партнера, говорящим о том, что в грузинском в определенных конструкциях устанавливаются партнерские отношения между субъектом и объектом.

Насколько нам известно, ни в одном из европейских языков (также ни в одном из финно-угорских, тюркских или монгольских) не имеем партнерства как грамматически отработанной категории; однако зачатки партнерских отношений прослеживаются во французском языке.

Прежде чем привести примеры из французского, сравним грузинские примеры с соответствующими русскими. Они показывают, что в русской категории партнерства не выражена морфологически, т. е. что грамматически ее здесь нет: то, что в грузинском имеет единый морфологический облик и выражается неизменным дательным падежом объекта при непереходных релятивных глаголах субъектного построения и именительным при глаголах объектного построения, в русском передается самыми различными синтаксическими структурами при участии различных падежей и предлогов, требуемых этими структурами. Приведем несколько примеров:

<sup>17</sup> Термин «актант» я употребляю в более широком значении, чем Л. Теньер, т. е. имею в виду не только категории грамматики (подлежащее, прямое дополнение, косвенное дополнение), но и «соответствующие» логические категории (субъект, прямой объект, косвенный объект), считая определяющими для структуры предложения именно логические категории (см. выше, примеч. 10).

<sup>18</sup> «Массив» я употребляю вместо «ряда» (*mcḱrivi*) у А. Г. Шанидзе и «отрезка» (*paḱvti*) у А. С. Чикобава. Термин «массив» заимствован из практики автоматического перевода (содержимое каждого «ряда» строго распределяется по массивам «памяти» машины).

## Глаголы субъектного построения

<i>vererebi</i>	«я ласкаю его»	<i>terereba</i>	«он ласкает меня»
<i>vezmarebi</i>	«я помогаю ему»	<i>tezmareba</i>	«он помогает мне»
<i>vežibrebi</i>	«я соревнуюсь с ним»	<i>mezibreba</i>	«он соревнуется со мной»
<i>vereparebi</i>	«я укрываюсь за ним»	<i>terepareba</i>	«он укрывается за мной»
<i>vekomagebi</i>	«я заступаюсь за него»	<i>mekomageba</i>	«он заступается за меня»
<i>veksevi</i>	«я убегаю от него»	<i>tekseba</i>	«он убегает от меня» <sup>19</sup>
<i>veguebi</i>	«я приспосабливаюсь к нему»	<i>megueba</i>	«он приспосабливается ко мне»
<i>vezmaurebi</i>	«я отзываюсь о нем»	<i>tezmaureba</i>	«он отзывается обо мне»
<i>viberdebi</i>	«я старею у него»	<i>tiberdeba</i>	«он стареет у меня»
<i>velacsebi</i>	«я заискиваю перед ним»	<i>melacseba</i>	«он заискивает передо мной»

## Глаголы объектного построения

<i>maxovs</i>	«я помню его/о нем»	<i>vaxsovvar</i>	«он помнит меня/обо мне»
<i>menatreba</i>	«я скучаю по нем»	<i>venatrebi</i>	«он скучает по мне» <sup>20</sup>
<i>tiqvareba</i>	«я влюбляюсь в него»	<i>viqvarebi</i>	«он влюбляется в меня»
<i>tesodeba</i>	«я жалею его»	<i>vesodebi</i>	«он жалеет меня»
<i>mesačiroeba</i>	«я нуждаюсь в нем»	<i>vesačiroebi</i>	«он нуждается во мне»
<i>miqvars</i>	«я люблю его»	<i>viqvarvar</i>	«он любит меня» и т. д.

Грамматическое оформление партнеров во многом зависит от переходности/непереходности глагола, его активности / пассивности, а также от валентности и обращенности (версии). Общая закономерность такова: чем активнее глагол, тем слабее проявляют себя особенности партнерства, оставляя полностью за глаголом право строить структуру предложения согласно требованиям его активности и переходности. По мере ослабления активного начала в глаголе (чаще в других его залоговых формах) на первый план выдвигаются закономерности партнерских отношений между субъектом и объектом и тем самым отодвигаются на второй план требования, связанные с активностью глагола: его переходность, употребление трех разных падежей для обозначения субъекта и объекта в трех разных сериях видо-временных массивов и др. В частности, партнерство в своем полном проявлении (в непереходных релятивных глаголах) сводит на нет обычную дистрибуцию падежей субъекта и объекта по указанным сериям (см. выше примеч. 10), заменяя их одним стандартным падежом — единым для субъекта и также единым для объекта (см. выше). Дополнительной иллюстрацией высказанного положения служат излагаемые ниже факты.

Прежде всего условимся, что в ординарной конструкции глагола субъект будет обозначен через «а», а объект — через «b». Тогда в конструкции *vatavisupleb (me vatavisupleb iadons)* «освобождаю» («я освобождаю канарейку») будем иметь отношение «а» → «b», где «а» равен субъекту (подлежащему), а «b» — объекту (дополнению). При реверсии получим *matavisuplebs (me matavisuplebs is)* «освобождает» («он освобождает меня»), где субъектом является уже «b», а объектом «а», т. е. при реверсии у них поменялись роли: «а» ← «b». Эта взаимозамена субъекта и объекта в величинах «а» и «b» остается постоянным законом везде, где налицо реверсия партнеров. Однако в переходных глаголах (как указывалось) это происходит с соблюдением всех структурно-грамматических правил, свойственных переходным глаголам грузинского языка вообще, прежде всего с оформлением субъекта и объекта в одном из соответствующих трех падежей. Примеры:

<sup>19</sup> Здесь дается только один из возможных переводов.

<sup>20</sup> Даются одни из возможных переводов иллюстрируемого грузинского слова: для нашей цели неважны другие значения переводимых слов; поэтому не перегружаем текст ими.

В настоящем времени (из первой серии массивов)	Символ. обозн конструкции <sup>21</sup>
( <i>me</i> ) <i>vatqob</i> ( <i>mas</i> ) «я украшаю его» = ordinarily =	$a \frac{s}{n} \rightarrow b \frac{o}{d}$
~ ( <i>me</i> ) <i>tatqobs</i> ( <i>is</i> ) «он украшает меня» = inversionally =	$a \frac{o}{d} \leftarrow b \frac{s}{d}$
В прошедшем времени (из второй серии массивов)	
( <i>me</i> ) <i>ševatqe</i> ( <i>is</i> ) «я украсил его» = ordinarily =	$a \frac{s}{erg} \rightarrow b \frac{o}{n}$
~ ( <i>man</i> ) <i>šematqo</i> ( <i>me</i> ) «он украсил меня» = inversionally =	$a \frac{o}{n} \leftarrow b \frac{s}{erg}$
В заочном прошедшем (из третьей серии массивов)	
( <i>me</i> ) <i>šemimqia</i> ( <i>is</i> ) «оказывается, я украсил его» = ordinarily =	$a \frac{s}{d} \rightarrow b \frac{o}{n}$
~ ( <i>me</i> ) <i>ševumqivar</i> ( <i>mas</i> ) «оказывается, он украсил меня» = inversionally =	$a \frac{o}{n} \leftarrow b \frac{s}{d}$

В случае, когда глагол остается переходным, но в предложении появляется косвенный объект (третий актанта), что бывает прежде всего, когда глагол оформлен в объектно-персонной версии с *u/i* подкорневым гласным, или в каузативе, то наблюдается следующее явление: прямой объект (второй актанта) отключается от партнерской связи с субъектом, и вместо него в партнерскую связь с субъектом вступает косвенный объект. Пример:

В настоящем времени

$$vukeb \text{ (} me \text{ } mas \text{ } švils) \text{ «хвалю я у него сына»} = a \frac{s}{n} \rightarrow c \frac{o}{d}; b \frac{o}{d}^{22}$$

$$mikebs \text{ (} me \text{ } is \text{ } švils) \text{ «хвалит он у меня сына»} = a \frac{o}{d} \leftarrow c \frac{s}{n}; b \frac{o}{d}$$

В аористе

$$vuke \text{ (} me \text{ } mas \text{ } švili) \text{ «хвалил я у него сына»} = a \frac{s}{erg} \rightarrow c \frac{o}{d}; b \frac{o}{n}$$

$$miko \text{ (} me \text{ } man \text{ } švili) \text{ «хвалил он у меня сына»} = a \frac{o}{d} \leftarrow c \frac{s}{erg}; b \frac{o}{n} \text{ и т. д.}$$

В предложениях с непереходными глаголами роль партнерства проявляется наиболее рельефно. В принципе это понятно: обычно непереходный — это такой глагол, который не управляет объектом. А если судить по нормам европейских языков, то в непереходных глаголах управляемого объекта вообще нет (если не учитывать спорные случаи «косвенного управления» типа *любуюсь природой*). Но весь интерес вопроса в том, что в грузинском объект при непереходных глаголах е с т ь. В этом и проявляется релятивность глагола. Например, на базе абсолютного (нерелятивного, непереходного) глагола *vberdebi* «старею» с помощью предкорневого гласного *u* или *i* образуется релятивная форма *vuberdebi* «я старею у него» ~ *miberdeba* «он стареет у меня». От глагола *vdavob* «спорю» (вообще) с помощью предкорневого гласного *e* образуется *vedavebi* «я спорю с ним» ~ *medaveba* «он спорит со мной» и т. п.

<sup>21</sup> Нижним индексом обозначается падеж, а именно: *n* — именительный, *d* — дательный, *ac* — винительный, *erg* — эргативный. Верхним индексом обозначается: *s* — субъект, *o* — объект.

<sup>22</sup> Знаком «с» обозначается третий актанта (косвенное дополнение). Оказавшись в роли партнера, он выдвигается на позицию прямого дополнения, отодвигая последнее на третье место.

Объект в этих конструкциях характеризуется двумя существенными особенностями: а) между ним и субъектом устанавливается стандартная, стабильная грамматическая связь — субъект в именительном падеже, объект — в дательном во всех словоизменительных рядах, или же, — при глаголах объектного построения, — субъект в дательном, а объект в именительном; б) происходит актуализация этого косвенного объекта, выдвижение его из рядов второстепенных членов предложения на позицию одного из важнейших членов с соответствующим логическим подчеркиванием. Таким образом, партнерство при непереходных глаголах — это форма синтаксической организации ядра предложения, осуществляемой через глагол в виде связи субъекта с объектом и подлежащего грамматического оформления этой связи.

Для грамматикализации категории партнерства в языке необходимы два условия: 1) чтобы в данном языке были релятивные формы глаголов, отображающие и объект и субъект в спряжении, 2) чтобы в данном языке была одна форма падежа (с предлогом или без него) для обозначения объекта во всех партнерских сочетаниях. Такой формой мог быть, например, предлог *на* в болгарском языке, который имеет тенденцию заменить все другие предлоги. Но для создания системы партнерства падежное окончание или предлог не может сыграть решающей роли. Для этого важнее первое условие — наличие релятивных форм спряжения. И в этом отношении внимания заслуживают явления, наблюдающиеся во французском языке. Общеизвестно, что во французском языке для обозначения лиц субъекта и объекта при глаголе (и только при нем) употребляются не полные формы личных местоимений, а их сокращения (какие-то обрубки), называемые зависимыми или безударными (*atones*) личными местоимениями, — для субъекта *je, tu, il*, а для объекта *me, te, le*. Так, при самостоятельном употреблении «я» выражается через *moi*, «ты» — через *toi*, «он» — через *lui*; а при спряжении глагола имеем: *je parle* «я говорю», *tu parles* «ты говоришь», *il parle* «он говорит». При них в глаголе может быть обозначен и объект действия через атонические объектные местоименные показатели; тогда парадигма спряжения примет такой вид: *je le vois* «я его вижу», *je te donne* «я тебе даю», *tu me donnes* «ты мне даешь», *il me nerve* «он меня нервирует», *tu me nerves* «ты меня нервируешь», *je te nerve* «я тебя нервирую».

Достаточно бросить беглый взгляд на эти формы спряжения, чтобы увидеть параллели между французским и грузинским формообразованием партнерского спряжения. Сходство станет еще яснее, если представим французский глагол написанным слитно, вместе со своими местоименными частицами (слитное или раздельное написание — дело традиции, принципиальной роли не играет):

<sup>1</sup> je + <sup>2</sup> te + <i>vois</i>	<sup>2</sup> gzedav <sup>1</sup>	«я тебя вижу»
<sup>2</sup> tu + <sup>1</sup> me + <i>vois</i>	<sup>1</sup> mzedav <sup>2</sup>	«ты меня видишь»
<sup>1</sup> je + <sup>3</sup> le + <i>vois</i>	<sup>3</sup> vzedav <sup>1</sup>	«я его вижу»
<sup>3</sup> il + <sup>1</sup> me + <i>voit</i>	<sup>1</sup> mzedavs <sup>3</sup>	«он меня видит»
<sup>3</sup> il + <sup>2</sup> te + <i>voit</i>	<sup>2</sup> gzedavs <sup>3</sup>	«он тебя видит» и т. д. <sup>23</sup> .

Остается признать наличие пока слабо выраженных релятивных форм глаголов во французском языке, на что в свое время обращал внимание в другой связи И. И. Мещанинов <sup>24</sup>.

В отличие от грузинского словообразования, не допускающего в глаголах с выраженными партнерскими отношениями осмысления формы как

<sup>23</sup> Во французских сочетаниях первое место неизменно занимает субъект, второе — объект.

<sup>24</sup> И. И. Мещанинов, Члены предложения и части речи, М.—Л., 1945, стр. 32, 73.

относящейся одновременно ко всем лицам (и первому, и второму, и третьему,) французский (как и русский) допускает эти формы, для чего достаточно убрать показатель объекта, не изменяя структуры самого глагола. Тогда вместо:

<i>je te dis</i>	<i>geubnebi</i>	«я тебе говорю»
<i>tu me dis</i>	<i>meubnebi</i>	«ты мне говоришь»
<i>il te dit</i>	<i>geubneba</i>	«он тебе говорит»
<i>il me dit</i>	<i>meubneba</i>	«он мне говорит» и т. д.

получим

<i>je dis</i>	<i>vambob</i>	«я говорю (вообще)»
<i>tu dis</i>	<i>ambob</i>	«ты говоришь»
<i>il dit</i>	<i>ambobs</i>	«он говорит» и т. д.,

т. е. будем иметь только обычные, а б с о л ю т н ы е (не релятивные) формы спряжения, известные повсеместно.

Поразительно, что во французском, точно так же, как и в грузинском, при переходном глаголе с двумя актантами (с субъектом и прямым объектом) первый актант устанавливает партнерские отношения со вторым актантом: *je te vois* «я тебя вижу»; но в случае, если глагол допускает и третий актант и он присутствует в предложении, первый актант устанавливает партнерскую связь с последним: *je te dis la vérité* «я тебе говорю правду», *tu me donnes le livre* «ты мне даешь книгу» и др.

Основание для образования релятивных форм заложено с самого начала в самой валентности глагола любого языка. Но для того чтобы им принять вид партнерских отношений, требуется, чтобы местоименные показатели лиц как бы сработались с основой глагола и, образуя стройные синтетические ряды этих отношений с глаголами (типа англ. *I beg<sup>2</sup> You* «я умоляю тебя», <sup>1</sup>*You beg<sup>2</sup> me* «ты умоляешь меня»), получился бы формально-грамматически четко обозначенный ряд партнерских противопоставлений, наглядно выступающий в грузинском и в других картвельских языках: <sup>2</sup>*gexvecebi<sup>1</sup>* «умоляю я тебя», <sup>1</sup>*texvecebi<sup>2</sup>* «умоляешь ты-меня», <sup>1</sup>*texveceba<sup>3</sup>* «умоляет он-меня» и т. д.

В заключение напрашивается следующий вопрос: не имеем ли мы достаточно оснований видеть в партнерской зависимости о с о б ы й, четвертый вид подчинительной связи слов (наряду с согласованием, управлением и примыканием), именно партнерскую связь между подлежащим и дополнением? Независимо от положительного или отрицательного ответа на этот вопрос, сама по себе проблема партнерства и реверсионности, думается, заслуживает пристального внимания.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## РЕЦЕНЗИИ

**А. А. Зализняк.** Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. Около 100 000 слов. — М., «Русский язык», 1977. 880 стр.

Рассматриваемый нами словарь представляет собой справочное пособие, содержащее сведения о всех парадигматических формах 100 000 слов современного русского языка. Слова в нем расположены в обратном (инверсионном) порядке, т. е. в алфавитном порядке последних букв слова.

Словарь является первой попыткой дать полную картину парадигматических форм слов русского языка и предназначен в первую очередь для специалистов филологов, преподавателей-русистов и методистов.

В книге имеется пять разделов: 1) «Предисловие», 2) «Как пользоваться словарем», 3) «Условные знаки и сокращения», 4) «Грамматические сведения», 5) «Словарь (от А до Я)».

«Предисловие», написанное автором-составителем, включает в себя краткий обзор проблем, связанных с общим характером и назначением словаря, его составом и т. д. Автор подчеркивает, что «сложную проблему для грамматического словаря составляет отражение потенциальных форм, т. е. форм, которые фактически почти никогда не встречаются, но при необходимости всё же могут быть образованы по общим правилам русского словоизменения... В силу принятой в настоящем словаре системы индексов словарная статья включает в себе информацию о том, как образуются все формы парадигмы, включая те, которые фактически неупотребительны. При этом степень употребительности форм как таковую настоящий словарь не отмечает, поскольку неупотребительность или малопотребительность некоторой формы обычно определяется значением слова, а не его морфологическими особенностями».

Для настоящего словаря существенно лишь то, возникает ли при occasionalном образовании подобных потенциальных форм какая-либо морфологическая трудность или морфологическая неоднозначность» (стр. 7).

Вслед за указанной проблемой автор подчеркивает трудность, которая связана с грамматической характеристикой. Он имеет в виду грамматические характеристики, непосредственно связанные со значением слова, но оказывающиеся неустойчивыми для слов, приобретающих новые значения. Тут же автор указывает на то, что есть большое число имен существительных, «у которых нет полного прямолинейного соответствия между реальной и грамматической одушевленностью — неодушевленностью» (стр. 8). В качестве примера приведены такие слова, как *бобёр*, *законодатель*, *корсар*, *существо*, *устрица* и др.

В «Предисловии» указывается на нормативный характер словаря, причем при выработке нормативных рекомендаций, по словам автора, были учтены и критически обработаны данные четырех основных толковых словарей русского языка и ряда специализированных словарей.

Раздел «Как пользоваться словарем» включает в себя разработку следующих вопросов: а) способ записи слов и порядок их расположения; б) строение словарной статьи (основной буквенный символ, индекс, дополнительные пометы и указания); в) особые случаи оформления словарной статьи (сокращенная запись форм, синонимы, слова с ограниченной сочетаемостью, оформление вариантов при помощи различных знаков); г) как построить нужные формы слов (построение форм с помощью образцов, построе

ние форм непосредственно по индексу). Список «Условных знаков и сокращений» дает перечень и расшифровку использованных в словаре буквенных и цифровых обозначений.

Часть «Грамматические сведения» содержит два основных раздела: «Склонение» и «Спряжение».

Раздел «Склонение» включает в себя разработку следующих вопросов: а) значение буквенных символов и элементов индекса у имен (буквенные символы); б) основная синтаксическая характеристика имени; в) основная морфологическая характеристика имени: стандартные окончания субстантивного склонения, стандартные окончания адъективного склонения и стандартные окончания местоименного склонения; отличия типов склонения; схемы ударения в субстантивном, адъективном и местоименном склонениях; дополнительные правила об ударении внутри основы, внутри окончания и при неслоговом окончании; г) образцы склонения: полные и сокращенные парадигмы; особенности, связанные с одушевленностью — неодушевленностью существительных; правила восстановления невыписанных форм парадигмы; как найти нужный образец, как просклонять слово по найденному образцу.

Субстантивное склонение. Здесь приведены образцы субстантивного склонения всех трех родов, причем у каждой категории рода по семь типов склонения. Исключение составляет склонение имен существительных мужского и среднего рода, где имеется также и восьмой тип. Кроме того, существительные объединены по различным схемам ударения, что облегчает возможность найти и запомнить нужный образец склонения, тем более, что существительные расположены в таблицах по типам. Интересно отметить, что к восьмому типу субстантивного склонения существительных мужского рода отнесено лишь одно слово — *путь*. Кроме основных типов субстантивного склонения, выделены еще три подтипа; также отдельно отмечены особые случаи этого склонения (такие, как, например, особенности в образовании формы множественного числа имен существительных на *-ья*, особенно в исходной форме и др.). Образцы склонения имен существительных женского рода и среднего рода представлены по аналогичному принципу; здесь также выделены особые случаи склонения (стр. 44—45, 50—51, 55).

Адъективное склонение разделяется на шесть типов, обусловленных надежными окончаниями и особенностями ударения. Отдельно рассматривается склонение полных и кратких форм прилагательных; в числе особых случаев упоминается местоименное прилагательное *некий*, а также образование кратких

форм прилагательных *великий*, *маленький*, *зеленый*, *гитрый*, *черный* и т. д. (стр. 61).

Местоименное склонение разделено также на шесть основных типов, обусловленных вышеуказанными факторами. В рамках этого склонения рассматривается склонение прилагательных на *-ин*, *-ын*, *-ов*, *-ев*, *-ев* и др. (*дядин*, *отцов*, *фомин*, *петров* и т. д.), существительных на *-ин*, *-ов*; *-ья*, *-ье* (*топт лгин*, *кабельтов*; *ничья*, *третье*; *Попов*, *Рёпин*, *Фомин* и др.). Среди особых случаев отмечено склонение личных местоимений 1 и 2-го лица и возвратного местоимения *себя* (стр. 65).

Склонение числительных показано не по таблицам, а при помощи правил, отражающих особенности отдельных типов склонения, а также сочетаемость числительных с именами существительными. По таблицам же показано склонение таких числительных, как *два*, *оба*, *три*, *четыре*; 5—10, 11—20 и 30; отдельно показано склонение собирательных числительных от 2 до 10 и склонение числительных 40, 90, 100 и 150; 50, 60, 70, 80; отдельно дано склонение названий сотен: 200, 300, 400, 500 и 800. и тут же делается ссылка на то, что числительные *шестьсот*, *семьсот* и *девятьсот* склоняются как *пятьсот* (стр. 68).

В разделе «Склонение» — под пунктом Д — указывается значение дополнительных помет и указаний при именах, где наряду с объяснением различных знаков и помет даются сведения о переносе ударения на предлог — у существительных и числительных (стр. 44, 49, 54, 71—73), и отмечаются дополнительные особенности в склонении имен — у слов с различными пометами (стр. 73—76).

Раздел «Спряжение» представляет собой разработку следующих вопросов: а) значение буквенных символов и элементов индекса у глаголов (буквенные символы, цифра индекса); здесь перечислены стандартные чередования согласных, которые разделены на две ступени; приведена таблица типов спряжения, согласно которой различается 16 типов спряжения, объединенных характерными особенностями суффиксов, а также окончаний форм 1 и 3-го лица единственного числа настоящего (и будущего) времени, с учетом дополнительных указаний, даваемых у большинства этих типов; кроме того, показаны схемы ударения настоящего и прошедшего времени; приведены дополнительные сведения (в виде правил) об ударении внутри основы, внутри окончания и при неслоговом окончании. В разделе при помощи таблиц показаны возможности построения глагольных форм по индексу (личных форм настоящего времени несовершенного вида и будущего времени совершенного вида, прошедшего времени обоих видов, будущего времени несовершенного вида, а

также повелительного и сослагательного наклонений; величных форм действительного причастия настоящего времени, дееспричастия настоящего времени, действительного причастия прошедшего времени, дееспричастия прошедшего времени, страдательного причастия настоящего и прошедшего времени, а также личных и величных форм на *-ся* (с) со страдательным значением) (стр. 77—87); б) образцы спряжения: состав форм у глаголов разных грамматических групп; особенность возвратных глаголов; сокращенная запись глагольной парадигмы и восстановление остальных форм по этой записи (как найти нужный образец или образцы, как проспрягать глагол по найденному образцу). Здесь же с помощью хорошо обозримых таблиц демонстрируются образцы спряжения всех 16 типов и так называемых изолированных глаголов типа *есть, идти, казаться, ехать, реветь, изжидиться, быть, выжить, забыть, издать, найти* и т.д.; в) значение дополнительных помет и указаний при глаголе, наряду с которым указаны дополнительные особенности в спряжении у слов с различными пометами (стр. 87—105).

В отношении вышесказанного автор словаря отмечает, что грамматические сведения, приведенные на стр. 25—35, предназначены только для тех, кто намерен строить формы слов непосредственно по индексу, игнорируя образцы склонения, а остальным нет необходимости пользоваться этой частью словаря для построения форм по образцам.

«Словарь» включает в себя 100 000 словарных статей с полными грамматическими сведениями о словах современного русского языка. Каждая словарная статья, как правило, содержит следующие сведения о заголовочном слове: а) принадлежность слова к той или иной части речи (причем у существительных с указанием категории одушевленности — неодушевленности, а у глаголов — вида и переходности — непереходности), обозначаемая буквенным символом; б) тип склонения или спряжения; в) наличие определенных чередований в основе; г) указание на схему ударения; д) указание на отклонение от стандартного склонения или спряжения; е) указание на наличие в основе чередования (*ѣ* — под ударением, *е* — без ударения); ж) дополнительные пометы и указания.

Так, например, словарная статья *раскабачица* содержит следующие символы: «ж0 5а», которые обозначают, что заглавное слово является именем существительным женского рода, одушевленным, склоняется по «5а» типу склонения. Символы и знаки «п 3а X ~», стоящие после слова *библиотечарский*, обозначают, что данное слово является именем прилагательным, склоняется по «3а» типу, образование его краткой формы невозмож-

но, сравнительной степени у него нет.

У глаголов имеется гораздо больше элементов, раскрывающих полную их морфологическую характеристику.

Словарные статьи, у заголовочного слова которых имеется о м о н и м, кроме обычных грамматических сведений, содержат также и указания на различие между лексическими значениями слов-омонимов. Посмотрим словарные статьи *я<sup>1</sup>* и *я<sup>2</sup>*:

*я<sup>1</sup>* мс  $\Delta$ : Р., В. *меня*. Д., П. *мне*, Т.

*мной* // *мною*

с 0 (сознающая себя сущность).

*я<sup>2</sup>* с 0 (название буквы «я»).

Благодаря четко разработанной системе условных знаков и сокращений, можно легко расшифровать любую словарную статью, определить грамматические сведения, являющиеся характерными для того или иного слова. Таким образом, становится очевидным, что первый из вышеприведенных омонимов обладает двумя значениями, причем слово, в котором активизировано прямое значение, характеризуется наличием у него полной парадигмы, в то время как слово с переносным значением («сознающая себя сущность») является несклоняемым («0»), среднего рода («с») именем существительным, так же как и его омоним *я<sup>2</sup>*. В отличие от них, слово *я<sup>1</sup>* в основном своем значении является местоимением («мс») или же местоимением-существительным, перечень в с е х парадигматических форм которого дается во всех случаях после знака  $\Delta$ . А знак // обозначает, что наряду с приведенной перед ним формой параллельно существует форма, стоящая после него. Сокращениями Р., В., Д., Т., П. обозначены названия падежей.

Автор-составитель не упустил из виду даже тот факт, что отдельные слова обладают особыми формами, выступающими только во фразеологизмах. Например: «белый п 1а/с  $\phi$  середь бѣла днѣя»; «1век м 3с ①  $\phi$  прибавить вѣку; на своём веку; в кѣи вѣки; на вѣки веков; на вѣки вечные; прожить аредовы вѣки»; «1вѣсть ж 8е  $\phi$  пропасть без вѣсти»; «2вѣсть: бѣг вѣсть; не бѣг вѣсть» и т. д.

Среди многочисленных достоинств словаря можем назвать следующие: 1) основные принципы построения словаря являются глубоко аргументированными; задачи же, поставленные автором-составителем и редакцией, выполнены безупречно; 2) отбор слов для словарника является весьма удачным: в словарь включены слова современного русского языка, относящиеся к различным пластам лексики и употребляющиеся в различных сферах языка; 3) компактность; 4) деление словаря на две основные части: теоретическую и практическую. Удачная разработка всех теоретических вопросов, которые могут встречаться специалисту

в процессе изучения грамматики русского языка в области словоизменения. Отличная обзорность словарной части и используемой в ней системы условных знаков и сокращений; 5) включение в словарь особых форм слов, выступающих в устойчивых и фразеологических словосочетаниях; 6) перечень в словарной части употребляющихся в обиходной речи тех свободных словосочетаний, в которых те или иные слова выступают в своих обычных грамматических формах, но которые часто представляют собой трудность для неспециалистов или же могут вызывать сомнение иногда даже у специалистов; 7) словарь выполнен на высоком научном уровне.

Однако наряду с достоинствами, перечисленными выше, в рассматриваемом нами словаре обнаружены некоторые неточности:

1. В системе «Условных знаков» (стр. 21—22) после знака  $\times$  (стр. 22) дано следующее объяснение: «у прилагательных: образование кратких форм затруднительно». Тут же указана страница (69), на которой дается более подробное описание этой проблемы; кроме того, на стр. 8 также имеется ссылка на нее. Однако следует отметить, что эти объяснения могут быть полезными лишь в том случае, если вникнуть в суть данного вопроса более досконально. Но в тех случаях, когда словарь служит целям справочного пособия и специалист (или же неспециалист), желая удостовериться в правильности или же в наличии той или иной формы, доверяет полностью данным словаря, подобные нюансы у отдельных знаков могут способствовать возникновению некоторого сомнения или же недоразумения, ибо этот знак ( $\times$ ) поставлен также и после таких прилагательных, которые краткой формы не имеют и не могут иметь, например: *аптекарский, библиотечный, венгерский, семинарский, сибирский* и т. д. Было бы более целесообразно употребить для таких прилагательных какой-нибудь другой знак.

2. Непоследовательность в указании после знака  $\diamond$  особых форм, выступающих во фразеологизмах: в отдельных случаях после этого знака следуют фразеологические единицы, а в других — перечис-

лены свободные словосочетания, в то время как в некоторых случаях приведены фразеологизмы без этого знака. Так, например, в словарной статье *два* за этим знаком следуют сочетания слов *за два, на два, по два*, отнюдь не являющиеся фразеологизмами, так же как и сочетания слов, указанные за знаком  $\diamond$  в словарной статье *зима*: *за зиму, на зиму* и т. д. А в словарной статье *недолга* словосочетание (*вот*) и *вся недолга* приведено без знака, так же как и словосочетание *нести околёсную* в словарной статье *околёсная*; аналогичное явление наблюдается и в отношении фразеологизма *попасть впросак* в словарной статье *впросак*. Более того, в словарной статье *вдрёбезги* не указаны словосочетания, в которых это слово выступает: *пьяный вдрёбезги, разбить вдрёбезги*, в то время как у рядом находящегося слова *зги* приводится словосочетание *не видно ни зги* без указания на его принадлежность к тому или иному типу словосочетаний: в данном случае — к фразеологизмам. Оно снабжено лишь знаком : (двоеточием), обозначающим, что данное слово употребляется только в приводимых после него словосочетаниях. Но этого же знака нет у ряда других слов, употребляющихся в немногочисленных выражениях: *вдрёбезги, вертёб, оглядка, одержать, челб* и т. д.

3. Отсутствие алфавитного указателя слов, анализируемых в словаре. Наличие такого указателя могло бы облегчить пользование словарем.

Однако хочется подчеркнуть, что перечисленные выше недостатки анализируемого словаря несколько не преуменьшают большого научного и практического значения этого уникального труда, отвечающего всем требованиям, которые могут быть предъявлены к подобным фундаментальным изданиям.

Нет сомнения в том, что «Грамматический словарь русского языка», составленный А. А. Зализняком и хорошо отредактированный Редакцией русского языка издательства «Русский язык» (ведущий редактор Н. Г. Зайцева), на долгие годы будет полезным настольным справочным пособием как для специалистов-филологов, так и для других лиц, изучающих русский язык.

Татар Б.

**И. М. Оранский. Фольклор и язык гиссарских парья (Средняя Азия).**  
Введение, тексты, словарь. — М., Главная редакция восточной литературы  
изд-ва «Наука», 1977. 448 стр., 2 л. фотографий.

Автор этой книги известен как иранист, прежде всего как автор фундаментального «Введения в иранскую филологию» (М., 1960) и многочисленных трудов по иранским языкам, их истории и этимологии. Осенью 1954 г. ему удалось обнаружить в Гиссарской долине (Таджикская ССР) немногочисленную группу, именуемую таджиками «афганцами», но говорящую на неизвестном индоарийском диалекте. Чтобы провести полноценное исследование языка парья (таково самоназвание этой группы), автору потребовалось не только применить свои энциклопедические познания в иранистике (все парья двуязычны и владеют также таджикским, некоторые еще и узбекским языком), но и стать индологом, с чем, как видно из опубликованной работы, он справился блестяще.

Книга открывается предисловием, в котором описываются условия сбора материалов и характеризуются принципы и методика исследования. Уже из списка сокращений (стр. 6—14) видно, какому скрупулезному анализу был подвергнут обширный круг литературы по индоиранистике в связи с анализом грамматики и лексики языка парья, фольклора и этнографии его носителей.

Во «Введении» (§ 1—42, стр. 15—42) излагаются общие сведения о группе парья, приводятся наименования подразделений внутри группы, при этом все названия сопровождаются историко-филологическими комментариями и, если это возможно, этимологиями. Происхождение самоназвания изучаемой группы (*parūā*) остается, однако, неясным, в основном из-за отсутствия сведений о родственных малых группах в северо-западном Индостане и в Афганистане (согласно легенде, парья пришли в Гиссарскую долину из области Лагман в Афганистане). Очень подробно останавливается автор на всех упоминаниях в предшествующей литературе малых этнических групп Средней Азии и прилегающих районов, в которых можно заподозрить родство с группой парья<sup>1</sup>. К сожалению, этнические

наименования и другие термины приводятся во «Введении» по-разному — то в приблизительной передаче на основе русского алфавита, то в современной таджикской графике, то в традиционной латинской транскрипции.

В результате детального рассмотрения сведений по языкам и этнографии индоязычных групп на территории Афганистана автор приходит к выводу, что эти сведения слишком скудны, чтобы в настоящее время можно было бы окончательно решить вопрос о том, с какой или какими группами непосредственно связаны парья. В этой связи И. М. Оранский в следующем разделе (§ 43—118, стр. 43—91) на основе лингвистического анализа определяет место, занимаемое языком парья в кругу индоарийских. Здесь содержится характеристика основных фонетических, грамматических и лексических отличий языка парья от хиндустани (хинди и урду), панджаби, раджастанхрани, гуджарати и других близкородственных индоарийских языков. В фонетике для языка парья характерны оглушение и дезаспирация звонких придыхательных, сближающие его с диалектами группы панджаби-лахнда (лэнди). В системе местоимений обращают на себя внимание эргативные формы личных местоимений 1 и 2-го лица ед. числа, не имеющие близких параллелей в других индоарийских. По формам лично-притяжательных местоимений парья отделяется от синдхи и панджаби, но сближается с хиндустани, непальским и особенно с диалектами раджастанхани. Числительные первого десятка в общих чертах совпадают с числительными хиндустани, панджаби, раджастанхани, но отличаются от числительных лэхнда. Од-

стр. 135), хотя шугнанское слово хорошо объясняется как восходящее к др.-иран. \**kāra-* (ср.: В. И. Абаева в сб. «Этимология. 1965», М., 1967, стр. 288; G. Morgenstierne, *Etymological vocabulary of the Shughni group*, Wiesbaden, 1974, стр. 27a). Еще менее обоснованно сближение слова *čuhra*, имеющего в среднеазиатских языках длительную и сложную историю (см. рецензируемую работу, стр. 35, примеч. 82) с тадж., узб. *čura* «друг, приятель» (Р. Рахимов, Традиционные мужские объединения и некоторые вопросы общественного быта таджиков. АҚД, Л., 1977, стр. 24) — словом, также имеющим, видимо, индийское происхождение: афг. (заимств.) *čota* «пара», синдхи *čoti* «пара; приятель», хинд. *čot* «пара» и др. от др.-инд. \**yut-* «соединять» (R. L. Turner, *A comparative dictionary of the Indo-Aryan languages*, London, 1966, стр. 606b).

<sup>1</sup> В частности, И. М. Оранский дает убедительный анализ термина *čuhra* и связанного с ним тадж. *čurti*, *čuhri* «раб; слуга, выполняющий грязную работу» как слова, имеющего, по-видимому, индийское происхождение (стр. 34—35). Это слово ранее объяснялось неверно; так, Л. Г. Герценберг, игнорируя индоарийские и афганские параллели (и с неточной ссылкой на Г. Дерфера — нужно т. III, № 1137), связывал его с авест. *čarāui* «молодая женщина», а также с шугн. *čor* «муж» (в сб. «Иранское языкознание. К 75-летию проф. В. И. Абаева», М., 1976,

нако в числительных второго десятка парья сближается с лахнда и синдхи. В целом, по всему комплексу языковых фактов парья не совпадает ни с одним из индоарийских диалектов.

Этот раздел является по существу очерком грамматики языка парья, тем более ценным, что все факты приводятся в сравнении с данными других индоарийских языков, а в главе «Фонетика» (§ 45—54) даются основные историко-фонетические соответствия с древнеиндийскими. Сравнимые материалы организованы в таблицы (всего их девять, также одна особая таблица терминов родства и свойства у парья), что позволяет читателю без особого труда следовать за грамматическими формулировками и сопоставительными выкладками автора. Небольшое замечание редакционного порядка: частично характеристики некоторых послелогов, грамматических показателей и т. п. повторены (иногда дословно) в соответствующих статьях словаря (причем в словаре нет ссылок на параграфы грамматического очерка).

Вывод автора, что язык гиссарских парья — один из диалектов центральной группы индоарийских языков, особенно близкий к диалектам группы панджабилахнда, тщательно обоснован и кажется вполне убедительным.

На стр. 95—238 приводятся тексты с переводом. Текстам предшествуют характеристики записей, некоторые замечания относительно транскрипции и список информаторов. Сопровождая записанные сказки комментариями фольклорведческого характера, автор вместе с тем подчеркивает, что они являются в первую очередь лингвистическим материалом. Записанные от людей, безыскусных в рассказывании сказок (и вообще в повествовательном творчестве), эти тексты являются типичными образцами речи, фиксированной ради языковых фактов, встречающейся в работах такого типа, но именовать их «фольклором» вряд ли правомерно. Тем, кому приходилось работать с представителями малых этнических групп, известно, что прозаического и поэтического фольклора на своем языке у них может и не быть. Так, и часть сказок, записанных на языке парья, являются просто пересказами (иногда весьма путанными и сокращенными) таджикских (а одна даже взята из сборника монгольских сказок, стр. 97). Никаких претензий к автору с этой стороны быть не может. Вызывает, однако, недоумение решение издательства поставить в заглавии книги слово «фольклор» на первое место (известно, что первоначальный заголовок был «Язык и фольклор...» и автор очень переживал это необоснованное переименование).

Публикуются также тексты этнографического и бытового содержания (в основном рассказы о современной жизни) и

разговорные фразы. Все тексты записаны фонетической транскрипцией, в приложении (стр. 237—238) дается опыт фонологической записи трех небольших текстов. Установление фонемного состава языка парья оказалось затруднительным, поскольку его фонетическая система находится в постоянном взаимодействии с таджикской и узбекской. Автор полагал, что эта проблема будет решена, возможно, «с помощью методов экспериментальной фонетики» (стр. 101). Но фонемный состав, как известно, не может быть установлен экспериментальными исследованиями. Автор со свойственной ему научной объективностью представил тщательно проведенную детальную фонетическую запись, что, несомненно, намного ценнее, чем априорное постулирование фонемного состава, как это иногда практикуется лингвистами-полевыми. В конечном итоге, ненормализованная фонетическая запись сможет послужить достоверным материалом для различных фонологических исследований (в то время как фонологическая запись есть уже результат исследования).

Переводы текстов очень близки к оригиналам, местами даже слишком дословны и, пожалуй, несколько перегружены пояснительными словами в квадратных и круглых скобках. Иногда, впрочем, автор переходит на стиль художественного перевода: «Долго ли, коротко ли...» (стр. 154, вместо «Несколько дней...»). По своему содержанию бытовые тексты мало интересны (тексты XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII и др., возможно, уместнее было бы отнести к разговорным фразам), но они уникальны как источники языковой информации. Русский перевод некоторых фраз и оборотов часто сопровождается таджикскими соответствиями, что помогает понять структуру построения фраз на языке парья, синтаксические конструкции которого могут калькировать таджикские.

Работу завершает обширный словарь (стр. 239—433), содержащий не только толкование всех слов и грамматических показателей вместе с этимологиями, но и полный конкорданс к текстам. Во введении к словарю излагаются принципы построения словарных статей, описываются привлеченные источники, особенности различных помет и сокращений. Таджикские слова, зафиксированные таджикско-русским словарем (1954), приводятся в современной (на основе русского алфавита) графике, а диалектная лексика дается в традиционной иранистической (латинской) транскрипции, что кажется не очень последовательным.

Все слова парья даются с краткими этимологическими комментариями: при словах индоарийского происхождения (т. е. исконных словах парья или заимствованных из индоарийского) указываются ближайшие индоарийские соответствия

(как правило, со ссылками на сравнительный словарь Р. Л. Тёрнера и этимологический словарь М. Майрхофера); при заимствованиях из таджикского (персидского) указываются соответствующие таджикские слова или слова дари (кабули), персидских диалектов Афганистана, прочая таджикско-персидская диалектная лексика. Как особую заслугу автора необходимо отметить, что при всех таджикско-персидских заимствованиях указываются аналогичные заимствования из персидского в хиндустани (по словарю Дж. Т. Платса), так как значительная часть таджикско-персидской лексики (также заимствованной из арабского) могла быть усвоена парья еще в период миграций по территории северо-западного Индостана и в Афганистане (см. § 115, стр. 90). Следует добавить параллели из хиндустани (зафиксированные словарем Дж. Т. Платса) к парья *badrin* «огурец» (хинд. *bād-rang*), *bismilla* (хинд. *bī'smi'l-lāh*) «во имя Аллаха», а также к ряду слов, которые не были объяснены автором (см. ниже).

По этому же принципу (слова могли быть усвоены парья не только из таджикского, но и непосредственно из узбекского в связи с отмеченным автором узбекско-парья двуязычием) можно было бы добавить узбекские параллели к следующим словам парья (в скобках указаны узбекские слова только в тех случаях, когда их фонетическая форма отличается от зафиксированной формы парья): *bōdanā* «перепел» (узб. *bedona*, афг. *budana* — тюрк.), *bolak* «другой» (узб. *būlak* «часть», тюрк., монг. *bōl* «делить»), *bōz* «грубая хлопчатобумажная ткань», *bulut* «облако», *buqa* «бык», *butun* «все», *čang* «пыль», *čaiāy* «плохой» (узб. *čatog*), *čōl* «стебель», *čōlaq* «раненый» (узб. *čūlog*), *čugur* «яма», *čudo* «очень», *kuṇyuz* «жук» (узб. *qūnyuz*), *kuṇyan* «крепость», *kuṇrača* «одеяльце», *mergan* «охотник», *mol* «много», *olčak* «мерка» (узб. *ūlčak*), *tuṇri* «правильно», *ugo* «не родной» (узб. *ūgay*) и некот. др.

Дополнения или уточнения можно внести также в статьи на следующие слова:

253а: *ala* «белый» — при описании передних ног и лба коня, к тадж. *alo* (из тюрк.), узб. *ola*, уйг., кирг. *ala* «пегий; пятнистый»; в тадж. диалектах (бадахш.) также *ala(m)poča* «пегий» (букв. «пестроногий», о масти крупного скота и лошадей), ишк. (из тадж.) *alapoča* «пегий», сарык. *alu*, шугн. *allā* «пестрый (о лошади)», ягн. *alo*, вах. (из тадж.) *ala*, *ala-poča* id.

257аб: *axta* «кастрированный» — сопоставление с др.-инд. *akṣnōti* (стр. 257б: в тексте опечатка) «холостить» — ошибочно. Это широко распространенное слово монгольского происхождения<sup>2</sup>, ср. тадж.,

афг. *axta*, шугн. *axtā*, язг. *axtā(y)*, сар. *axto*, ягн. *ōxta*, бур. *Axta* и пр. «холощенный».

263а: *baxš-* «отдавать; дарить» — вместе с хинд. *baxšnā* к тадж., перс. *baxš-* «дарить; давать».

269б: *ča* «пахтанье» — сопоставление с тадж. обл. *čay-deg* «маслобойка» и другими таджикскими диалектными словами с *čay-*, *čax-* (в названиях приспособлений для сбивания масла) неуместно. Эти элементы связаны с диалектными адаптациями тадж., перс. *čay*, *čax* «мутовка» (также «прялка» к перс., тадж. *čarx* букв. «колесо»).

273а: *čar-* «пасться» — не обязательно только индоарийское, ср. тадж., перс. *čaridan* «пасться».

275б: *čilovčīn* «...кувшинообразный сосуд для умывания рук» — определение не точно, имеется в виду тазик, над которым моют руки, ср. тадж. *čalobči* (к тадж. *čalob* «грязная, мутная вода?»), диалектн. (дарв., карат.) *čalamči*, *čalarči*; сходные заимствования из таджикского и (или) персидского: сар., ишк. *čalarči*, ягн. *čalopči*, пашаи *čelumči*, верш., бур. *čilamči(n)*, афг. *čilamči* «таз (к умывальнику)».

300а: *gulun* «сухой урюк» — узб., тадж. *γūlung* «сушеный урюк».

302а: *γundāl* «скорпион» — индо-ар. или тадж. диалектн., ср. тадж. *γunda* «каракурт; фаланга», тадж. диалектн. (вандж., бадахш.) *γəndal* «фаланга; скорпион», мундж. *γəndāl*, вах. *γəndāl*, *γundal*, афг. *γunḡal* «тарантул», хинд. *gāḡuā*, маратхи *gāḡoḡ* «червь», пашаи *gunḡel* «черная оса», осет. *qəndīl* «жук; таракан» и пр.

303б: *hamsā* «палки» (стр. 435а: «посох») — тадж. *aso*, хинд. *ʿašā* «палка; посох» (араб., перс.).

306а: *hiyāl* (*oyīla*?) *kar-* «думать» — вариант в скобках, видимо, не к тадж., перс., хинд. *xiyāl* «мысль», а к узб. *ūylamoq* «думать».

338б: *koro* в сочетании *koro-korzano* «оружейные мастерские» к тюрк. *qur*, *qor* «оружие», ср. перс. *qūr-xāna* «арсенал», *qūr* «боеприпасы, оружие», тадж. диалектн. *k/qūrxona* «арсенал», также в хинд. *qor-xāna* (Platts).

343а: *kutal* «подъем» — помимо кабули (дари), ср. также тадж. *kūtal*, афг. *kotal*, хинд. *kotal* (Hobson-Jobson s. v.) «перевал» — видимо, из тюрк., монг.<sup>3</sup>

358б: *mandau* «верблюжий горб» — афг. *mand/ḡāw* «холка; загривок», тадж. диалектн. (вандж., бадахш.) *məndaw* «холка», к индо-ар., ср. паш. *mandaw* «шея», др.-инд. *maṇi-* «горб верблюда» и др.

365б: *mōr* «клеймо» — тадж. *mūhr* «печатать; штамп» (также хинд.).

<sup>2</sup> См.: G. Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, Wiesbaden, 1963, I, N 114.

<sup>3</sup> G. L. Ramstedt, Marginal notes on Pashto etymology, «Studia Orientalia (editio Typomas Orientalis Fennica)», XVII, 5, Helsinki, 1952, стр. 10.

3656: *toḡūk* «недоуздок» — тадж. диалектн. *mo(ho)g*, перс., тадж. *māhor*, *tohor* «повод; палочка в носу верблюда», в перс. диалектах *māhar* «удила; недоуздок» (В. А. Жуковский, Г. Моргенштерне) и пр., афг. *māhār*, *muhār* «поводья (у верблюда)», афг. *māhāri* «быстроходный (о верблюде)».

3686: *zūkom* «простуда; насморк», араб. *ṣaḡm* «простуженный».

3886: *ruṇḡūk* «бутон» — ср. также афг. *ruṇḡūk*, *ruṇḡūk* «почка; бутон», тадж. диалектн. (дарв., куляб., вандж., бадахш.) *ruṇḡūk* «почка; бутон; незрелый плод; завязь».

408a: *takaltu* «попона» — дари, перс. *takaltū* «потылок».

4096: *taḡ* «подпруга» — перс. *taḡ*.

4116: *tāw* «вращение» — разумеется, не к др.-инд. *dāva-* «бежать», а заимствование из тадж., перс. *tāb* «скручивание; вращение», тадж. диалектн. *toḡ*, *toḡ* id.

430a: *yaḡdan* «сундук» — тадж., перс. *yaḡdān* «сундук; сундучок (для хранения вещей)».

433a: *zūrat* «наследник» — тадж. *zūryot* «потомство», перс. *zurriyyāt* из араб. *zurriyyāt*; ср. аналогичные заимствования из тадж., перс.: ягн. *zūryot*, руш., хуф., рошорв. *zūryōt*, язг. *zər(ḡ)yoḡ*, *zər(ḡ)yoḡ* «ребенок», вал. *zəryot* «потомство; дети».

К словарю прилагается «Дополнение» стр. 434—438), в которое вошла лексика из записей Т. И. Оранской, сделанных позже среди женщины.

435a: *gūton* «зародыш» — очевидно, просто окказиональное употребление тадж. *gūton* «подозрение; предположение» (в данном случае о беременности).

4366: *niḡsar* «жвачка» — ср. (помимо тадж. диалектн. *niḡsar*, тадж. *niḡsar*, перс. *niḡsar* (<\**niḡ-sar*?) «жвачка», ягн. (из тадж.) *niḡsar*, ишк. (из тадж.) *niḡsar*, белудж. *niḡsar*, афг. *ḡwānd*, афг. вазири *ḡwān* и пр. «жвачка (животных)».

4366: *rai* «хрящ» — видимо, тадж. *rai* «жила; сухожилие».

4386: *xās* «послед» — тадж. диалектн. (бахдахш.) *xās*, шугн., рошорв. *xās*, мундж. *xāstā*, афг., ягн. *xās* «послед» (преимущественно у животных).

Весь словарь, возможно, мог бы быть несколько сокращен, если бы следующие друг за другом в порядке алфавита фонетические варианты отдельных слов не выносились в разные статьи (с отсылками на следующее или предыдущее по порядку слово). В словаре встречаются не вполне удачные определения некоторых этнографических реалий (*katānḡulak* — это лук не с одной, а с двумя параллельными тетивами; *raḡatman* — не лук, а праща), неудачно определение слова *daḡtarḡan* как скатерти или платка, в которые завернуто угодение (стр. 190, 285a), — частный и совсем не общепринятый случай употребления *daḡtarḡana*. Возможно, излишне подробно и детализованы определения таких обычных слов, как *kurḡana*,

*peḡca* (русс.) и др., которые не составляют к тому же особой специфики быта парья.

Автор последовательно придерживался принципа вынесения в словарь всех слов из текстов, но нам кажется, что вынесение в словарь случайных фраз на английском языке (стр. 297a), также упоминание в двух (!) статьях имени некоей Марьи Петровны (*Marj* — стр. 361a; *Petrov* — стр. 385b) и т. п. случаи находятся уже по ту сторону самых высоких требований филологической акрибии. Вместе с тем, помета *русс.* при многочисленных русских словах употребляется не всегда единообразно, то непосредственно после перевода (*пианино*, стр. 386a), то в конце статьи (*план*, *пионер*, *проверка* — в том же столбце). Сходный сравнительный материал повторяется при статье на *ispin* (стр. 312b) и в статье *lālā* (349a) «дядя». Число подобных мелких просмотров и недочетов, которые, по-видимому, можно найти во всякой большой работе, связанной с использованием многочисленных и разнообразных источников, — в общем невелико.

Книга содержит несколько хорошо произведенных фотографий парья. К сожалению, в ней встречаются опечатки (И. М. Оранский успел выправить только первую корректуру работы).

В целом рецензируемая книга может, несомненно, служить образцом применения комплексного востоковедного подхода к решению сложнейших этногенетических проблем малых этнических групп, не обладающих ни письменной, ни устной исторической традицией. Все, кто знал И. М. Оранского, по достоинству оценят небольшое послесловие (стр. 439—440), посвященное памяти безвременно умершего ученого и описывающего его путь в науке<sup>4</sup>. Этот путь, несмотря на свою краткость, был отмечен многими выдающимися свершениями, публикацией значительных и важных работ, к числу которых принадлежит и рецензируемая книга, занимающая видное место среди исследований по живым индоиранским языкам.

Стеблин-Камениский И. М.

<sup>4</sup> К сожалению, в послесловии ошибочно указывается, что И. М. Оранскому звание доктора филологических наук было присвоено по совокупности работ (видимо, вслед за изобилующим неточностями и опечатками «Биобиблиографическим словарем советских востоковедов» С. Д. Милибанд — М., 1975, стр. 4016—402a; в 1977 г. словарь был переиздан фотомеханическим способом, причем к старым опечаткам и опечаткам прибавились новые: фамилии ряда востоковедов, исключенных из текста словаря, остались в указателях). В действительности И. М. Оранский в 1967 г. защитил докторскую диссертацию «Индоиранские диалекты Гиссарской долины».

**«Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги».**

Издание подготовили С. И. Котков, Н. С. Коткова. — М., «Наука», 1977. 359 стр.

Первое научное издание памятников южновеликорусской письменности представляется большой, а для специалистов — и волнующий, интерес.

Древних южновеликорусских источников не существует: они погибли в пожарах татаро-монгольского нашествия. Лишь с момента утверждения Московской Руси на южных рубежах, с XVI в., сохраняются в государственных архивах деловые бумаги воеводских канцелярий. Основная масса этих бумаг, тянувшихся по годам без перерыва, начинается лишь со времени царя Алексея Михайловича, со второй четверти XVII в. Эти обстоятельства до некоторой степени объясняют причины длительного невнимания лингвистов к южновеликорусским текстам.

Полемика пятидесятых годов о роли южновеликорусского наречия в формировании русского литературного языка велась в условиях недостаточного знакомства лингвистической общественности с языковыми особенностями этого наречия в период XVI—XVIII вв. — в научном обиходе не было никаких южновеликорусских источников, к систематической работе в южновеликорусских архивах исследователи еще не приступали. Полемика стимулировала интерес к южновеликорусской письменности, начались более интенсивные поиски источников в местных архивах, стали появляться исследования, написанные на основе архивных материалов и местных говоров<sup>1</sup>. Значение южновеликорусских материалов для изучения истории русского литературного и шире — национального — языка стало очевидным. Однако в сфере источниковедения положение существенно не менялось, хотя описания и краткие характеристики текстов, имеющихся в южнорусских архивах, стали привычными<sup>2</sup>.

И вот перед нами первая книга, содержащая тексты, написанные на южновеликорусской территории в XVII в. Для публикации С. И. Котков и Н. С. Коткова отобрали так называемые отказные книги, в которые заносились «отказы» — докумен-

ты, дающие право помещику пользоваться указанным в этом документе земельным участком за несение государственной службы. Особенность отказов состоит в том, что они строго локализованы, датированы, и во многих отказах указано происхождение писавшего их лица («...а сыскная книга | писал елчениць Потал Сухочев», 4, 149 об. <sup>3</sup>). Другими словами, эти тексты не вызывают сомнений относительно их местной приуроченности. В книгу включены выборки из отказных книг, хранящихся в фонде Поместного приказа (№ 1209) в ЦГАДА (Москва).

Учитывая однотипность композиции документов и повторяемость в них одних и тех же формул зачина, концовок, а иногда и срединных формул отказа земель, издатели не стали публиковать целиком одну какую-нибудь отказную книгу. Они сделали огромную работу для того, чтобы отобрать из нескольких книг, представляющих разные южновеликорусские территории (белгородскую, брянскую, воронежскую, елецкую, карачевскую, курскую, миценскую, новосильскую, орловскую и рьльскую) такие отказы, в которых повторяемые части варьируются, а неповторяемые дают наиболее разнообразную информацию лингвистического характера. Предпочитались тексты, сохраняющие диалектные особенности местной речи и наиболее полно подающие лексические факты из типичных для отказов тематических групп.

Издания источников, предпринимаемые Институтом русского языка АН СССР, с точки зрения их научной достоверности и глубокой продуманности принципов передачи графики и орфографии оригинала настолько хорошо себя зарекомендовали, что говорить об этом в настоящей рецензии представляется излишним. Во введении издатели тщательно оговаривают особенности передачи скорописных текстов отказных книг (стр. 5—6). Публикация текстов завершается «Указателем писцов» (стр. 286—293) и «Указателем слов» (стр. 294—344), содержащихся в текстах. В приложении находим также фотокопии нескольких листов отказных книг.

Отбор текстов из разных памятников сделан так, что читатель получает достаточное представление и о стереотипности текстов отказа и о пределах возможного варьирования слов, форм, написаний в пределах одной книги. В то же время вырисовываются особенности одной книги по сравнению с другой. Например, обилие упоминаний о бобровых гонах выделяет брянскую отказную книгу, рьльская

<sup>1</sup> См., например: С. И. Котков, Южновеликорусское наречие в XVII столетии, М., 1963; «Южнорусские говоры и памятники письменности» [«Материалы конференции по изучению южнорусских говоров и памятников письменности (6—8 декабря 1962 года)»], Воронеж, 1964; и др.

<sup>2</sup> См., например, описания рукописей ряда местных архивов в книгах: «Исследования источников по истории русского языка и письменности», М., 1966; «Русский язык. Источники для его изучения», М., 1971; «Источники по истории русского языка», М., 1976; и некот. др.

<sup>3</sup> После примеров указываем номер опубликованной книги и лист ее рукописи.

книга отличается обилием упоминаний бортовых знамен и так далее.

Указатель слов, содержащий сводку количества употреблений каждого слова в публикации, развернутую в виде перечня номеров книг и листов рукописи, на которых это слово находится, имеет самостоятельную научную ценность. Только по указателю слов можно выполнить ряд исследований, связанных с лексическими особенностями текстов.

О возможных подходах к изучению отказных книг С. И. Котков писал еще в 1969 г.<sup>4</sup> Отметим важнейшие из них. Отказные книги дают богатый материал для изучения названий людей по месту жительства (*белогородец, воронежец, ельчанин, ефремовец, курченин — курченка, мцененин, орленин* и др.), названий местностей и деталей южнорусского рельефа как собственных, так и нарицательных (*Сухой холм, Чистый мох, Молинов полог, Липовские разсоши, Теплая дубровка, Красный боярак; болотце, бор, бродок, водомоина, вышершек, полугора, дол, заводь, колодезь, колок, котлубань, поляна, ржавец, ров, ручей, лощина, островок, лужок* и мн. др.). Наиболее полно представлены в отказных книгах тематические группы лексики, отражающие институт землевладения, характеристики земельных угодий (*борозда, борть, пустошь, высечь лес, вотчина, выгон, гон, загон, грань, межа, делить, отмежевать, гумнище, дача, двор, изверстать, поместье, рубеж, мера, копна, заполье, займище, животина, дрова сечь косити, пашня, покос, селитьба, сено, скирды, хмельник* и мн. др.). Представляют интерес упоминания деревьев, птиц, животных (*береза, верба, олеа, олешек, ольха, клен, папленок, ковыла, липа, липяг, липяжок, яблоня, ягода, ясень, лоза, камыш, ива, гай, лесок, влосок, орлово гнездо, скопино гнездо*, и мн. др.). Останивливают внимание названия признаков деревьев, служивших для опознания межевых граней. Например, о дубе говорят — *ветьеват, възголяв, вилловат, желват, краковит, кудряв, луковат, плотав, почковат, развиловат, триплотае, укоренист* и т. д.

Опубликованные тексты дают большой материал по синонимии и вариантности южнорусского слова в его фонетической, словообразовательной и лексической сторонах. Ср. *озеро, озеречко, озерище, озерко, озерцо; плес, плесо, плесок, плесцо; усада, усадище, усадищечко, усады, уложей, угодье, урочище; дуб, дубец, дубок, дубчик* и др.

Любопытно словоупотребление отказных книг, еще почти не служившее предметом наблюдений (тѣ| крестьяня выбежали во РМА м годъ, 1, 394 об.; том | Черемошнои лог и малои ложокъ вышли | ис Коренскова лѣсу и впаля в рѣчку | в Рас-

8 мною, 1, 395 об.). Ждет своего изучения фразеология землепользования (*две чети в поли а в дву по тому ж, сено косить по конец своих поль, пашня им пахать, как исстари к тому селу тянет, кормить до ее живота, сыскивал всякими сыски* и др.). Попутно заметим, что форма именительного при инфинитиве в выражении *пашня пахать* для южновеликорусских текстов, видимо, должна быть определена как архаический компонент терминологического фразеосочетания, поскольку в других выражениях именительный с инфинитивом в этих текстах практически не употребляется.

Много материала дают тексты для изучения фонетики и морфологии южновеликорусских говоров XVII в. Ср. двѣ волхи на волхи | гран (1,2), Васка (1,2 об.), Поцынской воло | сти (2,19 об.) изы Иванова помѣстья (2,20), увонче (2,25), сяла Чертовичкогъ (3, 33), сянняя покосы (3, 98 об.), во | яводи (3,629), на бѣрягъ (3,630), Пятрова (4,265), Абонка (4,279 об.), троецкаки дароги (6,75), са ряку (6,304 об.), со вѣтми вгоди (9,542), хрымскои сторогѣ (9,905), знамячко (10,252) и мн. др.

Тексты интересны для изучения орфографической выучки писцов. Например, по показъ (1,3), Одею (1,15 об.), асминики (1,16), комыш (1,26), ку | сть ивавь (1,26 об.), волче (1,394), въ его аклад (3,381 об.), отману | дольскому (3,546), на | трех есенка (7,326 об.), от тех ясенков (7,326 об.), по еръ жуку (10,482), са Бесавою яръ жукою (10, 482 об.) и т. д.

Издание источников по южновеликорусскому наречию несомненно продвинет изучение этого важного фактического материала, поскольку он станет доступным самым широким кругам филологов, историков языка, студентов. Именно такую роль уже сыграли публикации книг: «Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII—начала XVIII века» (М., 1964); «Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия» (М., 1965); «Московская деловая и бытовая письменность XVII века» (М., 1968); «Грамотки XVII — начала XVIII вв.» (М., 1969), которые в настоящее время широко используются для разнообразных исследований по русскому языку XVII—XVIII вв. в разных вузах нашей страны<sup>5</sup>. Издание южновелико-

<sup>5</sup> См., например, из последних работ: Р. А. Каримова, Т. А. Кильдибекова, Тематическая группа слов как объект исторической лексикологии (на материале бытовой лексики народно-разговорного языка XVII — начала XVIII вв.), в кн.: «Исследования по семантике», Уфа, 1976; Н. Д. Жихарева, Конструкции, члены которых имеют совмещенное значение, в памятниках народно-разговорного языка XVII в., в сб. «Русский синтаксис», Воронеж, 1977.

<sup>4</sup> См.: С. И. Котков, Отказные книги, ВЯ, 1969, 1.

русских текстов позволит улучшить преподавание исторической грамматики и диалектологии, так как можно будет дать в руки студентам подлинные законченные тексты, отражающие языковые особенности южной территории в XVII в.

Но издание имеет не только прикладное значение. Любой читатель, интересующийся прошлым своей родины, с интересом погрузится в чтение книги, запечат-

левшей заботы и тревоги наших предков, их любовное отношение к окружающей их южнорусской земле с ее козьими ходами, рыбными и звериными ловлями, лосиными стойлами, хмелевыми болотами, птичьими гнездами, дикими полями, овиными ямами, лычной и лубяной проречью, полевыми дорогами, логами и перелогам.

З. Д. Попова

**А. В. Бондарко. Теория морфологических категорий. — Л., «Наука», 1976. 256 стр.**

Книга А. В. Бондарко содержит «опыт построения частной теории морфологических категорий» и основана на материале русского языка; теория эта «рассчитана главным образом на тот тип морфологических категорий, который представлен в славянских языках» (стр. 3). Однако содержащиеся в книге построения имеют непосредственное отношение и к общей типологии морфологических категорий (далее — МК) и могут быть с разных точек зрения применены к различным языкам; в этом ее общезыковедческое значение. Книга является обобщением предшествующих исследований автора и его наблюдений над отдельными МК.

В книге рассмотрен комплекс проблем, носящих, по определению автора, как «внутренний» характер (классификация МК, принципы их структурной организации), так и «внешний»: отношение МК к синтаксическим категориям, формальным классам, лексико-грамматическим разрядам, функционально-семантическим полям — всему тому, «что их окружает и с ними связано» (стр. 4). Морфология при этом понимается (в соответствии с предшествующими работами автора и в духе русской грамматической традиции) широко — как «грамматическое учение о слове» в системно-структурном и функциональном аспектах.

1 глава книги посвящена общему понятию грамматических категорий и понятию МК в частности. МК определяются автором как «системы противопоставленных друг другу рядов морфологических форм (в пределах определенной части речи) с однородным содержанием» (стр. 10—11). В таком понимании важны два момента. Во-первых, предлагается более узкая и конкретная трактовка понятия и термина «грамматическая категория» (и относящегося к нему как видового к

родовому понятию и термина «МК»), нередко применяемого расширительно к любым классам и группировкам в грамматике, например, к частям речи, к отдельным граммемам. Противопоставленность рядов морфологических форм и однородность их значения (или — шире — содержания) справедливо рассматриваются автором как важнейшие признаки МК, отличающие их от других единиц морфологии. Во-вторых, МК рассматривается не как единица плана содержания, а как единица билатеральная. Отказываясь от односторонней (семантической) трактовки МК, автор убедительно показывает теснейшую связь плана содержания и плана выражения в их структурной организации (см. стр. 29), хотя и видит в их содержательной стороне сторону основную, определяющую, «конституирующую» ряды форм — компонентов МК (стр. 31—32). Здесь же поставлен вопрос об огличии МК от так называемых формальных классов (например, разных типов спряжения глагола), в рамках которых «четкие формальные различия» не сопровождаются столь же четкими «различиями в значениях» (стр. 34).

II глава содержит классификацию МК, представленную в виде комплекса классификационных схем, основанных на разных признаках. Схемы эти объединены в три группировки: 1) классификации содержательно-функциональные; 2) структурно-синтаксические и 3) собственно морфологические классификации, ориентированные на характер формообразования. В связи с последней группировкой рассматривается вопрос о соотношении понятий словоизменения и формообразования, второе из которых, по мнению автора, шире и охватывает, кроме сферы образования форм одного и

того же слова, сферы образования «форм разных слов». Вся эта глава убедительно и полно, без упрощений в угоду схемам, демонстрирует сложность и многоаспектность взаимодействия МК. Отметим отсутствие в этой главе крайних решений, применение в ряде случаев градуального принципа классификации (позволяющего учесть, например, разные степени синтагматической значимости категории, см. стр. 75), трехчленных классификаций (например, различение МК «последовательно коррелятивных», «непоследовательно коррелятивных» и «некоррелятивных»; МК актуализационных, с переменной актуализационной значимостью и неактуализационных). Завершает II главу обобщающий раздел о связи между членениями МК по разным признакам, где указанные классификационные схемы выступают как система.

В III главе анализируется внутренняя структура МК. Вот краткий перечень проблематики этой насыщенной теоретическими обобщениями главы: граммема как компонент МК, носящий билатеральный характер, обладающий системой дифференциальных семантических признаков и находящий выражение в ряду словоформ; соотношение граммемы и морфологической формы как отвлеченно-грамматического аналога словоформы, представляющего собой комплекс категориальных признаков; иерархические отношения в ряду «морфологическая форма — граммема — МК» и в смежных парадигматических рядах; функции и характер взаимосвязи граммема, совмещенных в словоформе; МК как система и как признак и отнесенность разных аспектов категории к языку и к речи (так, языковое отношение «часть речи — МК как ее признак» реализуется в речи в виде отношения «словоформа — граммема как ее признак», причем последнее существует также и в языке, см. стр. 149—150).

IV глава посвящена соотношению МК и лексико-грамматических разрядов (далее — ЛГР). Последние понимаются как грамматически значимые группировки слов (подклассы) в рамках части речи, которые характеризуются общим семантическим признаком и взаимодействуют с МК, связанными с ними семантически, в частности могут определять соотносительность (несоотносительность) компонентов данной категории, причем соотношения ЛГР не представляют собой оппозиций рядов морфологических форм (см. стр. 156—157). Наличие морфемного показателя (морфемная «характеризованность») рассматривается при этом как необязательный признак ЛГР (в этой связи показана грамматическая значимость «нехарактеризованных» разрядов и их отличие от лексико-семантических групп). Автор оставляет ЛГР по структуре и значению с МК (наиболее детально — на материале соотношения кате-

гории глагольного вида и «способов действия»).

В V, последней, главе освещается принцип поля при анализе МК. Здесь определено понятие функционально-семантических полей как сферы функционального взаимодействия грамматических и неграмматических средств языка. Грамматическим центром функционально-семантического поля является МК, значение которой — наиболее сильный элемент, определяющий ядро, доминанту семантики данного поля (стр. 209): например, МК времени — центр поля «темпоральности». Характерное для функционально-семантических полей взаимодействие явлений разных языковых уровней, сложное переплетение и взаимообусловленность различных оппозиций, многообразие переходных фактов подробно показаны на материале поля «залоговости» (с центром — МК залога), где взаимодействуют такие оппозиции, как актив — пассив, переходность — непереходность, возвратность — невозвратность.

Затрагивая ряд фактов, сложных уже в самой своей языковой онтологии, поновому интерпретируя спорные вопросы, автор тем самым неизбежно вызывает рецензента на полемику, на сопоставление разных точек зрения и приведение контраргументов. Следующие ниже замечания направлены как раз на то, чтобы заострить предлагаемые автором трактовки некоторых вопросов, подчеркнуть возможности дальнейшего их обсуждения.

В предлагаемой классификации МК автор, как нам кажется, недостаточно акцентирует роль системы форм изменяемого слова, представляющей собою единство (хорошо в свое время показанное в работах А. И. Смирницкого), содержащей морфологическую характеристику слова в целом и являющейся существенным признаком так называемых классификационных, или несловозменяемых, а по терминологии автора — «некоррелятивных» и «непоследовательно коррелятивных» категорий (например, рода существительных или — частично — вида глаголов). Эта особенность интерпретации МК обнаруживается уже терминологически: А. В. Бондарко предпочитает применительно к «некоррелятивности» категорий говорить о соотносительности «форм разных слов» (см. стр. 85, 88, 99, 116), а не о соотносительности слов в целом, во всей системе их форм, что, по видимому, точнее характеризовало бы данные отношения, поскольку о соотносительности отдельных форм разных слов можно говорить и для «коррелятивных» (в традиционной терминологии — словозменяемых) категорий. Но указанная особенность проявляется и в самом подходе к статусу некоторых конкретных грамматических оппозиций, в отнесении их к МК или к ЛГР.

В первую очередь это относится к противопоставлению «одушевленность—неодушевленность существительных». Автор видит в нем не особую МК, а лишь ЛГР на том основании, что оно не имеет «собственной системы рядов морфологических форм» (стр. 163), т. е. системы форм, «не относящейся к категориям падежа и рода» (стр. 187). Это обстоятельство (на фоне вообще присущего флексиям существительных, как «пучкам граммем», синкретизма выражения морфологических значений) не может, с нашей точки зрения, поколебать статуса одушевленности—неодушевленности как МК (преимущественно отражательного характера, и притом «некоррелятивной»), основанной на формально-семантическом противопоставлении слов (как совокупностей морфологических форм), охватывающем все существительные. Различие форм вин. пад. мн. ч. и — частично, не у всех существительных — также форм вин. пад. ед. ч. является различительным признаком парадигм существительных в целом. Тот факт, подчеркиваемый автором, что различие форм вин. пад. «является не чем-то исходным, первичным, ... а, напротив, представляет собой следствие, результат принадлежности того или иного существительного либо к разряду одушевленных, либо к разряду неодушевленных, а эта принадлежность определяется прежде всего по смыслу» (стр. 188), тоже вряд ли колеблет категориальный статус одушевленности — неодушевленности, ибо упомянутое свойство характерно для категорий отражательного типа.

Другое морфологическое противопоставление, категориальный статус которого, отвергаемый автором, остается, как нам кажется, проблематичным, — это противопоставление переходности — непереходности глагола, которое может рассматриваться, с нашей точки зрения, и как особая МК, отдельная от категории залога, хотя и тесно с ней связанная и носящая «некоррелятивный» и в значительной своей части отражательный характер (заметим, что на содержательной стороне понятия транзитивности автор в данной книге не останавливается). Транзитивность—интранзитивность трактуется автором как ЛГР, а не как МК<sup>1</sup>; при этом подчеркивается, что морфологически маркирована, притом частично (постфиксом *-ся* в сфере возвратных глаголов), лишь интранзитивность; у невозвратных же глаголов «различие транзитивности/интранзитивности» «передается лексико-синтаксическим способом» (стр. 239—240). При установлении ста-

туса данного противопоставления встает несколько общих вопросов, касающихся статуса МК вообще, а также характера и сферы выявления присущих им оппозиций, — вопросов, на которые содержащееся в книге определение понятия МК прямого ответа не дает.

Во-первых, может ли быть такая оппозиция, с точки зрения характера внутрисловного ее выражения, привативной (в данном случае: при наличии форманта *-ся* — одно из двух противопоставленных значений, а при его отсутствии — либо одно, либо другое)? Во-вторых, какие средства можно считать выразителями морфологических значений? Следует ли ограничивать их только внутрисловными морфемными средствами? Можно ли относиться к таким средствам (для «некоррелятивных» МК) определенную систему форм слова (ср. сказанное выше о значимости системы форм в целом для выражения таких категорий) и, соответственно, регулярную неполноту парадигмы, отсутствие в ней некоторых форм? Если да, то отсутствие страдательных причастий в парадигме непереходных глаголов может рассматриваться как выражение граммы непереходности<sup>2</sup>; ср. хотя бы неполноту парадигмы глаголов совершенного вида — отсутствие форм наст. вр. и некоторых других — как один из формальных показателей граммы совершенного вида (особенно в таких случаях, как, например, *варить* и *решишь*, *уметь* и *испеть*, *гнуть* и *рухнуть*). В-третьих, могут ли морфологические значения выражаться внесловными, собственно синтаксическими средствами? Если да, то основным грамматическим выражением переходности является форма сильноуправляемого слова; ср. подчеркиваемую автором релевантность признака «синтагматической значимости» у таких категорий («синтагматически обуславливающих», см. стр. 70 и сл.), как род существительных (согласовательное выявление которого оказывается, кстати, единственным различителем рода у существительных на *-а*, а также у «несклоняемых» существительных); ср. только синтагматическое различение залога (актива или пассива) у возвратных глаголов; ср. также поиски автором формальных признаков (даже при отсутствии морфемных показателей) при интерпретации «нехарактеризованных» ЛГР и сочувственно цитируемые в этой связи (на стр. 179) слова Л. В. Щербы о том, что формальными показателями категорий являются не только морфемные средства, но и «синтаксические формы в широком смысле этого слова». От того

<sup>1</sup> В другом месте работы, однако, интранзитивность названа «категориальным признаком» возвратных глаголов (стр. 174).

<sup>2</sup> Справедливо подчеркивая особое место страдательных причастий в парадигме переходного глагола, автор отмечает, что эта форма находится в «позиции непереходности» стр. 226).

или иного решения всех этих вопросов зависит установление инвентаря МК в конкретном языке.

Не лишена, с нашей точки зрения, противоречий трактовка в книге категории рода существительных. С одной стороны, автор рассматривает ее среди категорий «преимущественно отражательного типа» (поскольку «род одушевленных существительных связан с семантикой пола, имеющей отражательный характер»<sup>3</sup>, стр. 47); с другой же стороны, подчеркивает, что «семантику пола нельзя приписывать грамматическому роду» (а можно приписывать лишь определенным ЛГР). «Иначе придется признать, что для одной части лексических единиц, охватываемых категорией рода, содержание этой категории является и структурным, и семантическим, а для другой части — лишь структурным. Между тем в других морфологических категориях такой ситуации нет» (стр. 195). Представляется, что именно последнее высказывание более точно выявляет специфику категории рода существительных, ее особое место среди других МК как категории, имеющей семантико-структурное содержание, и при этом, мы бы добавили, категории частично отражательной, частично же — интерпретационной, допускающей трактовку каждого из родов всех существительных (в том числе и неодушевленных) как своеобразного «грамматического пола». Для личных существительных и частично для названий животных эта грамматическая «мужскость—женскость» отражает внеязыковую (биологическую) «мужскость—женскость», т. е. понятие о поле живого существа, для остальных — остается чисто, интерпретационной: все неодушевленные существительные и частично названия животных интерпретируются в языке либо как «грамматически

<sup>3</sup> Точнее было бы говорить о последовательном противопоставлении семантики пола только у существительных с личным значением, но не у всех одушевленных. Для подавляющего большинства существительных, являющихся внеполовыми названиями животных, это свойство (способность вступать в оппозицию «лексико-грамматических разрядов со значением отношения к полу», см. стр. 189—190) в свою очередь зависит от грамматического рода и проявляется только у названий мужского рода (*лев — львица, кит — окказ, китиха* и т. п.), но отсутствует у названий женского рода (*акула, лягушка, мышь* и т. п.). См.: В. В. Виноградов, Рождение слова, М., 1973, стр. 75. Речь идет, таким образом, о строгом грамматическом ограничении, а не о «редких исключениях» «в рамках одушевленности» (как трактуются слова типа *утка, обезьяна* в рецензируемой книге, см. стр. 193).

мужские» (мужской род), либо как «грамматически женские» (женский род), либо как «ни те, ни другие» (средний род)<sup>4</sup>.

Трудно согласиться с автором в том, что личным местоимениям присуща «категория лица» (см. стр. 12). Полагаем, что значение лица является лишь лексическим значением этих местоимений, формирующим (с учетом их некоторых категориальных особенностей) в лучшем случае особый ЛГР.

В связи с развиваемой автором концепцией категории вида как категории «непоследовательно коррелятивной», т. е. противопоставленной частично в пределах форм одного и того же слова, частично же в пределах «форм разных слов», хотелось бы обратить внимание только на одно: при всей разработанности этой концепции (прежде всего в работах Ю. С. Маслова и А. В. Бондарко), одно из основных положений ее — положение о тождестве лексического значения членов видовой (а также залоговой) пары и, следовательно, о сохранении в них «лексико-семантической базы тождества слова» (см., например, стр. 79—80, 86, 93 рецензируемой книги) — только постулируется, но не аргументируется, а между тем оно не представляется самоочевидным<sup>5</sup>.

Несколько замечаний о применяемой в работе терминологии и «специальной фразеологии». Автор много поработал в этой области, добившись почти полного отсутствия случайных формулировок. Однако не все вводимые в книгу термины и формулировки представляются нам

<sup>4</sup> В этой связи не следует игнорировать, хотя, разумеется, не следует и преувеличивать как имеющие достаточно узкое применение, факты образно-поэтического речевого переосмысления неодушевленных существительных («одушевления» или персонализации соответствующих предметов), основанного только на их грамматическом роде (например, *ein Fichtenbaum — eine Palme* в знаменитом стихотворении Гейне или *рябина — дуб* в русской народной песне о тонкой рябине); подобное переосмысление было бы невозможным со словами среднего рода. Тот же прием подкреплен словообразовательными средствами в парах типа *миноносец — окказ, миноносица* (Маяковский), *лопух* (растение) — *окказ, лопухня* (Н. Матвеева).

<sup>5</sup> Ср., в частности, положение В. В. Виноградова о том, что «лексические значения слова подводятся под грамматические категории» и что «определение лексических значений слова уже включает в себя указания на грамматическую характеристику слова» (В. В. Виноградов, Русский язык, М., 1972, стр. 18).

вполне удачными. Мы уже говорили о формулировках типа «соотносительность форм разных слов», применяемых к так называемым некоррелятивным МК. Не кажутся нам удобными и сами термины «(не)коррелятивные категории», «классификация по признаку коррелятивности» и т. п. (стр. 80): они малоинформативны, применимы к разным сферам языковой системы и требуют постоянного напоминания, что речь идет о «(не)коррелятивности форм в пределах одного и того же слова». В этом смысле они еще менее удачны, чем традиционный термин «(не) характеризованные разряды», неясность которого отмечается и автором: «по существу следовало бы говорить о морфемно характеризованных и морфемно нехарактеризованных разрядах» (стр. 170).

Говоря о семантическом содержании оппозиции «актив — пассив» и справедливо учитывая возможность применения этих понятий к бесподлежащим конструкциям, автор всюду использует вместо понятия (и термина) «подлежащее» понятие (и термин) «носитель глагольного признака»: «при активе... носителю глагольного признака соответствует логический субъект, при пассиве... — логический объект» (см. особенно стр. 228—229). Нам эта терминология не кажется наилучшей, ибо «носитель глагольного признака» — понятие в принципе столь же логическое, не принадлежащее собственно языковой структуре, сколь и понятия логического субъекта и объекта: с логической точки зрения носителями глагольного признака как в конструкциях типа *Отец написал статью*, так и типа *Статья написана отцом* одинаково являются и субъект, и объект действия<sup>6</sup>. Поэтому термин «носитель процессуального признака» вряд ли существенным образом проясняет то собственно языковое (интерпретационное) содержание, которое передается категорией залога. Мы предпочли бы говорить о том, что процессуальный признак предстает в первом случае как действие семантического субъекта, а во втором — как состояние семантического объекта, возникающее в результате этого действия.

Соглашаясь с тем соотношением понятий и терминов «словоизменение» и «формообразование», которое предложено в книге А. В. Бондарко взамен расплывчатого употребления понятия и термина «формообразование», наметившегося в грамматических исследованиях (см. об этом стр. 110—119), следует все же отме-

тить, что не вполне ясной оказывается у автора граница между, с одной стороны, сферой формообразования, сопровождающегося словообразованием (например, *лететь — влететь*, *художник — художница*, см. стр. 116), и, с другой, сферой чистого словообразования. Учитывая, что последнее (по крайней мере в кругу явлений суффиксации) обычно несет одновременно классифицирующую функцию (функцию отнесения слова к определенной части речи и морфологическому разряду), — вряд ли можно согласиться с замечанием, что в словообразовании, выходящем «за пределы данной части речи (ср. *косить — косьба*, *красный — краснота* и т. д.)... рассматриваемые процессы (формообразование и словообразование. — Л. В.) перестают быть сопоставимыми», на основании чего автор «оставляет в стороне» «соотношения слов и форм, представляющих разные части речи» (стр. 116, примеч.). О том, что эти явления вполне сопоставимы, говорит, между прочим, тот факт, что и в словоизменении спорные вопросы границ слова возникают в сфере образований, принадлежащих не только к одной и той же части речи (ср., например, видовые пары глаголов), но и (в одной из существующих трактовок) к разным частям речи (ср., например, причастия и дееспричастия как глагольные формы, наречия на -о как формы прилагательных).

В связи с трактовкой понятия «характеризованности» ЛГР слишком категоричным представляется утверждение о качественных и относительных прилагательных как о разрядах нехарактеризованных (см. стр. 157). Имеется ряд суффиксальных типов прилагательных, характеризующихся качественностью либо относительностью: ср., например, прилагательные с суфф. *-ск-*, являющиеся всегда (по крайней мере в своих прямых значениях) относительными, или прилагательные с суфф. *-чив-/лив-*, *-ист-* (*улыбчивый*, *скептический* и т. п.), всегда качественные.

Касаюсь весьма спорного вопроса о синтаксических категориях и совершенно отказывая в синтаксической природе таким разрабатываемым синтаксистами понятиям, как «синтаксическое время» и т. п. А. В. Бондарко подчеркивает в связи с этим, что изменение глагола сказуемого по временам осуществляется «в рамках одного и того же типа структуры» предложения (стр. 22). При этом, как нам кажется, автор недооценивает синтаксической значимости такого факта, как наличие безглагольных предложений с синтаксическим значением наст. времени (*Он учитель*; ср. *Он был учителем* и т. п.). Как бы ни трактовался этот факт — как бессвязочная конструкция или как конструкция с нулевой глагольной связкой, — нельзя отрицать того, что это специфическое выражение наст. вре-

<sup>6</sup> Ср. хотя бы применение понятия «носитель процессуального признака» в современных словообразовательных теориях к отглагольным существительным не только с агентивным значением, но и со значениями объектно-результативным, местным и т. п.

мени обнаруживается только на уровне синтаксиса<sup>7</sup>, являясь характерной чертой именно синтаксической временной парадигмы.

<sup>7</sup> Естественно, что нулевая словоформа, выделяясь в рамках предложения, относится к единицам и объектам синтаксиса, в то время как нулевой морф, выделяясь в рамках словоформы, относится к единицам и объектам морфологии.

В заключение необходимо отметить, что по широте охваченной проблематики, глубине и многоаспектности теоретического осмысления ряда центральных понятий грамматики книга А. В. Бондарко «Теория морфологических категорий» — одно из самых значительных грамматических исследований последнего времени.

Лопатин В. В.

**И. С. Улуханов. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. — М., «Наука», 1977. 256 стр.**

Интенсивное изучение словообразовательной семантики, проводившееся в последние два десятилетия, подготовило почву для монографических исследований, специально посвященных теоретическим проблемам этого раздела лингвистики. На материале русского языка, отдельно взятого, словообразовательная семантика и принципы ее описания впервые получают широкое комплексное освещение в рецензируемой монографии И. С. Улуханова<sup>1</sup>. Книга содержит целый ряд новых положений и обобщений, значительная часть которых впервые была опубликована в статьях автора, включенных сюда в переработанном виде; она опирается также на материал разделов «Введение в морфемику» и «Словообразование. Основные понятия» (написанных И. С. Улухановым в соавторстве с В. В. Лопатиным) в «Грамматике современного русского литературного языка» (М., 1970, далее — «Гр. 70»); этот материал в некоторых частях осмыслен по-новому, видоизменен и дополнен. Для изучения проблем, поставленных в книге, автором привлечен широкий фактический материал, включающий не только словарно закрепленные, но и окказиональные производные слова, в первую очередь глагольные образования.

Во «Введении» И. С. Улуханов прежде всего останавливается на исходных понятиях словообразовательной мотивации, форманта, словообразовательного значения и типа, стремясь последовательно вывести одно из другого.

Понятие словообразовательного форманта, как и мотивации, определяется с учетом «гнездового» подхода к системе словообразования. «С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы й ф о р м а н т — это наименьшее в формальном и семантическом отношениях словообразовательное средство (средства) из числа тех средств, которыми какое-либо слово отличается от слов, находящихся с ним в отношении мотивации» (стр. 8). Это определение операционно наделено на установление главной мотивации слова, которая в дальнейшем характеризуется как «непосредственная».

Характеристика понятия мотивации, будучи более развернутой, чем в «Гр. 70», утратила, однако, существенное указание на меньшую/большую сложность слов, находящихся в отношении мотивации. Этот признак упоминается в дальнейшем (стр. 22), но он важен и здесь, так как, именно с его учетом можно понять почему одно слово мотивирует другое (однокоренное) и в том случае, когда их «лексические значения» тождественны, а стилистические признаки либо синтаксические позиции просто «различны» (стр. 7).

Кстати, используемое при трактовке последнего случая (ср. *белый* — *белизна*, *бегать* — *бег*) понятие «синтаксической деривации» нуждается в определенных оговорках. В «синтаксических дериватах» содержится, помимо чисто синтаксической информации, указание на самостоятельность (субстанциональность) признака, названного мотивирующими словами. Фактически это признает и автор, когда он находит, например, в словах *пилотаж*, *гондаж* значение «опредмеченности действия» по соответствующим глаголам (стр. 8). Вообще в последующем И. С. Улуханов, говоря о «лексических значениях», как правило,

<sup>1</sup> Ср. сопоставительно-типологическую разработку частично смежного круга вопросов: Р. С. Манучарян, Проблемы исследования словообразовательных значений и средств их выражения (на материале сопоставления русского и армянского языков). ДД, Ереван, 1975.

учитывает и частеречную категоризацию.

Из определения форманта следует, что мотивированное (производное) слово отличается от мотивирующего формально и семантически. В связи с вышесказанным встает вопрос: являются ли стилистические (и синтаксические) различия между словами семантическими или их правильнее относить к плану содержания, различая в нем семантические, синтаксические и прагматические компоненты? Во всяком случае интерпретацию «семантического», как и «лексического», следовало бы особо оговорить.

Автор ограничивается краткой общетеоретической характеристикой словообразовательного значения в его отличии от грамматического и лексического значений (в основном в соответствии с «Гр. 70»). Однако обращает на себя внимание более узкая (в смысле объема значения) трактовка этого понятия. К настоящему времени в дериватологии определено два подхода в выделении словообразовательного значения: оно трактуется как повторяющаяся семантическая «сумма» (или, точнее, «произведение») производящей основы: (слова) и словообразовательного аффикса или же как повторяющаяся семантическая «разность» производного и производящего (ср. формулировки «одна частица + такой-то однородной массы» и «одна частица», или «единичность»). В книге применяется по существу «разностная» трактовка, что прежде всего вызвано, по-видимому, стремлением к более точному (чем в «Гр. 70»), покомпонентному установлению соответствия между объемом словообразовательного значения и его носителем. Последним, как и в «Гр. 70», признается формант (или, уже, аффикс). Действительно, на долю, например, префикса *за-* (*запеть, заговорить*) приходится значение начинательности, суффикса *-ик* — значение уменьшительности и т. д. Такой подход как будто соответствует и общей модели описания, использованной автором: минимальной семантически самостоятельной единицей словообразования считается формант, а словообразовательный тип (модель) рассматривается как его контекст. И все же более оправданным представляется иной путь установления указанного соответствия, а именно: трактовать словообразовательный аффикс как основной (при участии и мотивирующей основы), ядерный носитель словообразовательного значения как семантической «суммы».

Дело в том, что «разностное» словообразовательное значение аффикса недостаточно для его дифференциальной характеристики. Семантическая разность, приходящаяся, например, на долю аффиксов *-льщик* и *-ист*, строго говоря, одинакова, — «тот, кто» (ср. *носильщик* — *носить* и *журналист* — *журнал*), однако

существенно, что первый модифицирует (преобразует) значение действия, а второй — значение предмета. По-видимому, учитывая это, И. С. Улуханов, говоря о словообразовательном значении, добавляет, что оно «помимо компонентов, входящих в его состав, всегда содержит указание на отношение мотивированного слова к мотивирующему, ср. *белеть, прочесть* — „становиться (каким)“» (стр. 11). Последовательнее было бы, на наш взгляд, считать, что данное отношение выражается не «помимо», а посредством компонентов, входящих в состав словообразовательного значения, и тем самым признать словообразовательным значением всю бинарную («суммативную») семантическую структуру ряда мотивированных слов, т. е. значение типа (модели). Симптоматично, что в следующем изложении, устанавливая значение форманта, остающееся после «вычитания» мотивирующей части слова, автор иногда включает в это значение и семантический компонент, принадлежащий мотивирующей части; говорится, например, что на долю суффикса *-е-* в словах типа *белеть* остается значение «становление п р и з н а к а» (стр. 86, 127; разрядка наша. — Р. М.). К сказанному следует добавить, что если ограничивать словообразовательное значение объемом значения форманта, то неопределенным окажется семасиологический статус «суммативного» значения словообразовательного типа.

Спорной представляется попытка автора уточнить распространенное определение словообразовательного типа, заменив требование общности семантического соотношения между производными и производящими критерием семантической (и формальной) тождественности форманта. Семантическая тождественность форманта в конечном счете всегда выводится из обобщения (а значит, и из общности) указанного семантического соотношения. В другом месте это косвенно признает и автор (ср. стр. 13 и 89).

Безусловный интерес для теории словообразования представляет глава первая («Мотивационные отношения в словообразовании»), которая содержит анализ и обобщение отношений слов, входящих в словообразовательное гнездо. И. С. Улуханов подчеркивает, что эти отношения прежде всего могут быть как мотивационными, так и немотивационными; последнее имеет место при пересечении значений однокоренных слов. Оставляя в силе основные критерии направления словообразовательной мотивации, изложенные в «Гр. 70», автор подвергает тщательному дополнительному рассмотрению сложный вопрос о выборе мотивирующего слова в парах, состоящих из глагола и существительного со значением действия. Последовательно учитывая лексико-стилистические и

формально-семантические свойства слов, их место в словообразовательной системе, он убедительно показывает, в частности, что в близких по значению парах может быть противоположное направление мотивации (*спешить* — *спешка*, но *аврал* — *авралишь*).

Обращая внимание на то, что отношения в словообразовательном гнезде между мотивирующим и мотивированным словами могут различаться рядом признаков, автор устанавливает такие типы мотиваций, как непосредственные/опосредствованные, исходные/неисходные, единственные/неединственные, регулярные/нерегулярные. При описании словообразования как системы типов обычно учитываются, по замечанию автора, лишь непосредственные и регулярные мотивации, между тем для полного описания системы существен учет всех видов отношений в гнездах. В книге показано, что различные связи слов в гнезде являются источником и моделью разнообразных словообразовательных процессов, идущих как в прямом, так и обратном направлении. В этой связи представляет интерес подробное рассмотрение так называемой заместительной префиксации, а также депрефиксации. Автору удалось показать также, что учет многообразных внутрignetовых отношений помогает выявить связи, существующие между словами разных способов словообразования, и отражение в синхронической системе языка диахронических процессов возникновения новых аффиксов и способов словообразования.

Говоря о второй главе («Семантика мотивированного слова и средства ее выражения»), необходимо прежде всего отметить в целом рациональное и эффективное применение компонентного анализа в исследовании словообразовательной семантики. Членение лексического значения мотивированного слова подчинено словообразовательным целям: выделяются такие компоненты значения, которые релевантны для словообразовательной семантики, задача полного расчленения значения мотивированного слова на далее нечлененные семы не ставится. Вся глава демонстрирует реализацию принципа — «значение аффикса устанавливается тем же путем, что и значение слова — от контекстных значений к значению в системе» (стр. 104). Анализ приводит к выявлению словообразовательных аффиксов двух типов — неинвариантных и инвариантных; значение первых составляют тождественные компоненты немотивирующей части лексического значения мотивированного слова, значение вторых — различные компоненты этой части значения, сводимые к общему (инвариантному) значению (ср. суффикс *-е-* в отаждективных глаголах и суффикс *-и-* в отсубстантивных). Последующее изложение

показывает что данное деление релевантно в разных отношениях.

Возражения вызывают отдельные суждения автора. Считая, что глаголы с суффиксами типа *-и-*, *-ова-* «не имеют в своем лексическом значении общего семантического компонента» (стр. 88), он в то же время находит возможность выведения их общего значения — «действие..., имеющее отношение к тому, что названо мотивирующим словом» (стр. 89). Но если это оказывается возможным, то только потому, что общий компонент все же есть — это сема «делать».

В описании инвариантных аффиксов И. С. Улухановым последовательно разграничиваются явления системы (значение аффикса) и нормы (реализации этого значения в конкретных словах). Здесь автор прибегает к примененному в работах некоторых лингвистов различию «внутреннего» (внутрисловного) и «внешнего» контекста. Убедительна аргументация в пользу применения понятия общего (инвариантного) значения в словообразовании, не исключающая полисемии аффиксов в случаях иного характера; вески доводы в пользу включения контекстных (частных) значений инвариантных аффиксов в сферу словообразовательной семантики (стр. 91—93).

Компонентный анализ значения мотивированных слов приводит к новому освещению известной проблемы идиоматичности/неидиоматичности. Автор выявляет разные источники идиоматичности мотивированных слов, формулирует условия их неидиоматичности и подразделяет аффиксы по их употреблению только в идиоматичных словах, только в неидиоматичных словах, в идиоматичных и неидиоматичных словах. Данный подход нуждается, на наш взгляд, в дальнейшем развитии: целесообразно различать так же типы производных разной степени идиоматичности с учетом того, что, во-первых, «идиоматизирующие» семы могут быть индивидуальными, но могут и повторяться, как замечает автор (ср. «профессиональность» в словах типа *учитель*); во-вторых, контекстные значения инвариантных аффиксов (ср. значение лица у суффикса *-тель*), как это показано и в книге, в той или иной степени предопределяются значением мотивирующей основы.

Значительное внимание уделено малоисследованной проблеме «значение словообразовательного аффикса и часть речи мотивирующего слова». Некоторые из затрагиваемых здесь важных вопросов ставятся в дериватологии не впервые, но рассматриваются И. С. Улухановым на более широком материале. Так, подтверждается, что значение аффикса может быть тождественным при сочетании с основами слов разных частей речи, демонстрируется параллелизм (семантическая

однородность) мотиваций словами разных частей речи у определенных суффиксальных образований. В аспекте данной проблемы затрагивается и вопрос об омонимии формантов, который, однако, решается несколько упрощенно. По автору, омонимия определяется отсутствием тождественных компонентов в значениях формально тождественных единиц. Однако у многих формантов, признаваемых омонимичными и автором [например, *-ин(а)* со значением единичности и *-ин(а)* со значением мяса], тоже можно обнаружить тождественные компоненты (в данном примере — сему предметности). Очевидно, надо оговаривать еще и уровень семного анализа.

Ценные выводы содержатся в заключительном параграфе, посвященном организации аффиксальных подсистем разных частей речи.

Третья глава («Семантическая классификация мотивированных слов») демонстрирует методы и способы классификации производных на материале суффиксальных неотглагольных глаголов русского языка. В пределах данного способа словообразования и в рамках деления суффиксов на инвариантные и варианты здесь реализуется ономаσιологический принцип описания, что нельзя не одобрить, так как в существующих работах по словообразованию господствует одностороннее обратное направление исследования — от формы к значению.

При ономаσιологическом направлении описания на первый план выступает такая единица классификации, как словообразовательная категория. Однако определение и использование этого понятия здесь представляется спорным. «Слова с разными формантами, но с тождественными формантными частями значений, мотивированные словами одной и той же части речи, образуют словообразовательные категории, например, категории глаголов со значением „становиться каким или более каким“, „становиться кем-чем“...» (стр. 129—130). Из такого определения далее следует, что словообразовательные категории могут быть не только «характеризованными», т. е. имеющими «формальную поддержку» — инвариантные форманты, но и «нехарактеризованными», не имеющими «формальной поддержки», — их форманты имеют более общее, инвариантное значение (стр. 130). Более целесообразным кажется, в соответствии с общим применением понятия категории в грамматике, считать критерий формальной дифференцированности обязательным, и семантические группировки производных, не имеющие «формальной поддержки», считать «подкатегориями» (этот термин используется автором иначе). В пользу такого подхода говорит и то, что в этом случае можно установить единое иерархическое отношение между сло-

вообразовательным типом и словообразовательной категорией; в книге же их соотношение раздваивается: характеризованная категория объединяет равнозначные словообразовательные типы, между тем как нехарактеризованная категория объединяет равнозначные словообразовательные п о д т и п ы.

Отвлекаясь от указанных моментов, следует подчеркнуть, что такой тщательный и глубокий семантико-словообразовательный анализ отыменных глаголов русского языка, какой предлагается в данной главе, осуществляется в дериватологии впервые. Продуманное и тонкое применение компонентного анализа, установление компонентов разной степени распространенности в значениях глаголов позволяет автору построить многоступенчатое описание с последовательным делением глаголов на все более мелкие единицы классификации, выявляющее особенности организации семантики этой подсистемы. И. С. Улуханов уточняет существующие семантические классификации отыменных глаголов, впервые ставит и рассматривает вопрос о том, как отражаются в значении мотивированного слова различные компоненты значения мотивирующего, отмечает такие компоненты семантики мотивированного слова, которые влияют на его синтаксическую сочетаемость.

В заключительной главе книги («Парадигматические и синтагматические связи в словообразовательной семантике») на материале глагольной префиксации и суффиксации показываются виды парадигматических семантических связей между аффиксами и синтагматических семантических связей между формантами и мотивирующими основами. Заслуживает внимания обнаружение семантически промежуточных словообразовательных типов и подтипов. Описывая синтагматические связи, автор стремится выявить семантические свойства глаголов, которые позволяют им служить мотивирующими словами при глаголах определенных типов. Нельзя не согласиться с тем, что «выяснение и систематизация семантических факторов, способствующих или препятствующих сочетаемости морфем, является одной из важнейших задач системного изучения словообразования» (стр. 235). Эта задача, в целом еще ждущая своего разрешения, затрудняется не только большей сложностью и меньшей регулярностью словообразования, в сравнении с морфологической системой, но и тем, что семантические ограничения сочетаемости морфем, особенно нормативные, далеко не всегда легко отделить от несемантических, к тому же семантические ограничения не во всех случаях носят категорический характер.

В «Заключении», указывая на практическое значение теоретических проблем

описания словообразовательной семантики, И. С. Улуханов формулирует важные принципы адекватного толкования мотивированных слов в толковых словарях на основе ряда положений монографии.

Вся книга И. С. Улуханова характеризуется последовательным различением явлений языка и речи, системы и нормы, нормы и индивидуальной речи, стремлением к возможно полному учету системных соотношений, смежных и переходных явлений, особым вниманием к соотношению мотивированного слова и контекста.

Несмотря на неотработанность отдельных теоретических положений и понятий, спорность некоторых интерпретаций и формулировок (что связано и с объективной сложностью семантических проблем), монография И. С. Улуханова, богатая интересными наблюдениями и обобщениями, проясняющая многие вопросы и ставящая новые проблемы исследования, существенно продвигает вперед системное изучение русского словообразования.

*Манучарян Р. С.*

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

### ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

1—3 февраля 1978 г. в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР (Новосибирск) проводилась конференция на тему «Проблема связи в сложном предложении в языках разных систем», организованная сотрудниками отдела «Языки народов Сибири» этого института. Работали три секции: алтаистики, русистики и германистики. С докладами выступили сотрудники и аспиранты ИИФФ СО АН СССР, кафедры иностранных языков СО АН СССР, преподаватели и аспиранты университетов и институтов Новосибирска, Иркутска, Тюмени, Воронежа, Магнитогорска и др.

Работу алтайской секции открыла М. И. Черемисина (Новосибирск) докладом «Основные типы связей частей в конструкциях алтайского бессоюзного гипотаксиса».

Конкретный пример типологии полипредикативных конструкций в соответствии с этим представлением на материале эвенкийского языка был дан в докладе Л. М. Гореловой (Новосибирск) «Модели полипредикативных конструкций эвенкийского языка».

В докладе Л. М. Бродской (Иркутск) «Соотносительность временных форм в сложном предложении эвенкийского языка» обсуждался вопрос об абсолютном и относительном характере времени причастий в зависимой части сложного предложения.

С сообщениями о некоторых способах связи в тюркском сложном предложении выступили молодые ученые, исследующие тюркские языки народов Сибири: А. Ф. Есипова (Новокузнецк) «Придаточные определительные предложения в шорском языке», Г. Г. Фисакова (Кемерово) «Сложные предложения с послелогами в языке бачатских телеутов», Н. Н. Ефремов (Новосибирск) «Парные полипредикативные временные конструкции в якутском языке», Ю. И. Васильев (Новосибирск) «О конструкциях с компаративным сказуемым в якутском языке». В докладе Е. К. Скрябин (Новосибирск) «О синтаксическом функционировании показателей притя-

жания в монгольских языках» рассматривалась роль притяжания в зависимой части полипредикативных конструкций.

Те же проблемы — типология сложного предложения, основные его категории, способы связи частей и пр. — рассматривались на материале русского и английского языков. Работу русской секции открыла Т. А. Колосова (Воронеж). В ее докладе «Модус и диктум» был дан анализ сложных предложений русского языка с асимметрией плана выражения и плана содержания.

С докладами о некоторых средствах связи и о типах сложных предложений в русском языке выступили молодые ученые Сибири: Л. М. Жданович (Тюмень) «О синтаксическом трехчлене», С. И. Рудяк (Новосибирск) «Местоположение *такой* как показатель связи частей сложного предложения», Н. М. Сабельфельд (Новосибирск) «Синтаксические функции причастных форм в языке сибирских летописей XVIII века».

Проблеме классификации сложных предложений на материале английского языка был посвящен доклад Я. Г. Биренбаума (Магнитогорск) «Нейтральные сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными».

Преподаватели кафедры иностранных языков СО АН СССР докладывали о некоторых средствах связи в сложных предложениях английского языка. Были прочитаны доклады: Т. И. Черноусова (Новосибирск) «Союзы *when, while, as* во временных сложных предложениях», И. А. Кудрявцева (Новосибирск) «О двух обстоятельственных конструкциях в английском языке».

На заключительном заседании конференции с докладом «Предикация и полипредикация» выступила М. И. Черемисина. В докладе показано, что понятие предикации, сложившееся в рамках простого предложения, претерпевает существенный сдвиг в его применении к сложному предложению.

Таким образом, на материале языков разных систем синтаксистами обсужда-

лись сходные теоретические проблемы. Обмен прениями между учеными — специалистами по разным, типологически несхожим языкам, несомненно, способствует развитию общей теории сложного предложения. Совещания такого рода отдел филологии ИИФФ СО АН СССР намечен продолжать.

Скрибник Е. К., Бондаренко И. В.  
(Новосибирск)

\*

16—18 марта 1978 г. в Риге на филологическом факультете Латвийского гос. ун-та им. П. Стучки состоялась 14 научная конференция «День Артура Озола», посвященная памяти выдающегося латышского филолога. Тема конференции — проблемы семантики.

После вступительных слов пленарное заседание открылось докладом А. Я. Ближенны (Рига), в котором были изложены наблюдения над изменениями в семантике прилагательных в ходе развития латышского письменного языка. В докладе П. А. Соболевой и М. Д. Барченковой (Москва) рассматривался вопрос о семантическом тождестве слова и варианности парадигмы, и в связи с этим была высказана следующая мысль: морфологические категории можно разделить на категории, обслуживающие слово (род и падеж существительных, время и наклонение глаголов), и категории, обслуживающие лексико-семантический вариант (число существительных, вид и залог глаголов). И. С. Улуханов (Москва) охарактеризовал синонимию словообразовательных аффиксов, применяя идею синтагматических и парадигматических отношений в словообразовании. Доклад В. Н. Абызовой (Москва) был посвящен вопросу о теме и реме как категориях синтаксической семантики. Л. К. Цеплитис (Рига) предложил в системе семантического анализа слова разграничить три вида семантики в зависимости от того, которая фаза акта коммуникации и какой объект (коммуникатор, текст, перцепиент) наблюдается. Докладчик высказал мысль, что полисемия вряд ли является фактом языка, так как семантика слова в психике представлена как единая идея. Б. Ю. Городецкой (Москва) доложил о характерных чертах современной лингвистической семантики.

Секция «Лексика. Художественная речь». В. Г. Вильман (Ленинград) в докладе «О синонимии и антонимии слов» дал определение данных категорий на основе анализа семантических и функциональных схождений и расхождений слов, учета их дистрибуции и сочетаемости, а также обосновал отрицательное

отношение к понятиям «абсолютная синонимия», «абсолютная антонимия». О. В. Буш (Рига) охарактеризовал следующую закономерность в устной коммуникации: взаимная нетерпимость денотативных и коннотативных сем в словах слэнга иногда доходит до крайностей, до взаимного истребления. В двух докладах рассматривались изменения в семантике слов в ходе развития языка: Е. С. Копорской (Москва) «Процессы семантической аналогии и их роль в развитии русской лексики» и К. П. Смилиной (Москва) «Лексическое значение в его отношении к лексической позиции слова». Н. К. Соколова (Воронеж) остановилась на семантике поэтического слова в ее отношении к норме текста. Ряд докладов был посвящен своеобразию смысловой структуры слов в языке писателей. Ю. С. Язикова (Горький) анализировала слово *зверь* на основе словаря М. Горького, Г. А. Пименова (Ленинград) — доминантное поле «душа» в произведениях М. М. Пришвина «Осударева дорога», Н. А. Козина, Р. Ч. Газдарова (Рига) — на основные антонимы (*черный — белый*) в очерке М. Цветаевой «Мой Пушкин», Н. П. Гусарова (Рига) дала семантико-стилистическую характеристику колоративной лексики (*черный, желтый, красный*) в произведениях К. Г. Паустовского.

Секция «Сопоставительное изучение языков». В докладе Н. Л. Раздоровой (Рига) сопоставлялась семантическая структура прилагательных цвета в русском и латышском языках. Э. И. Якайтиене (Вильнюс) в докладе «К проблеме омонимии и полисемии в современном литовском языке» говорила о том, что при разграничении данных категорий целесообразно выдвинуть формальные критерии: дистрибуцию и деривацию. Э. Ю. Даугатс (Лиепая) в докладе «Функциональный стиль науки и техники — важный фактор развития современного латышского языка» подчеркнул, что терминология должна создаваться главным образом на основе интернациональной лексики. И. Ю. Эдельмане (Рига) рассказала об использовании названий животных в латышских наименованиях растений, Я. Я. Кушкис (Рига) говорил о синкретических формах родительного падежа (*viencēliena*) и сложном атрибутивном родительном: *viencēliena (luga)*. В докладе С. Б. Берлизон (Рязань) о семантической структуре языковых единиц разных уровней в стилистическом аспекте была высказана интересная мысль: существуют разные типы мышления (информативный, эмоциональный, художественный и др.), им соответствуют специфические элементы в семантической структуре слова. Данные элементы, укрупнившись в языковой единице, опреде-

ляют ее функциональную своеобразность. Доклад В. П. Ковалева (Херсон) был посвящен семантической структуре метафор в русской художественной прозе XIX—XX вв. Г. А. Черемухина (Москва) в докладе «Проблемы овладения семантикой на разных этапах онтогенеза» изложила результаты экспериментов с детьми.

Секция «Словообразование». Е. В. Кра-сильникова (Москва) рассматривала вопрос о словообразовательном значении и в связи с этим подчеркнула, что в настоящее время характерен выход за пределы пары слов в словообразовательную цепочку и словообразовательное гнездо. В докладе С. С. Хидекель (Москва) делалась попытка показать особенности синонимико-антонимических связей в словообразовательных морфемах и в дериватах, в которые эти морфемы входят, и поставить вопрос о «лжесинонимичности» деривационных морфем. Х. Ыйм (Тарту) в докладе «Некоторые проблемы описания семантической структуры слов, обозначающих целенаправленные действия» остановился на анализе слов типа *приказывать, уверять, просить, соглашаться, отказываться*. Б. П. Рейдзане (Рига) остановилась на вопросах разграничения семантики аффиксов *-ējs, -īgs* в «Словаре латышского литературного языка», М. К. Балтыня (Рига) доложила о синтагматических и парадигматических отношениях аффиксов *-tāj-, -niek-* в словах действия в латышском языке, Е. Д. Бесценная (Москва) остановилась на семантических связях некоторых словообразовательных типов существительных. С. Н. Шепелева (Москва) рассмотрела формально-семантические типы в русском поэтическом словотворчестве, С. М. Кузьмина (Москва) говорила об отношениях орфографии и семантики морфем.

Секция «Грамматическая семантика». М. Я. Гловинская (Москва) доложила о семантике видового противопоставления в русском языке. Для разделения лексического и видового значения необходимо, рассматривая видовую пару, давать полное толкование каждого из входящих в нее глаголов. Тогда лексическим значением будет общая часть двух толкований, а видовыми — те части, которые их различают. В докладе Л. К. Граудиной (Москва) «Фазы вариантности и деструктивная роль семантического фактора» были обобщены материалы частотно-стилистического словаря грамматических вариантов. Объективные статистические характеристики легли в основу выделения трех фаз вариантности, причем деструктивная роль семантического фактора, по мнению докладчика, проявляется в последней, «затухающей» фазе вариантности. А. Т. Липатов (Йошкар-Ола) рассматривал семантическую сущность, взаимозависи-

мость лексической, морфологической и синтаксической омонимии как в «открытых», так и «закрытых» синтаксических микросистемах. Доклад Э. М. Джеммакуловой (Рига) был посвящен вопросу о семантике предлогов и приставок. М. Хинт (Таллин) говорил о зависимости полноты морфологической парадигмы от грамматической семантики слова.

Секция «Синтаксическая семантика». Е. М. Вольф (Москва) в докладе «Семантика оценочных структур» и Е. Н. Ширяев (Москва) в докладе «Модальность предикативных конструкций и семантические отношения между ними в бессюзном сложном высказывании разговорной речи» ознакомили с результатами анализа так называемых перформативных глаголов. М. Э. Бейтыня (Лиенайя) изложила результаты исследования экзистенциальных глаголов латышского языка. И. В. Альтман (Москва) остановилась на вопросе изучения семантики трехчленных конструкций, Л. И. Василевская (Москва) говорила о разновидностях синтаксического субъекта. Я. К. Валдманис (Рига) высказал соображения по теме «Значение словоформы как функция пропозиции».

Второе пленарное заседание открыла Л. С. Ковтун (Ленинград) докладом «Значение слова в языке и речи». По ее мнению, полисемия существует в языке, в речи реализуются отдельные значения. Л. З. Сова (Ленинград) ознакомила с результатами исследования смысловых отношений в предложных словосочетаниях русского языка. В. В. Лабутис (Вильнюс) дал семантическую интерпретацию формального выражения семантических отношений, В. Н. Гелія (Москва) сообщила о семантическом аспекте категории фразеологической связанности значений. Ю. Ю. Карклыньш (Рига) установил, что в простом предложении возможно взаимодействие двух моделей предложения, в результате чего предикация бывает двухступенчатой — существуют еще секундарный субъект и предикат. Докладчик говорил о целесообразности расширения структурной схемы предложения секундарно предикативными компонентами. Два доклада были посвящены компонентному анализу: доклад Т. С. Зевахиной (Москва) — современному состоянию и перспективам, доклад Р. С. Гинзбург (Москва) — компонентной структуре значения слова.

Валдманис Я. К. (Рига)

\*

11 и 12 мая 1978 г. в Париже проходил коллоквиум на тему «История французской пунктуации».

В этом коллоквиуме, который был организован Национальным центром научных исследований, приняли участие не только французские ученые, но и представители Англии, Австралии, ГДР, Канады и Советского Союза. Председателем была Нина Каташ, возглавляющая в Центре научных исследований сектор, в котором занимаются изучением графической формы языкового знака.

На первых двух заседаниях были рассмотрены проблемы диахронии. Затем собравшиеся перешли к вопросам современного состояния языка, обсуждению которых было посвящено третье и частично четвертое заседание. Коллоквиум закончился дискуссией, целью которой было выявление путей дальнейших исследований. Обсуждение вопросов французской пунктуации объединило исследователей нескольких дисциплин: среди участников коллоквиума были не только лингвисты, но и историки, представители библиотечного дела, издательств и типографского дела, педагоги высшей школы. Было прослушано 20 сообщений.

Открывая коллоквиум, Н. Каташ отметила, что он является первой в истории языковедения научной дискуссией, которая ставит на обсуждение вопросы пунктуации и рассматривает пунктуацию в ее связях с другими фактами языка и культуры.

Пунктуация — одно из средств графического языка, передающее смысл сообщения и обеспечивающая его понимание. Она связана с тремя языковыми сферами: звучащей речью, семантикой и синтаксисом. Пунктуация выполняет и металингвистическую функцию — рассмотрение ее в этом плане особенно перспективно, так как связано с усилившимся в последнее время интересом к изучению речи. Немаловажным представляется и социолингвистический аспект проблемы: наблюдения над индивидуальной пунктуацией (приемы писателей), а также жанровыми и стилевыми разновидностями (например, пунктуация научной прозы, драматургии, ораторской прозы), законов и правил книгопечатания (традиций типографских ателье), пунктуационных узусов эпохи.

С докладом, озаглавленным «Употребление пунктуационных знаков в рукописи Виллардуэна Б.» выступила сотрудница Центра научных исследований Н. Наси. Основываясь на наблюдениях над шестью вариантами одного и того же анонимного рукописного текста («Завоевание Константинополя»), она показала особенности пунктуации средневековых текстов (XIII—XIV вв.): отсутствие корреляции как со звучанием, так и с синтаксисом; возможность выделения в тексте той части, которая представляет число наиболее важной.

Доклад «Пунктуация первых гуманистов» соавторница Центра научных иссле-

дований Ж. У и имел целью выявить изменения во французской пунктуации раннего Возрождения.

Преподаватель Парижского университета Ж. Везэн отметил в своем сообщении существование преемственности в пунктуационном оформлении текста первых печатных изданий и средневековых рукописей, показав это на употреблении восклицательного знака и кавычек («Отражение узусов средневекового периода в пунктуации первопечатников»).

М. Юшон (Париж, Сорбонна) сообщила о результатах статистического анализа пунктуации в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» («Пунктуационные расхождения в разных изданиях романа Ф. Рабле»).

Преподаватель Университета Торонто (Канада) Ж. Мак Клеелан сообщил о результатах наблюдений над рукописным вариантом двух диалогов (1552, 1555 г.), принадлежащих перу Понтуса де Тийара («Пунктуация в двух диалогах Понтуса де Тийара»).

С докладом «Пунктуация в XVIII в.» выступила А. Лорансо (Центр научных исследований). Она говорила о пунктуации этого времени как о сложившейся системе, получившей теоретическое осмысление в трудах энциклопедистов.

Противоположное мнение было высказано Ф. Вайль (Центр научных исследований) в сообщении «Употребление пунктуационных знаков в романах 1730—1750 гг.». Наблюдения над графическим оформлением диалога в романах XVIII в. (в том числе разных изданий одного романа) не дали автору возможности обнаружить какие-либо лингвистические закономерности. Ф. Вайль считает пунктуацию отражением политики типографских ателье.

В трех следующих сообщениях обсуждались проблемы экстралингвистического характера. Преподаватель Университета Монаха В. Кирсоп (Австралия) прочел доклад «Привычки наборщиков как предмет наблюдений для библиографов». Интерес к типографскому делу объясняется тем, что дает возможность понять отношения между автором и типографией. В то время, как языковедам эти сведения помогают выявить языковую норму определенного периода, а также понять традиции, унаследованные книгопечатанием от рукописных текстов, библиографы используют полученные данные для изучения истории книги: уточняют авторство, страну, город, даже ателье, где была издана книга. М. Бокелькамп, инженер ЭВМ (Центр научных исследований), сравнила пунктуацию рукописных черновики и печатных текстов Г. Гейне (1815—1856 гг.) и показала, что поэт так последовательно отстаивал свои варианты потому, что пунктуационные знаки служили ему

средством для выражения дополнительных смысловых оттенков («Г. Гейне и его пунктуация»). О смысловой нагрузке пунктуационных знаков — проблеме, возникающей при подготовке третьего французского издания статьи К. Маркса «Гражданская война во Франции», — сообщила М. Бургалета, сотрудник издательства Общественных наук («Пунктуация в работе К. Маркса „Гражданская война во Франции“: 3 издание»).

Обсуждение пунктуации XX в. началось с выступления Ж. Пети, заведующего сектором современного языка Центра научных исследований («Происхождение тире»). По тому же вопросу выступили сотрудники Центра научных исследований Ж. Варлот («Некоторые итоги») и А. Юссон («Заглавные буквы с типографской точки зрения»).

Р. Люффер (Париж, Сорбонна) в докладе «Навычки как способ оформления прямой речи» показал, что история упорбления пунктуационных знаков представляет собой социолингвистическую проблему, поскольку она отражает лингвистическое мышление человека, его отношение к речи, к расчленению сообщения на части, выделению одной из его частей и т. д. Исследователь не должен забывать, что языковое сознание человека в разные эпохи не было одинаково и что это нашло отражение в пунктуационном узусе разных эпох.

Два выступления были посвящены статистическому анализу употребления пунктуационных знаков. А. Лорансо сообщила о результатах опроса 80 современных писателей, большинство которых высказывалось о пунктуации как о важнейшем «помощнике», облегчающем передачу оттенков смысла и ощущений, а также пауз, интонации и даже жестов. К. Грюаз рассказал о наблюдениях над частотностью употребления пунктуационных знаков в романах пяти современных писателей: наиболее специфической является пунктуационная манера Виттига; Роб-Грие и М. Бютор, напротив, почти не отходят от общепринятых правил.

О соотношении пунктуации и интонации говорилось в сообщении сотрудника Центра научных исследований Л. Паса

(«Пунктуация и ритмическая организация фразы»).

К. Турнье (Центр научных исследований) отметил, что классификация знаков пунктуации должна учитывать отношения между графическими и просодическими знаками, а также синтаксические критерии («Опыт лингвистического описания французской пунктуации»).

Л. Г. Веденина (СССР) в докладе «Пунктуация XX века: отношения с семантикой, синтаксисом, интонацией» предложила рассматривать три пунктуационных слоя: знаки синтаксического, супрасинтаксического и индивидуально-значения. Особое внимание в сообщении было уделено роли пунктуации на службе актуального синтаксиса. Было отмечено, что по сравнению с другими языками, французская пунктуация в большей степени «нагружена» в коммуникативном отношении, это связано с особенностями синтаксического строя французского языка — слитностью синтаксических групп. Невозможность перемещения компонентов синтаксических групп за рамки группы ограничивает использование порядка слов и заставляет мобилизовать в коммуникативных целях другие языковые средства — в частности, пунктуацию.

Итоги коллоквиума — в постановке проблем языковедческого и общественно-исторического значения. В процессе работы удалось прийти к общему мнению о том, что пунктуация — явление многослойное, коррелирующее с семантикой, синтаксисом и интонацией. Несмотря на гетерогенный характер, пунктуация представляет явление определенным образом организованное, которое подлежит классификации. Исследования по пунктуации — составная часть изучения языка в его графической форме. Наблюдения над историческим развитием пунктуации — становлением нормы и маргинальными явлениями — являются ценным свидетельством развития системы языка и отражением языкового мышления коллектива.

Веденина Л. Г. (Москва)

---

## CONTENTS

**Articles:** Korletjanu N. G. (Kishinev), V. I. Lenin and the development of national languages; Budagov R. A. (Moscow). On the theory of grammar and languages in contact; **Discussions:** Saradzenidze T. S. (Tbilisi). The linguistic theory of I. A. Baudouin de Courtenay and its role in the linguistics of the 19-th — 20-th centuries; Gercenberg L. G. (Leningrad). Prehistory of Indo-European languages in A. Erhart's works; Kumaxov M. A. (Moscow). On the problem of epical poetry; Mixajlovskaja N. G. (Moscow), Problems of bilingualism in the belles-lettres; Kožin A. N. (Moscow). The role of the word in a text; Tenišev E. R. (Moscow). Languages of Old and Middle Turkic written monuments from a functional point of view; Kiselevskij A. I. (Minsk). Definitions in encyclopedic and explanatory dictionaries; **Materials and notes:** Murianov M. F. (Moscow). Semantic laws in the vocabulary of Old Slavonic; Bezborod'ko N. I. (Vinnitsa), Morpho-syntactic features of Latin terminology; Čxaidze M. P. (Tbilisi). Two aspects in the studies of grammar; **Reviews.**

## SOMMAIRE

**Articles:** Korletjanu N. G. (Kichinev). V. I. Lénine et le développement des langues nationales; Budagov R. A. (Moscou). Contribution à la théorie de la grammaire et des contacts linguistiques; **Discussions:** Saradzenidze T. S. (Tbilissi). La théorie linguistique de Baudouin de Courtenay et sa place dans la linguistique de 19—20 siècles; Gercenberg L. G. (Léningrad). La préhistoire des langues indo-européennes dans les travaux de A. Erhart; Kumaxov M. A. (Moscou). Sur la probléme de la langue de la poésie épique; Mixajlovskaja N. G. (Moscou). À propos du bilinguisme dans les belles-lettres; Kožin A. N. (Moscou). Sur le rôle du mot dans le texte; Tenišev E. R. (Moscou). Les langues des monuments écrits en vieux et moyen turque sous l'aspect fonctionnel; Kiselevskij A. I. (Minsk). Sur les définitions dans les encyclopédies et les dictionnaires de langue; **Matériaux et notices:** Murjanov M. F. (Moscou). Lois sémantiques du lexique en vieux slave; Bezborod'ko N. I. (Vinnitsa). Particularités morpho-syntaxiques de la terminologie latine; Čxaidze M. P. (Tbilissi). À propos de deux aspects de l'étude de la grammaire; **Comptes rendus.**

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

---

Сдано в набор 29.12.78      Подписано к печати 28.02.79      Т-01242      Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>  
Высокая печать      Усл. печ. л. 14,0      Уч.-изд. л. 15,4      Бум. л. 5      Тираж 7225 экз.      Зак. 1291

---

Издательство «Наука», 103717 ГСП, Москва К-62, Подосенский пер., 21  
2-я типография издательства «Наука». 121099, Москва, Шубинский пер., 10